КЛОД МОНЕ

Мишель де Декер

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Французский историк, писатель и журналист Мишель де Декер известен как автор многих биографических исследований. Настоящее издание представляет собой жизнеописание выдающегося французского художника XIX–XX веков Клода Моне, признанного мэтра импрессионизма, которого называли поэтом, сочиняющим гимны цвету и свету.

- Мишель де Декер
  - ВПЕЧАТЛЕНИЕ
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
  - Глава 23
  - Глава 24
  - Глава 25
  - Глава 26
  - Глава 27
  - Глава 28
  - Глава 29
  - Глава 30
  - Глава 31

- Глава 32
- Глава 33
- ПОСТСКРИПТУМ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА КЛОДА МОНЕ
- БИБЛИОГРАФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79

- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123

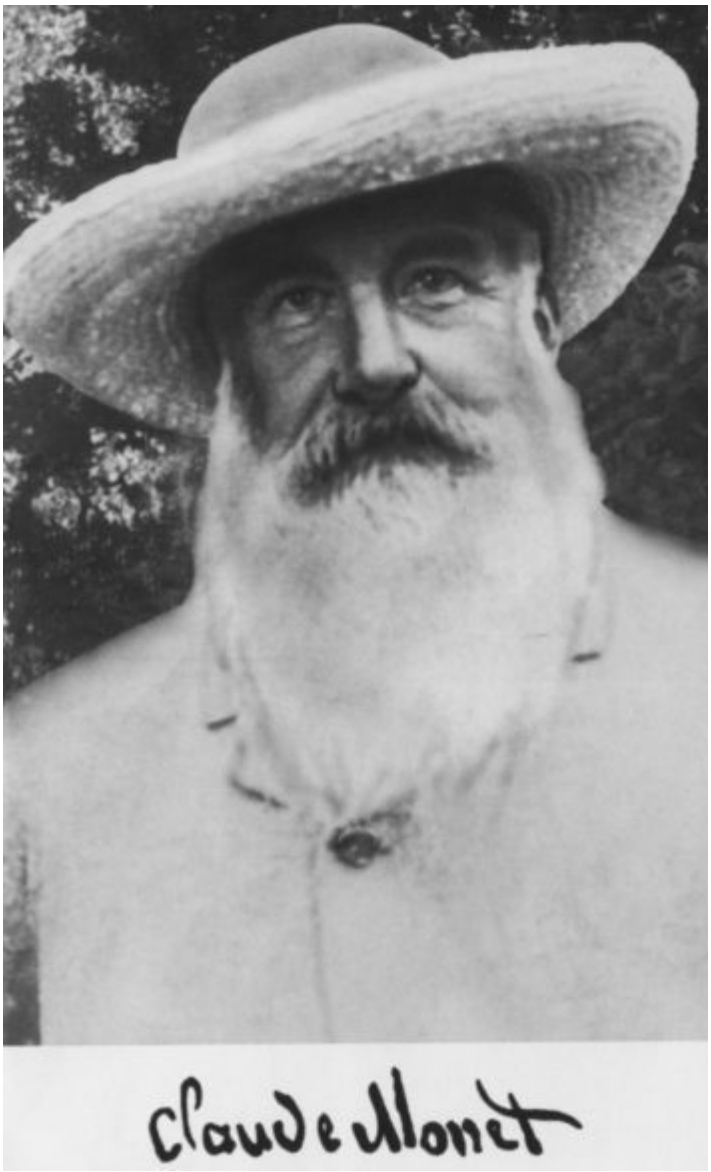
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167

- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211

- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255

- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262

Мишель де Декер
Клод Моне



ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Живопись импрессионистов я увидел еще мальчишкой, в 1930-е годы в Музее нового западного искусства, располагавшегося на Пречистенке, в здании, где теперь Академия художеств. Это были картины из бывших собраний известных коллекционеров — Сергея Щукина и Ивана Морозова. Работы Клода Моне занимали отдельный зал. Войдя в него, я был буквально ошеломлен цветовой музыкой полотен. Это впечатление от первого свидания с Моне сохранилось на всю жизнь.

Художник поистине обладал абсолютным «слухом» на цвет. Обратите внимание на мощное звучание аккордов ультрамарина в «Скалах в Бель-Иле», на расплавленные в зелени залива «Скалы в Этрета», на нежную маленькую «Сирень на солнце», написанную точно лепестками весенних цветов, на туманно-фиолетовые «Лондонские утра», на текучее солнце «Руанских соборов»…

Кажется, что Клод Моне красками разыгрывает, как в Музыке, бесконечные колористические вариации. Он словно распахнул окно в Природу и бросил на свои холсты цветной ветер с маковых полей, шум тополиных аллей, туманы рек и рев ледоходов, набрал в ладони ливня и плеснул им на полотно…

Клод Моне — пожалуй, самый нежный художник среди импрессионистов. Именно поэтому его называют живописцем счастья, солнца и детства.

Евгений Расторгуев

Глава 1
КАРИКАТУРЫ

Господину Джеральду Ван-дер-Кемпу, положившему конец, трауру розово-зеленого дома

— Я не дам тебе ни гроша!

— Ну и не надо!

И юный Клод Моне громко хлопнул дверью. Эта сцена разыгралась в доме номер 30 по улице Эпремениль, находящейся в Энгувилле — одном из северных кварталов Гавра. Только что он объявил своему отцу Адольфу Моне, что собирается: во-первых, стать художником; во-вторых, переехать в Париж. Чтобы учиться. «Я родился в среде дельцов, которые выставляли напоказ свое высокомерное презрение к искусству», — позже говорил он. Но, конечно, преувеличивал. Его отец, родившийся в Париже 3 февраля 1800 года, действительно больше интересовался бакалеей, чем эстетикой, зато мать, Луиза Жюстина Обре, тоже парижанка, родившаяся за четыре месяца до победы при Аустерлице, обожала музыку и превосходно пела. Не говоря уже о тетке, Мари Жанне Лекадр, которая, когда пришло время, стала для него настоящим меценатом.

Оскар Клод Моне (его первое имя действительно Оскар) родился в 1840 году, в доме номер 45 на улице Лафитт, что в южной части Монмартра, и был вторым сыном Адольфа и Луизы. Четырьмя годами раньше на свет появился его брат Леон. После первого брака с богатым пожилым рантье Луиза Обре осталась бездетной. Тридцатилетняя хорошенькая вдова не устояла перед обаянием Адольфа Моне, в ту пору «парижского собственника», род которого вел свое происхождение из Дофине.

Оскар — или, вернее, Клод, — отныне мы будем называть его так, как он сам любил представляться, — родился 14 ноября, то есть под знаком Скорпиона. Для художника это хороший знак. Под ним родился Роден, в ноябре того же 1840 года; этот же знак покровительствовал Сислею (октябрь 1839 года) и Пикассо (октябрь 1881 года).

В 1845 году семье пришлось покинуть Париж и улицу Лафитт, на которой, кстати сказать, появился на свет Наполеон III и жили «полицай» Фуше и Лола Монтес — томная танцовщица, ставшая супругой короля Людовика I Баварского. Дела Адольфа шли далеко не блестяще, что совсем не устраивало госпожу Моне,

привыкшую ни в чем себе не отказывать. К этому ее приучили и родители, буржуа из Брюнуа, и первый муж, старик-рантье Деспо, носивший странное имя Клерадьюс. Итак, семья решилась на переезд. Куда именно? В Нормандию. Точнее — в Гавр-де-Грас.

Действительно ли семейство Моне испытывало материальные трудности? Следует отметить, что в 1845 году экономическая ситуация в столице была неблагоприятной. Число безработных достигло миллиона человек. Банкротства следовали одно за другим.

Но почему они решились перебраться в Гавр? Потому что в Гавре жила сводная сестра Адольфа Мари Жанна с мужем Жаком Лекадром — «крупным бакалейщиком и поставщиком судовладельцев».

— Приезжайте! — сказала она. — Приезжайте к нам! Торговля наша процветает, и мы без труда найдем чем занять Адольфа. Пусть помогает нам управляться в лавке!

На самом деле речь шла не просто о бакалейной лавке, где жители квартала покупают товары. Фирма Лекадра, расположенная на улице Фонтенель, являлась довольно крупным предприятием-поставщиком продовольствия флота. Что до самого Гавра, то в царствование Луи Филиппа, когда мы ладили с нашими соседями — англичанами, город переживал времена расцвета. С населением в 25 тысяч человек (и 125 тысяч во всем округе) Гавр, если верить «Новой географии Франции» Полена Тельера, был «самым оживленным из всех торговых приморских городов страны». Ловля сельди и китовая охота, соляные амбары, табачные мануфактуры, заводы по переработке картофеля в крахмал и мастерские по производству купороса, фаянсовые фабрики — деловая жизнь в супрефектуре департамента, который тогда именовался Нижней Сеной, действительно кипела вовсю. В годы Июльской монархии до всевластия нефти было еще далеко, а значит, облик города не портили ни нефтяные факелы с их тяжелым удушливым дымом, ни уродливые пакгаузы для хранения и перевозки нефтепродуктов. Тогдашние жители Гавра, говоря «из-за моря», меньше всего имели в виду Персидский залив! В порту громоздились штабеля кампешевого дерева, доставлявшегося из Мексики, отливающие охрой сикоморовые бревна, повсюду стоял аромат бананов и кофе… Никаких тебе «танкеров» — только гордые силуэты парусников, пришедших из Норфолка или Нового Орлеана и готовых вновь отправиться в путь — курсом на Галвестон или Нью-Йорк. Гавр в ту пору уже вел постоянный торговый диалог с Соединенными Штатами — такой же диалог, как мы вскоре убедимся, завяжет с США и Клод Моне.

1 апреля 1851 года юный Моне поступил в коммунальный коллеж, находившийся на улице Ла-Майрей, недалеко от Энгувилля, где поселилось семейство Моне, так что мальчика приняли на полупансион. Но в каком же угрюмом здании разместилась школа — не менее угрюмом, чем ее директор, господин Феликс Дантю! Маленькие, темные классы, неуютный, продуваемый всеми ветрами и освещаемый скудным светом газового рожка двор, больше похожий на тюремный!

«Коллеж и в самом деле всегда казался мне тюрьмой, — рассказывал впоследствии Моне. — Я не мог решиться не то что жить там, но и просто проводить в нем четыре часа в день, — особенно, когда на улице светило солнце, море манило к себе и так хотелось резвиться на лужайках или плескаться в воде! Лет до четырнадцати или пятнадцати я, к великому разочарованию своих родителей, вел совершенно неправильный, но зато здоровый образ жизни. Между делом мне удалось с грехом пополам освоить четыре арифметических действия и получить слабое представление о грамотном письме. На том моя учеба и закончилась. Не могу сказать, что учение тяготило меня, потому что я скрашивал его развлечениями: разрисовывал цветочными гирляндами поля учебников, заполнял голубые тетрадные листы самыми фантастическими рисунками и в самой непочтительной манере изображал на них, в наиболее безобразном виде, своих учителей в профиль и анфас… Да, я от рождения был неслухом, и даже в раннем детстве никому не удавалось приучить меня к дисциплине».

Выходит, Моне был нерадивым учеником? Бесспорно. Мало того, в наши дни его наверняка причислили бы к категории «трудных» детей. «Подвижный, с черными волосами и оливковым цветом лица, с умным взглядом темно-карих блестящих глаз», он ни минуты не сидел на месте, легко ссорился, вел себя дерзко, удирал когда и куда хотел и часто надолго замыкался в себе, храня хмурое молчание. Он не отличался разговорчивостью и охотно напускал на себя насупленный вид. Таким он и останется. При этом его товарищи считали, что у Клода «прекрасный характер и что он очень милый». Эта его черта также не изменится с возрастом. Дружба для него всегда была чем-то священным. Вместе с тем он часто проявлял нетерпимость, быть может, даже слишком часто. В коллеже на улице Ла-Майрей он не симпатизировал учителю рисования — Франсуа Шарлю Ошару, который был «высок, лыс, розоволиц и носил белую веерообразную бороду». Ошар (1800–1870), который преподавал рисование во всех школах Гавра и одновременно занимал должность хранителя муниципального музея, когда-то учился у

Давида. Сказать, что он придерживался классической традиции, значит, не сказать ничего. Его понимание того, как следует рисовать, противоречило представлениям юного Моне — этого «энергичного, самоуверенного, высокомерного маленького грубияна». Ибо в эти годы подросток был полностью поглощен рисованием карикатур или, как выражаются специалисты, шаржированных портретов. Вот, например, Шарль Ошар дает ученику задание — нарисовать гипсовый бюст, и тот к полному удовлетворению старика-учителя справляется с ним блестяще. Но перед тем как сдать готовую работу, буквально за несколько минут, он вдруг дает волю своему буйному воображению, в результате чего рот академической модели превращается в птичку, а подбородок отвисает огромной галошей. Ошар в гневе, а Клод Моне лукаво улыбается. В такой же точно гнев впал и Адольф Моне, когда узнал, что его сын твердо решил бросить школу.

— О чем ты только думаешь?! На что это похоже?! Ты нас в могилу сведешь! Тебе ведь всего шестнадцать лет! Что ты собираешься делать? Чем будешь зарабатывать на жизнь?

— Как это чем, папа? Я буду продавать свои рисунки!

Здесь следует сказать, что младший сын Адольфа Моне успел к этому времени стать знаменитостью местного масштаба. Впоследствии, в годы «тощих коров», он будет с ностальгией вспоминать эту пору своей юности. «В пятнадцать лет я был известен всему городу как карикатурист… Меня со всех сторон одолевали надоедливыми просьбами нарисовать портрет. Обилие заказов, равно как и недостаточная щедрость со стороны матери подвигли меня на смелый шаг, разумеется, шокировавший домашних: я стал рисовать портреты за деньги. В зависимости от платежеспособности клиента я требовал десять или двадцать франков за шарж, и дело пошло как нельзя лучше. За какой-нибудь месяц число моих заказчиков удвоилось. Пришлось мне установить единую таксу в двадцать франков, но и после этого клиентура не убывала. Продолжи я в том же духе, был бы сегодня миллионером».

В те времена юный художник подписывал свои творения «О. Моне». Возможно, по этой причине большая часть портретов, созданных им в 1856–1857 годах, не сохранилась. Не исключено, впрочем, что на самом деле этих работ было не так много, как он утверждал впоследствии. Как бы то ни было, каждое воскресенье после обеда он, зажав под мышкой картонную папку с рисунками, шел на Парижскую улицу в писчебумажную лавку, являвшуюся также и багетной мастерской, и выкладывал перед г-ном Гравье — «единственным в Гавре не прогоревшим торговцем красками»

— свои произведения, которые владелец магазина очень скоро начал выставлять в витрине.

«Когда я видел, как перед ней собирались восхищенные зеваки, когда я слышал, как кто-нибудь из них кричал: „Гляди-ка, да ведь это же тот-то!“, я едва не лопался от гордости!»

28 января 1857 года в жизни шестнадцатилетнего художника произошло скорбное событие — скончалась его мать. Нет ни малейших сомнений в том, что он тяжело переживал эту утрату, ибо мать была единственным человеком, который его понимал и готов был помочь. Что касается отца, то с ним у Клода были напряженные отношения. По мнению Адольфа Моне, он был если и не полным бездельником, то во всяком случае сумасбродом. К счастью, у Клода осталась еще тетка, Мари Жанна Лекадр. К счастью, потому что именно она относилась к юноше с теплотой и вниманием, тем более что своих детей у нее не было и она любила живопись. «Она немножко рисовала, как рисуют барышни», — с улыбкой вспоминал позже Клод Моне. Правда, и ее в племяннике устраивало далеко не все. Признавая за ним несомненный талант, она не понимала, зачем растрачивать его на изображение в карикатурном виде обитателей Гавра. Хочешь писать портреты? Прекрасно, но пусть это будут светские портреты, выполненные в академической манере!

— К тому же не очень разумно малевать в непотребном виде тех, кто когда-нибудь сможет купить у тебя настоящие картины! — считала она.

Стоит ли говорить, что юный художник пропускал такие советы мимо ушей и продолжал дурачиться в свое удовольствие. Но однажды Клод увидел в витрине лавки Гравье рядом со своими шаржами еще чьи-то работы. «Я был оскорблен до глубины души и не жалел проклятий в адрес возомнившего себя художником идиота, которому хватило наглости поставить под картинами свою подпись». (Цитируя этот краткий фрагмент его воспоминаний, отметим кстати, что, хотя Клод Моне и не получил глубокого литературного образования, его французский язык был безупречен. Мы убедимся в этом впоследствии, читая его письма.)

«Идиотом, возомнившим себя художником», оказался тридцатитрехлетний моряк, только что расставшийся с морем, чтобы писать море, — долговязый, сутулый, с неторопливой походкой вразвалочку. Звали его Эжен Буден. Поначалу Моне, одержимый гордыней, старался его избегать. «На мой взгляд, привыкший к произвольному использованию колорита, фальшивым нотам и надуманным композициям модных художников, в небольших и глубоко искренних работах Будена, с

его совершенно достоверными скромными персонажами, с его похожими на настоящие кораблями со всей их оснасткой, с небом и водой, писанными исключительно с натуры, не было ничего художественного; его верность реальности казалась мне какой-то подозрительной. Вот почему его живопись внушила мне ужасную неприязнь, и, даже не зная толком этого человека, я заранее невзлюбил его».

На протяжении нескольких недель Клод Моне упорно отказывался поговорить со своим соперником по витрине писчебумажной лавки, хотя ее хозяин настойчиво рекомендовал ему сделать это:

— Вы заблуждаетесь! Это человек, отлично знающий свое дело! Да-да! Я уверен, что он способен дать вам немало добрых советов!

И в один прекрасный день лавочник-доброхот решил застать Клода врасплох. Едва тот вошел в лавку, как услышал голос хозяина:

— А, господин Моне! Как вы кстати! Позвольте представить вам господина Будена, искренне восхищенного вашими работами…

Так ли уж искренне они восхищали Будена? Как бы там ни было, хорошее воспитание или просто умение вести себя заставили его встретить настороженный взгляд черных глаз Моне приветливыми словами:

— Это все ваши рисунки? Забавно. Смело. Вы талантливы, молодой человек. — Но тотчас же добавил: — Несомненно, в них есть свои достоинства. Жаль только, что вы на этом останавливаетесь. Надо учиться дальше. Надо учиться видеть. Пишите пейзажи! Займитесь живописью!

Известно, что Моне отклонил первое предложение Будена отправиться вместе с ним на пленэр, чтобы писать пейзажи. С какой стати он должен отказываться от портретов, ведь они уже принесли ему почти две тысячи франков, и это было лишь начало?! Но однажды он отбросил свою недоверчивость и согласился. Это случилось в самом начале 1858 года. Именно тогда он приобрел свою первую коробку красок и в компании с Эженом Буденом отправился в деревушку Руэль, располагавшуюся к северо-востоку от Гавра. Выбрав особенно красивый вид на долину Лезард, Буден поставил мольберт. Моне пережил нечто вроде откровения. «Как будто пелена спала с моих глаз, — позже рассказывал он. — Я вдруг понял, разом постиг, чем может быть живопись. Да, если я и стал художником, то только благодаря Эжену Будену!»

В полном изумлении наблюдал он за работой старшего

товарища. Работой? Нет, это больше походило на битву, на дуэль, на рукопашную схватку с непредсказуемой природой. Побережье Ла-Манша — особое место, здесь море и небо ежеминутно меняют свой облик. Но, несмотря на это, Эжену Будену как-то удавалось подчинить своей воле облака. Он приручал их, он властвовал над ними, он любил их и ласкал, как ласкают возлюбленную.

— Господи Боже, Буден, да вы просто небожитель! — воскликнул однажды Курбе, приехавший поработать на нормандское побережье, в Трувиль или в Этрета, где он создал свои картины «Волна» и «Утесы». — Кто еще на земле так хорошо знает небо!

А Клод написал свою первую картину — «Вид из деревни Руэль». Это было совсем небольшое полотно, которое Буден во время муниципальной выставки, состоявшейся в Гавре в сентябре 1858 года, заставил устроителей повесить на самом видном месте. Отныне прощайте рисунки карандашом или пером! Да здравствуют кисти, холсты, цвет, облака, солнце и море!

Как отмечает Гюстав Жеффруа, встреча с Буденом сыграла в жизни Моне роль «удара молнии, опалив его глаза и воспламенив его дух, как это когда-то случилось с апостолом Павлом на дороге в Дамаск». «Для него дорогой, на которой он испытал на себе силу волшебных чар, стала одна из троп, ведущих из Гавра к высоким утесам, где царит одиночество моря и пустынного побережья».

При всем своем несомненном таланте жил Буден более чем скромно. Современники не могли по достоинству оценить того, что он делал, — слишком непривычным это выглядело. Достаточно прочитать его дневник, чтобы убедиться, насколько обездоленным и несчастным он себя чувствовал. «Сегодня на последние 40 су купил немного фруктов и овощей, которые буду писать…» Или такая запись, сделанная 29 октября 1857 года, в воскресенье: «Силы окончательно покидают меня. Сижу без гроша, без всяких припасов. Правда, есть заказ на одну небольшую картину, но пока я его выполню… Меня одолевает отвращение, у меня ничего не получается…»

Однажды ему даже пришлось уступить свои работы по цене 75 франков за дюжину! И при этом — о ужас! — еще слушать, как богатый гаврский промышленник шепчет ему прямо в ухо: «Никому не говорите, что я купил ваши картины, не то мне не поздоровится!»

Казалось бы, отчаянное положение учителя, которого не могла прокормить «нежность облаков», должно было насторожить Моне. Но ничуть не бывало! Ведь он не подозревал, что следующие 25 лет ему предстоит существовать на грани нищеты.

Уже весной 1859 года его дела шли далеко не блестяще. Он дважды обращался в муниципалитет Гавра с просьбой о стипендии, которая позволила бы ему поехать учиться живописи в Париж, и дважды получал отказ. Протокол заседания муниципального совета от 18 мая 1859 года наглядно демонстрирует, с каким изворотливым лицемерием сформулирован второй отказ на его просьбу. «Моне Оскар, обучавшийся у гг. Ошара, Виссана и Будена, прилагает к своему ходатайству картину-натюрморт, которая могла бы свидетельствовать о наличии у него таланта, если бы он и без того не проявился со всей полнотой в остроумных набросках, известных каждому из нас. На том пути, к которому его до сих пор толкали замечательные природные склонности, а именно, если называть вещи своими именами, на пути карикатуры, Оскар Моне сумел добиться популярности, которую с таким трудом завоевывают серьезные произведения. Не таится ли в этом скороспелом успехе, в самом направлении, избранном для себя этим слишком легким карандашом, опасность отвращения молодого художника от более серьезных и не столь благодарных занятий, которые одни имеют право на муниципальную поддержку? Будущее рассудит нас».

Так или иначе, но Клод принял решение. Он едет в Париж! О чем он ясно и недвусмысленно и сообщил отцу.

— Я не дам тебе ни гроша! — заявил тот.

— Ну и не надо! — ответил Клод.

Глава 2
ПИВНАЯ «МАРТИР»

На самом деле Клод уезжал отнюдь не с пустыми руками. Как мы уже знаем, он успел скопить около двух тысяч франков, хранением и, скорее всего, некоторым приумножением которых озаботилась его тетка Мари Жанна, а эти деньги представляли собой довольно-таки существенную сумму. В 1860 году в Париже можно было вполне прилично существовать на 130 франков в месяц. Таким образом, молодой человек мог примерно 15 месяцев жить безбедно.

А кроме того, Клод вез с собой в Париж два натюрморта, которые намеревался показать Труайону. Констан Труайон (1813–1865) тоже занимался живописью, но признание пришло к нему поздно. В ту пору ему исполнилось уже 45 лет. Вне всякого сомнения, Труайона можно назвать величайшим в истории изобразительного искусства специалистом по коровам. Каких только коров он не писал — шаролезской, пуатвинской, фрибургской, нормандской породы… «Корова, чешущая себе спину», «Корова, пасущаяся на лугу», «Белая корова», «Красная корова»… Насмотревшись на всех этих телок, поневоле захочешь стать вегетарианцем! Хотя сам Труайон, да простит нам читатель эту шутку, всю жизнь, не подозревая ни о чем дурном, питался бешеной говядиной!

Рассказывают, что Наполеон III, посетивший Салон, остановился перед полотнами Труайона.

— Что-то я ничего здесь не понимаю, — сказал он. — Но это не страшно, потому что я, кажется, дурно разбираюсь в живописи…

Несмотря на нелестный отзыв императора, картины Труайона продавались по шесть тысяч франков!

Именно Буден посоветовал Моне:

— Когда будешь в Париже, поступи в ученики к Труайону — конечно, если сможешь и если захочешь. Он живет у заставы Рошешуар, там, где проходит дозорный путь. Я его знаю, он человек добродушный и добросовестный. Мы познакомились, когда он приезжал сюда писать не то «Ухаб», не то «Долину Тук»…

И вот Моне робко протянул Труайону две свои картины.

— Ну что же, дорогой мой, у вас есть чувство цвета! — сказал мастер. — Вы умеете произвести впечатление, но вам необходимо серьезно заниматься. То, что вы делаете, выглядит очень мило, но

немного легковесно. Легкость свою вы не потеряете, но, если хотите прислушаться к моему совету и всерьез посвятить себя искусству, поступите для начала в какую-нибудь студию академического толка, где учат рисунку. Вам надо учиться рисовать — это то, чего сегодня не хватает почти всем вам. Поверьте, я не ошибаюсь. Рисунок и еще раз рисунок! Чем больше вы будете рисовать, тем лучше. Впрочем, не пренебрегайте и живописью. Время от времени выезжайте в деревню на этюды и не жалейте сил на их отработку. Посетите Лувр, сделайте пару-тройку копий. И почаще заглядывайте ко мне. Приносите свои работы. Одним словом, смелее, вперед! У вас получится.

— В общем-то мне нравится, как работает Труайон, — позже говорил Моне Будену. — Вот только тени он зачерняет…

Черный цвет всегда раздражал его неимоверно. В конце концов он просто изгнал его со своей палитры.

— Черное — это не цвет! — с яростью восклицал он.

По этой самой причине Моне никогда не любил творчества англичанина Тернера. Однажды, рассматривая одну из его картин, он обронил:

— И это и есть ваш великий Тернер? Вот эта коричневая мазня?..

Еще более категорично высказался по его поводу Ренуар:

— Тернер? Да он пишет шоколадом!

По совету Труайона Моне решил провести зиму в Париже, в этом «ошеломляющем Париже» — работать в студии, а к весне, когда природа вновь обретет свои краски, вернуться в Гавр и писать пейзажи. Как сообщает Даниель Вильденштейн[1], «этот план получил одобрение Адольфа Моне и тетушки Лекадр». Ему порекомендовали мастерскую Тома Кутюра — бывшего ученика Гро и обладателя второй премии Римской академии за 1837 год. Кутюр готовил своих учеников к поступлению в Школу изящных искусств. Но Моне, после первого же занятия, решительно отказался продолжать у него обучение. Тому было две причины. Во-первых, уроки Кутюра стоили дорого. Во-вторых, живопись учителя внушала ему ненависть («Жалкий подражатель Делакруа! Его картины ужасны и плохо проработаны!»), равно как и его характер — «насмешливый, грубый и гневливый».

— Попробуйте поступить в Академию папаши Сюисса, — посоветовали Моне. — Может, там вам больше понравится…

Академия Сюисса! Заведение со столь звучным названием ютилось в более чем скромном помещении, в полумансарде дома номер 4 на набережной Орфевр, на острове Сите. Ученики сидели на простых скамьях, старику-учителю явно не хватало

требовательности, зато здесь царила атмосфера искренности и непосредственности, полюбившаяся Клоду, как, впрочем, и другим студийцам, в числе которых оказался и Писсарро.

«Мне здесь очень нравится! — писал Моне Будену. — И я вовсю упражняюсь в рисунке!»

Третий этаж этого старого здания занимал некий г-н Сабра — зубной техник без диплома (!), предлагавший клиентам «протезы из резины, бегемотовой кожи, а также вечные зубы из минералов». Случалось, что его пациенты ошибались этажом, и тогда некоторые из них сталкивались с работавшими в Академии натурщицами, которые из раздевалки спешили в класс полностью готовыми к позированию, то есть в совершенно природном виде!

Такая же непринужденная атмосфера царила и в баварской пивной, находившейся в доме номер 9 на улице Мартир, — в двух шагах от дома на улице Пигаль, где поселился молодой Моне. В пивную «Мартир» ходили те, кто претендовал на причастность к литературе или живописи, а значит, нет ничего удивительного в том, что и Моне стал здесь частым гостем. Его кубышка — две тысячи франков — начала заметно таять, ну так что ж! — тем хуже для кубышки…

Пивная «Мартир»! Чтобы понять, что за непреодолимая сила влекла сюда завсегдатаев, надо прочитать посвященную ей книгу Фирмена Майара[2]. Особенно притягательной она становилась по вечерам, когда из ее окон на улицу лился желтый свет газовых рожков, тусклый из-за густого дыма от трубок и сигар.

Стоило распахнуть дверь и шагнуть в большой зал этого «„Прокопа“ XIX века»[3], как все голоса сейчас же сливались в общий гул. Здесь проводили время «отважные искатели бесконечности, дерзкие торговцы химерами, бродячие рыцари пера и кисти»: Бодлер в своем красном кашне; издатель Пуле-Малассис; Курбе, казалось, никогда не снимавший белого жилета; Банвиль, свежеиспеченный кавалер ордена Почетного легиона; Анри Мюрже, покончивший благодаря авторским правам с богемной жизнью. Здесь бывали Жюль Флери, только что выпустивший первый номер «Газет де месье де Шанфлери», и лучившийся довольством Фернан Монселе из «Фигаро» — еще бы, написанная им биография Рестифа де ла Бретона принесла ему шумный успех! Сюда захаживал автор водевилей Эдуар Плувье, безутешный вдовец, недавно потерявший жену, актрису Люси Мабир, которая, как он утверждал, умерла, подобно Мольеру, прямо на сцене. Здесь можно было встретить «Жана дю Буа, окончившего свои дни в доме умалишенных, и Эжена Крессо, умершего голодной смертью». И еще Потреля — «парня, который пишет по статье каждые два дня и каждые два дня получает

пощечину!».

Сюда заглядывали Альфонс Доде и поэт-шансонье Пьер Дюпон — иллюстрации к его «Легенде о Вечном жиде» выполнил Гюстав Доре, и он потрясал ими словно маршальским жезлом; Огюст де Шатийон, великолепно переводивший Шекспира и не умевший сказать по-английски и трех слов; Альбер Глатиньи, нормандский поэт, больной чахоткой и вечно голодный, и многие, многие другие, самоуверенные бумагомаратели, готовые без колебаний провозгласить под сводами пивной «Ламартина идиотом, Мюссе слабоумным, а Гюго — обыкновенным глупцом!».

Сюда же зачастил и Клод Моне. Положив лист бумаги на краешке стола, он двумя-тремя точными штрихами набрасывал чей-нибудь портрет — разумеется, карикатурный, как совсем недавно в Гавре, когда работал по заказам владельца писчебумажной лавки Гравье.

Не обходилось здесь и без дам — иначе вечера стали бы слишком пресными. Гюставу Жеффруа удалось восстановить имена и прозвища постоянных посетительниц пивной — одно удивительней другого. Итак, вот результат его изысканий: Толстуха Полина, Роза-блондинка, Мальвина-обжора, Бретонка Мими, Маленькая Мари, Сигаретка, Лунный Свет, Зеленое Чудовище, Виноградная Косточка, Яичница и Барашек Стеклянный Глаз! Одним словом, целая ватага всевозможных «Мими», по выражению Майара, «всегда готовых предоставить все прелести своего тела в обмен… на бессмертие!».

В Париже времен Июльской монархии жизнь бурлила вовсю, французская столица напоминала нечто вроде одного большого кабаре — на бульваре Монпарнас, в ресторане отеля «Гранд Шомьер», обосновались гризетки, приносившие заведению немалый доход; на улице Сены, в «Собачьем балу» собирались студенты; в саду Мобий волокиты искали встречи с королевой Помары с ее безумной прической, лукавой Розой Помпончиком, Карабиной, Белокурой Луизой или Селестой Могадор, урожденной Венар… В кафе «Баль де л’Астик», что на улице Сент-Антуан, любили заглядывать художники, озабоченные поиском модели. После свержения «короля-буржуа» Луи Филиппа минуло уже 12 лет. Кто-то за эти годы успел прославиться, кто-то оставался в неизвестности, но и тех и других, и разбогатевших, и перебивающихся с хлеба на воду, по-прежнему тянуло друг к другу.

В 1860 году Моне исполнилось 20 лет. В этот самый год Авраам Линкольн был избран президентом Соединенных Штатов, американец Гатлинг изобрел пулемет, а англичанин Уолтон —

линолеум. В этот самый год Пьемонт после плебисцита уступил Франции Савойю и Ниццу, а Лессеп торжественно вонзил в землю лопату, знаменуя начало строительства Суэцкого канала. В Париже прошла премьера спектакля по пьесе Эжена Лабиша[4] «Путешествие господина Перришона», за которой последовала бесконечная череда других премьер…

В этот год Оффенбах находился в зените своей славы. Не проходило и недели, чтобы он не выбрался на столь любимое Моне нормандское побережье — подышать его живительным воздухом. Здесь, на холмах Этрета, находилось принадлежавшее ему прелестное имение, называвшееся «Вилла Орфей», и здесь немного утихали мучившие композитора ревматические боли. С 21 марта 1847 года, когда начала действовать железная дорога, путь из французской столицы в портовый город, появившийся на свет благодаря фантазии короля Франциска, стал занимать всего шесть часов, тогда как раньше путешественник тратил на него два дня и при этом вез с собой съестные припасы.

Именно железной дорогой воспользовался Клод Моне для поездки в Гавр, где в субботу 2 марта 1861 года, в 13 часов, проводилась жеребьевка среди юношей, призванная определить, кто из них отправится служить в армию.

Официально, согласно хартии от 14 июня 1814 года, обязательной воинской повинности не существовало, но на практике действовал закон от 21 марта 1832 года, по которому набор в армию все-таки производился, только в другой форме. По сути он напоминал собой лотерею — в урну опускали бумажки с номерами, под которыми значились имена юношей, достигших 20-летнего возраста и не опорочивших себя уголовно наказуемыми проступками. Затем из урны вынимали нужное количество бумажек. И тот, кого таким образом выбрали, отправлялся служить на долгие семь лет!

Жребий пал и на Клода Моне. Призвать его должны были летом. Местом службы стал Алжир.

Почему Алжир? Потому что Оскар Клод Моне, «ростом 165 сантиметров, глаза карие, брови и волосы каштановые, подбородок круглый, нос прямой»[5], высказал пожелание служить в рядах «африканских стрелков»[6]. Задолго до Пьера Лоти[7], который был моложе его на 10 лет, он испытал притягательное очарование Востока. Он мечтал о горячих песках (в Гавре ими и не пахнет!), о ночах, проведенных в пустыне, ему казалась такой красивой пестрая военная форма — белая каскетка с пунцовым помпоном, красные штаны, синяя куртка с желтым воротником и медными пуговицами. Тему взаимосвязи между Пьером Лоти и Клодом Моне исследует Эжен Монфор в

своей книге «Двадцать пять лет французской литературы»[8]. Вот что он пишет: «Лоти представляет собой законченный тип писателя-импрессиониста. Его сочинения, вялые и бессвязные, больше напоминают эскизы или наброски. Зато они отличаются ярким и насыщенным цветом. В литературе Лоти в некотором роде осуществил то, что Клод Моне сделал в живописи, — создал прекрасные произведения на основе убогой эстетики и с помощью слабой техники». Поспешим успокоить читателя: Монфор отнюдь не принадлежал к числу авангардистов. Достаточно сказать, что он на дух не переносил творчество Марселя Пруста.

Однако вернемся к Моне. Воодушевленный идеей освобождения от опеки отца, по-прежнему настаивавшего, чтобы он бросил кисти и наконец занялся делом, отца, который в свои 50 лет успел осчастливить ребенком (девочкой) собственную служанку, Селестину Аманду Ватин, сознавал ли он, что его ждет в алжирской армии, где ему предстояло впервые в жизни сесть на лошадь?

Что же происходило в Алжире в 1860 году? Страна только что была покорена французской армией — теми горячими головами, что с тоской вспоминали наполеоновскую эпоху. Завоевание это сопровождалось многими жестокостями. Так, в декабре 1840 года генерал Бюжо, в ответ на отчаянное сопротивление Абд эль-Кадера, отдал приказ смести город с лица земли. В 1845 году около тысячи арабов, преследуемых французским войском, укрылись в пещерах, и полковник Пелисье, не долго думая, решил «выкурить» их оттуда, обложив пещеры кострами. Аналогичную тактику «выкуривания» применял и Сент-Арно. «Мы ведем себя здесь как настоящие разбойники», — признавался полковник Монтаньяк. Алжирских женщин, если верить его рассказу, часто брали в заложницы. Некоторых из них затем обменивали на лошадей, но подавляющее большинство продавали на рынке.

После взятия крепости Малакофф Пелисье удостоился маршальского звания и занял пост генерал-губернатора Алжира. Первый же отряд «африканских стрелков», в который попал служить Моне, был личной охраной маршала, сопровождавшей его в передвижениях по стране.

Главным требованием, предъявляемым к солдату отряда, было умение хорошо ездить верхом, а Моне не имел об этом никакого представления. Что ж, ничего страшного! Он научится!

Мешкать с обучением не приходилось. В июне 1861 года кавалерист второго класса Оскар Клод Моне высадился в Алжире, разыскал свой полк, расквартированный на подступах к столице, в районе Мустафы, и буквально на следующий день отправился в

манеж.

Оговоримся сразу: коренастому и невысокому Моне так и не удалось стать хорошим наездником. Его занятия верховой ездой так и ограничились манежем — в состав войска, время от времени передвигавшегося от одного алжирского города к другому с единственной целью продемонстрировать мощь французской армии, его не включали ни разу.

Поэтому нетрудно представить себе, какой скукой обернулась казарменная жизнь молодого солдата, особенно в часы, свободные от неблагодарных трудов — чистки конюшен, уборки манежа, работы на кухне или мытья отхожих мест. Находил ли он минутку, чтобы взяться за карандаш или кисти? Судя по воспоминаниям драматурга Анри Леви (работавшего под псевдонимом Арнивельд), да, находил. Клод Моне якобы говорил ему: «Офицеры охотно пользовались моими талантами, и мне от них кое-что перепадало». По мнению же журналиста газеты «Тан» Тиебо-Сиссона, нет, не находил. Он приводит следующее высказывание Моне: «В Алжире я даже и не помышлял о живописи!»

Наконец, Клемансо уверяет, что художник все же успел набросать «Портрет моего капитана», а Жемпель[9] упоминает картину под названием «Алжирская сценка». Сам автор остался недоволен этой работой, которую успел продать, но впоследствии настойчиво разыскивал — по всей видимости, чтобы уничтожить. Действительно, неудовлетворенность собой нередко вызывала в нем приступы неистового гнева, хорошо знакомые его близким.

Астрологи полагают, что способность впадать в такую ярость, когда готов, кажется, убить все человечество, — типичная черта людей, родившихся под знаком Скорпиона. В Алжире гнев Моне, «Скорпиона» третьего декана, вырвался наружу в тот день, когда он осознал, что больше не в силах безвылазно сидеть в лагере. С грацией Санчо Пансы он вскочил на осла и так хлестнул его, что разозленное животное обрело прыть Пегаса и на глазах изумленного караула перемахнуло через лагерные ворота. Со стороны Моне, считавшегося плохим наездником, это был настоящий подвиг. Вечером его нашли лежащим в полузабытьи в оливковой роще под Мустафой. У него был жар, и он бредил. Несмотря на тяжелое состояние[10], Моне бросили в карцер. Вскоре выяснилось, что у него брюшной тиф. Из карцера Моне перевели в лазарет, где на протяжении трех недель упорно лечили холодными ваннами и не менее холодными обтираниями, а из еды давали только подслащенное молоко.

В результате всех этих мер случилось то, что и должно было случиться: Моне выздоровел. Правда, он невероятно ослаб, так

что ему предоставили два месяца отпуска для поправки здоровья в Алжире и еще полгода позволили провести в метрополии.

Отпуск отпуском, но… Появляться на улице «в цивильном платье» солдаты-отпускники не имели права. Раз ты выздоравливающий, выздоравливай достойно, иначе говоря — исключительно в форме африканского стрелка!

Но мы подозреваем, что, едва ступив на землю Гавра, — а случилось это летом 1862 года, то есть почти ровно год спустя после призыва, — молодой человек сейчас же выбросил из головы строгие армейские предписания. Красные штаны и синяя куртка отправились в шкаф. Да здравствует свободная блуза художника — идеальная одежда, в которой так удобно карабкаться по утесам Сент-Адресса, с радостью узнавая знакомые места и вглядываясь в беспрестанно меняющееся небо, столь не похожее на небо Мустафы. В отличие от Гогена, Моне так и остался равнодушным к яркому южному солнцу.

Здесь, под нормандским небом, он встретился с голландцем Йонкиндом, которого крестьяне, жившие на берегу бухты, образуемой течением Сены, прозвали Жонкилем — так по-французски называется нарцисс. Эта встреча произвела на него неизгладимое впечатление. Ходили слухи, что голландец, с неуклюжей походкой «моряка на суше», немного не в своем уме. Ему и в самом деле везде чудились преследователи. Но Бодлер им восхищался. «Больше всего, — пишет Джон Ревалд, — его интересовали виды изменчивой природы, которые его умелая рука скоро и вдохновенно преображала, никогда не повторяясь, в нервные линии и пятна сияющего света». Помимо всего прочего он отличался великодушием и щедростью.

— Приходите ко мне в гости, — пригласил он однажды Моне. — Увидите мою «рисовальную комнату»!

Комната, в которой Йонкинд писал, больше походила не небольшой зверинец. «По ней свободно летали голуби, время от времени садясь на один из мольбертов, а то и на голову и плечи художника. Когда он работал, за пазухой его жилета сидел цыпленок. По полу бродили куры, беспрестанно что-то клевали, а поскольку клевание сопряжено у них с другим процессом, то по предложению заботливой хозяйки дома и спутницы жизни художника, госпожи Фессер, им привязывали сзади маленькие корзиночки, — чтобы не пачкали пол».

В ответ на любезность Йонкинд и его подруга вскоре получили приглашение посетить тетушку Лекадр, у которой тогда жил выздоравливающий Моне. Во время трапезы произошла следующая сцена. Госпожа Лекадр передала племяннику очередное блюдо с просьбой предложить его «госпоже Йонкинд».

И услышала громкий смех голландца:

— О нет, дорогая мадам! Она не есть мой жена!

В комнате повисло напряженное молчание. Шокированная госпожа Лекадр слегка поджала губы.

Первым нашелся все тот же Йонкинд:

— Она не есть мой жена! Она есть ангел!

Справедливости ради добавим, что госпожа Фессер, эта «маленького роста женщина с посеребренными волосами и жесткими усиками над верхней губой, более всего походившая на маркитантку имперской гвардии», демонстрировала по отношению к «Жонкилю» поистине ангельскую преданность. Если бы не она, художник, вполне вероятно, спился бы, как Утрилло, или впал в безумие, как Ван Гог.

Что касается Клода, то он к этому времени полностью оправился от последствий болезни. Приближалась осень (был 1862 год), а вместе с ней — неизбежное возвращение в армию. И, подумать только, еще целых пять с половиной лет ему придется «тянуть эту лямку», как говорили его сослуживцы. Правда, от воинской службы можно было откупиться. По закону, не слишком благосклонному к беднякам, каждый гражданин имел право внести в казну определенную сумму денег и освободиться от воинской повинности. «Такса» составляла 555 франков за год службы. Следовательно, избавление Моне от солдатской «лямки» стоило около трех тысяч франков.

— Я готова заплатить, — сказала тетушка Лекадр, — но при одном условии. Ты наконец поступишь в Париже в мастерскую серьезного художника.

— Она права, — стукнул пальцами по столу отец. — В мастерскую! Под начало известного мастера! И если только я узнаю, что ты опять болтаешься сам по себе, в тот же самый день я окончательно и бесповоротно прекращу выплачивать тебе содержание. Ты все понял?

— Тем более что сделать это совсем нетрудно, — добавила тетушка Мари Жанна. — Как только приедешь в Париж, ступай к Огюсту! Он женат на моей родственнице. Говорят, он хороший художник. Между прочим, в прошлом году на Салоне получил вторую премию. Он посоветует тебе, в какую мастерскую поступить. Он же будет каждый месяц выдавать тебе деньги на жизнь.

Этот самый Огюст[11] считался тогда человеком, прославившим семью. В газетах появилось несколько хвалебных статей о нем, в которых его называли «художником будуаров». Впрочем, к хору славословий примешивались и достаточно ехидные замечания. «Это мило, очаровательно, ярко, изящно и

вместе с тем ужасно!»

По мнению родственников, он был более маститым художником, чем Йонкинд, — «человек с огромными и очень светлыми голубыми глазами», человек, о котором Моне позже скажет: «Именно ему я обязан окончательным формированием своего умения видеть».

Наступил ноябрь 1862 года. Итак, прощай, Гавр, прощай, Йонкинд! Клод Моне возвращается в столицу.

Глава 3
УЧЕНИК МАСТЕРА

Моне прибыл в Париж, когда весь тамошний мир живописцев бурлил, как кипящий котел. Виновником скандала — в очередной раз! — оказался Курбе.

Он выставил свою картину «Погребение в Орнане», и на него немедленно обрушились обвинения в издевательстве над религией. Он выставил «Купальщиц», и его обвинили в бесстыдстве и покушении на нравственность.

Но у Орнанского мастера были и сторонники, в частности, те, кто выступал за искренность в искусстве и противопоставлял себя напыщенным старым калошам, работавшим в ключе романтизма или создававшим исполненные чопорности полотна, — таким, как вечно недовольный жизнью Делакруа с его неряшливой композицией или склонный к деспотизму и презирающий всех папаша Энгр.

В те времена процветали авторы помпезных картин на исторические темы, не гнушавшиеся всякими второстепенными сюжетами, — личности вроде Бугеро, запечатлевшего «Зенобию, найденную на берегу Аракса» и «Императора, посещающего жертв наводнения в Тарасконе», или Мессонье, заполонившего Салоны своими работами под такими названиями, как «О! А вот и дьявол!» или «Католик и солдат».

Зато представители барбизонской школы подвергались яростным нападкам. Так, «Сборщицы колосьев» Милле вызвали негодование знатоков из среды буржуа.

— Этот Милле — настоящий социалист! Бунтарь! Остерегайтесь его! — призывал некий критик.

— Это живопись демократов, то есть людей, которые не меняют белья и мечтают диктовать свои законы свету. Поистине омерзительное зрелище! — вторил ему другой.

Моне вернулся в Париж в то самое время, когда Гюго заканчивал «Отверженных», а Флобер «Саламбо», в то время, когда Шарль Гарнье вопреки недовольству императрицы Евгении начал возводить здание Оперы. Изучив план строительства, императрица обратилась к архитектору с вопросом:

— Что это за стиль, сударь? Что-то я его не узнаю…

— Э-э… Видите ли, это стиль Наполеона III, сударыня! — осененный гениальной идеей, ответил Гарнье.

Моне вернулся в Париж в тот самый год, когда Пастер, столкнувшись со злобной реакцией научного мира, вынужденно

отрекся от своей гипотезы о самозарождении жизни; в тот год, когда Герхард — вечная ему слава! — изобрел аспирин; в год, когда Бисмарк, увы, занял пост первого министра Пруссии…

Итак, по приезде Моне, чтобы по-прежнему получать содержание, следовало незамедлительно явиться к Тульмушу, дальнему родственнику и признанному мастеру кисти. Впоследствии он рассказал, как прошла их первая встреча с Тульмушем, в его роскошной квартире на улице Нотр-Дам-де-Шан. С собой Моне прихватил несколько этюдов с пейзажами и натюрморт, изображавший блюдо с маслом и почками.

— Недурно, молодой человек, очень недурно! Более того, просто замечательно! У вас, бесспорно, есть способности, однако… Вам следует научиться направлять свои порывы в нужное русло. Что вам действительно нужно, так это работа в студии. Лично я рекомендую вам обратиться к Глейру. Мы все считаем его своим учителем…

Габриэль Шарль Глейр! Моне издевательски называл его «Глером», что по-французски означает «слизь». Пожалуй, он был несправедлив. Глейр родился в 1807 году в Швейцарии. Он был художником-интимистом[12] и неисправимым мечтателем. Современники именовали его художником-поэтом. Громкий успех пришел к нему на Салоне 1840 года, где он выставил «Святого Иоанна, осененного видением Апокалипсиса» и «Танец вакханок», ставший образцом жанровой живописи. Глейр был славным человеком, следовательно, он был беден. Жил он скудно, в своей маленькой мастерской, в доме 94 по улице Бак. Помимо Моне, сюда приходили Фредерик Базиль, Сислей, Ренуар и многие другие начинающие художники. «Каждое утро, примерно в 9 часов, он шел завтракать на набережную Орсе. Чашка чая, небольшой хлебец, кружок масла. До 7 часов вечера это было все».

Суровый аскет Глейр любил античность.

Однажды Моне показал ему этюд ню, написанный с натуры.

— Ах ты боже мой! — воскликнул тот. — Очень, очень хорошо! Только, понимаете… Вы писали с человека слишком коренастого, да так и написали его коренастым! Взгляните только на эти огромные ноги! Это же уродство! Не забывайте, молодой человек, когда вы пишете человеческую фигуру, необходимо постоянно думать об античности. Конечно, как материал для этюда природа прекрасна, но в искусстве она никого не интересует. Стиль, главное — стиль!

Природа никого не интересует! Можно не сомневаться в том, что молодого уроженца Гавра, воспитанного Буденом и Йонкиндом, подобное кредо не воодушевляло.

Но он продолжал работать — к этому его призывали Тульмуш, тетушка Лекадр и выплата содержания. И работать подчас приходилось в более чем суровых условиях. Мастерская Глейра не отапливалась. Печка-то там была, но дрова в доме если и водились, то крайне редко. А ведь зимы в те времена бывали жестокие! Так что стоило папаше Глейру дать ученикам денек-другой отдыха, как Моне спешил удрать подальше от улицы Бак. Иногда он направлялся в Шайи-ан-Бьер, что в двух шагах от Барбизона, и писал в лесу Фонтенбло; иногда уезжал в Сент-Адресс, где, кроме встречи с родными, его ждали любимые нормандские пейзажи — небо, морские волны, туманы и пароходы, в клубах дыма возвращавшиеся из Нью-Йорка.

В январе 1864 года Моне все еще ходил в мастерскую Глейра. Для этого от него требовалось немалое мужество — в помещении столбик термометра достигал отметки в минус 10 градусов! В июле того же года он по-прежнему работал у Глейра. Судя по всему, именно тогда он и стал свидетелем разговора, состоявшегося у старого мастера с его учеником Ренуаром.

— По всей видимости, вы занимаетесь живописью ради забавы?

— Ну конечно! Неужели вы думаете, я стал бы тратить на это время, если бы это меня не забавляло?

Тем не менее Ренуар всегда отзывался о Глейре с большой нежностью, даже если от его понимания, как и от понимания Моне, Базиля и остальной ватаги учеников, долгое время ускользало, почему «славный старый швейцарский мэтр» постоянно советовал им заранее смешивать краски на палитре. Наконец, не устояв под градом вопросов, учитель снизошел до объяснения:

— Лучше, чтоб вы делали, как я говорю, иначе этот дьявольский цвет ударит вам в голову!

Бедняга Глейр! Если у него самого порой кружилась голова, то уж никак не из-за цвета. «Глубокоуважаемый швейцарский художник», как говорил о нем Ренуар, постепенно слеп.

Когда это сделалось очевидным, Моне, не слишком склонный к сантиментам, предложил друзьям:

— Бежим отсюда!

И они сбежали.

Моне и Базиль сбежали вместе и вместе отправились в Онфлер. Сделав небольшой крюк в сторону Фонтенбло — скорее всего, чтобы закончить начатые ранее две-три работы, затем они оказались в Руане, где посетили музей и решили спуститься вниз по Сене до самого ее устья. Иначе говоря, до Онфлера.

В Онфлере невозможно просто бывать. Его надо смаковать. А чтобы смаковать Онфлер — родину Будена, Эрика Сати, Анри де Ренье и Альфонса Алле, надо быть художником или влюбленным. «Онфлер был местом, о котором я горячо мечтал», — говорил Бодлер, который намеревался навсегда поселиться здесь. Что касается Базиля и Моне, то они нашли себе временное пристанище у местного булочника, согласившегося сдать им две небольшие комнаты. Студент-медик Базиль, всем сердцем ненавидевший медицину, пришел от всего увиденного в экстаз. «Этот край — настоящий рай. Нигде на свете больше нет таких роскошных лугов и таких прекрасных деревьев. Повсюду бродят коровы и лошади, которых никто не привязывает. И все это обилие зелени особенно восхитительно смотрится на фоне моря, вернее, широко разлившейся Сены…»

Но и Моне, далеко не новичок в этих местах, чувствовал себя на седьмом небе: «Каждый день я совершаю новые открытия, и каждое из них прекраснее предыдущего. С ума можно сойти, до чего мне хочется работать, просто голова кругом идет!»

Итак, дом друзья обрели у деревенского булочника. Ну а стол для них нашелся на ферме Сен-Симеон.

Время все меняет. В наши дни ферма Сен-Симеон, расположенная выше устья Сены, прямо напротив Гавра, все так же утопает в зелени, но превратилась в отель с рестораном, отмеченный всеми полагающимися звездочками и предлагающий своим посетителям панорамный обзор окрестностей, — одним словом, стала одним из высококлассных заведений, входящих в известную сеть «Реле э Шато». Увидев его сегодня, Буден, Добиньи, Курбе, Сислей, Коро, Труайон, Диаз, Базиль, Моне и многие другие бывавшие здесь художники, которые отнюдь не купались в золоте, быстро спустились бы с небес на землю. Тогдашняя «фермерша», которую звали матушка Тутен, хоть и была уроженкой Нормандии, никогда не пыталась ободрать постояльцев. Мало того, она их любила, как любила бы своих взрослых сыновей. Надо сказать, что для «мазилок» у нее существовал особый льготный тариф, а уж сидра она им наливала сколько угодно.

Базиль, Буден, Йонкинд и Моне. Что за дивный квартет! И что за чудесное лето провели они в Онфлере в 1864 году! Чудесное и беззаботное. Время от времени друзья наведывались в Гавр, для чего всего-навсего нужно было пересечь устье реки. Иногда заглядывали и в Сент-Адресс, к тетушке Лекадр, в надежде разжиться небольшой суммой денег. Одним словом, жизнь была прекрасна!

Первым от компании отпал Базиль — не потому, что ему надоело, а потому, что его ждали Париж и экзамены, проклятые экзамены на получение медицинского диплома, которого он так и не добьется.

Наступил сентябрь. Моне по-прежнему в Онфлере. Он пишет.

Середина октября — Моне в Онфлере, пишет. Он пишет часовню Нотр-Дам-де-Грас, ферму, лодочный причал, деревенские постройки… Он пишет без устали, но… Родным, взирающим на его труды с противоположного берега реки, это совсем не нравится. В голосе отца все чаще слышатся угрозы:

— Сколько можно! Если ты немедленно не вернешься в Париж и не возобновишь занятия у кузена Тульмуша, никакой помощи больше не получишь! Посмотрим тогда, надолго ли тебя хватит!

Что ему оставалось делать? Насколько проще стала бы жизнь, если бы его понимали, если бы ему не приходилось вечно выпрашивать у родственников денег! Хорошо еще, что тогда он и не подозревал: следующие двадцать лет ему суждено еле-еле сводить концы с концами. Трудности, знакомые каждой небогатой семье, когда надо дотянуть до получки, для него будут повседневной жизнью. И матушке Тутен пора заплатить. Она очень славная, это верно, но все-таки он задолжал ей больше восьмисот франков. 6 ноября, махнув рукой на стыд, он пишет Базилю, зная, как тот щедр и что у его семьи нет материальных проблем. Письмо, в котором он обращался к другу с просьбой о помощи, не сохранилось, но мы можем предположить, что в нем говорилось что-то вроде этого: «Старина Фредерик! У меня не осталось ни гроша, а надо оплатить счета с фермы Сен-Симеон. Не мог бы ты выслать мне столько-то и столько-то?»

Ответ Базиля также утрачен, но, по всей вероятности, он поспел вовремя, потому что еще до конца года Клод покинул нормандское побережье и никакие судебные исполнители по пятам за ним не гнались — это ждало его в будущем. В Париже он поселился все у того же «старины Базиля» — на шестом этаже дома на улице Фюрстемберг. Жилось ему там неплохо. Во-первых, потому, что господин Моне-отец, немного успокоившись, выслал сыну 250 франков. Во-вторых, потому, что квартал оказался поистине чудесным местечком. Когда-то на этом месте располагался парадный двор аббатского замка Сен-Жермен-де-Пре. Но и сегодня улица, обязанная своим именем кардиналу Гийому Эгону де Фюрстембергу — епископу Страсбургскому, в 1699 году назначенному коммандитистом королевского аббатства, хранит уют и покой. Здесь провел шесть последних лет своей жизни Делакруа, скончавшийся 13 августа 1863 года. Он

жил в одной из хозяйственных дворцовых построек, на третьем этаже дома, расположенного между парадным двором и садом, и именно здесь написал свои картины «Восхождение на Голгофу» и «Положение во гроб».

Художники всегда высоко ценили этот прелестный уголок Парижа. Например, граф Поль де Сен-Виктор — известный коллекционер, литератор, театральный критик и искусствовед — окончил свои дни в 1881 году в доме Делакруа. Совсем рядом, на улице Кардиналь, жил автор «Зеленой рукописи» Дрюино. Этот человек отличался завидным мужеством: однажды январской ночью 1832 года, возвращаясь домой, он услышал ужасные крики, доносившиеся со второго этажа стоявшего напротив дома. Кричала женщина. Убивают, понял он. Недолго думая он схватил валявшуюся рядом забытую строителями лестницу, прислонил ее к стене дома, вскарабкался до окна, из которого доносились крики, распахнул его и впрыгнул в комнату. К великому неудовольствию мужа кричавшей, которая в тот момент… рожала.

Что касается Моне, то его, напротив, ждал здесь самый любезный прием. Базиль общался с самыми разнообразными людьми. Среди его знакомых были Феликс Турнашон, он же фотограф Надар, Фанген-Латур, Гамбетта, композитор Виктор Массе, Бодлер и его приятель Барбе д'Орвелли, автор памфлета «Сорок портретов членов Французской Академии», вызвавшего шумный скандал.

Нам совсем нетрудно вообразить себе, какие разговоры вели между собой по вечерам все эти люди.

— Послушайте, Барбе, вы слишком строги к герцогу Бролли!

— Видите ли, он как повернулся однажды спиной к искусству, так больше и не оборачивается!

— Ну а его сын, князь?

— Еще хуже папаши! Он питает интерес исключительно к псевдоважным вещам и, соответственно, обладает лишь псевдоталантом. Он похож на… блоху, раздавленную грузом собственной эрудиции.

— А наш философ, Виктор Кузен? Что вы думаете о нем, дорогой Барбе? Он ведь у нас нынче министр народного образования?

— Кузен? Тот самый, что побирается у Гегеля? И, между прочим, вполне успешно! Так что на гроши, полученные от Гегеля, он организовал в Париже производство фальшивой монеты!

— Ну а господин де Ремюза?

— Ремюза? Самое почетное и самое бесцветное перо в «Ревю

де монд»!

— А Октав Фейе?

— Мюссе в карманном семейном издании!

— А Гизо?

— Образец политической содержанки! Помимо всего прочего, его распирает от гордости и он патетичен, как катафалк!

— Но, скажите на милость, может быть, вы цените хотя бы Адольфа Тьера?

— Скажу, если настаиваете. Тьер — политик, который мог сделать все и не сделал ничего. Французы восхищаются этим говоруном, потому что видят в нем образец собственного ничтожества. Он умрет, подобно Веспасиану, в своем кресле академика, единодушно избранный всей этой низкой толпой, упорно желающей видеть в нем великого историка.

Говорили они и о Берлиозе, и о Вагнере, вызывавшем особенно острые споры, и о концертах, которые Жюль Этьен Паделу обещал регулярно устраивать в зале «Атене»…

И, разумеется, говорили о живописи.

Обсуждали планы поездки в Фонтенбло, на этюды; советовались, стоит ли выставлять картины на Салоне 1865 года; передавали друг другу новости о Труайоне — говорят, он серьезно болен; о Будене, впавшем в нужду. Не меньше бедствовал и Моне, вынужденный едва ли не побираться у друзей. Вполне вероятно, что, не будь той скромной поддержки, которую время от времени оказывал ему Базиль, ему вообще пришлось бы вернуться в Гавр — в полном разочаровании и глубоко несчастным.

Салон 1865 года состоялся во Дворце промышленности. Здание, известное также как дворец на Елисейских Полях, было построено двенадцатью годами раньше и располагалось параллельно одноименному проспекту. 200 метров в длину, 48 — в ширину и 35 — в высоту — при таких размерах в нем легко можно разместить сотни полотен. Главный вход находился со стороны улицы Мариньи. Именно им воспользовался Моне, явившийся в понедельник 1 мая в три часа дня на официальное открытие вернисажа.

Дабы избежать упреков в фаворитизме со стороны ревнивых к успеху коллег художников, жюри приняло решение разместить картины в алфавитном порядке фамилий авторов. Таким образом, две представленные Клодом Моне работы — обе представляли собой пейзажи устья Сены — оказались рядом с полотнами Эдуара Мане, который на этом Салоне показывал «Иисуса и бичующих его воинов» и «Олимпию».

Соседство Мане и Моне обернулось совершенно

неожиданным драматическим эффектом!

Первые же посетители выставки, внимательно рассмотрев пейзажи с изображением Сены, сейчас же поворачивались к Мане, терпеливо стоявшему перед «Олимпией», и наперебой торопились пожать ему руку:

— Поздравляю, сударь! Ваши марины просто превосходны! Вы поистине мастер своего жанра!

Пораженный Мане решил посмотреть, кем же подписаны две приписываемые ему картины. И, естественно, обнаружил расхождение в одну-единственную букву с собственной фамилией.

— Что это за шутник, вздумавший пародировать меня?! — начал громко возмущаться он.

В эту самую минуту упомянутый шутник как раз входил в зал. К нему сейчас же обратился кто-то из знакомых:

— Послушай, твои лодки явно пользуются успехом, но, кажется, это не очень-то нравится твоему соседу!

Вскоре Мане покинул выставку. Уходя, он сердито бормотал:

— Подумать только! Меня поздравляют с успехом единственной картины, причем той, которую я не писал! Все это похоже на какую-то мистификацию…

Его гнев возрос многократно, когда несколько дней спустя ему дали прочесть статью, опубликованную Полем Манцем в «Газет де Боз-Ар». Вот что говорилось в ней о его сопернике: «Теперь мы должны назвать публике новое имя. Никто из нас раньше не слышал о Клоде Моне, но его пейзаж устья Сены заставил нас задержаться в выставочном зале, и мы не скоро его забудем. Искренняя манера письма этого мариниста побуждает нас внимательно следить за его творчеством».

Бедный Эдуар Мане! Надо полагать, его огорчение достигло крайней степени, когда, листая газету дальше, он наткнулся на негативные отзывы о собственных работах. «Его бичуемый Христос выглядит точь-в-точь как бродяга, которого хлещут кнутом, а римские воины напоминают разбойников в лохмотьях!» — иронизировал один критик. Другой, особенно раздраженный картиной «Олимпия», на которой была изображена лежащая обнаженная прелестная женщина, которой чернокожая служанка подает букет цветов, самодовольно заявлял: «Олимпия? Это какая-то обезьянья самка, запечатленная в самой непристойной позе, какая-то куртизанка с грязными руками и шершавыми ногами… А еще эта безобразная негритянка и эта плоская черная кошка, по всей видимости, жертва несчастного случая, попавшаяся меж двух железнодорожных буферов…»

Мане пытался оправдываться и с вымученной улыбкой

объяснял:

— Ведь я написал то, что видел!

И слышал в ответ жестокие слова, способные сломить любого художника:

— Вы видели! А вот мы этого видеть не желаем!

Но и это было еще не все. Испить до дна чашу отчаяния ему пришлось в тот день, когда, просматривая газету «Журналь амюзан», он обнаружил на ее страницах карикатуру Рандона, представляющую собой пародию на «Олимпию» и сопровождаемую такой подписью:

«— Что там такое?

— Мадам, тама пришла господина, говорила, желает видать мадам!

— Прекрасно, пусть войдет!»

Итак, для Мане настали трудные времена. Но если после Салона 1865 года на него обрушился шквал насмешек, то двумя годами позже ему вообще запретили выставлять свои картины. Надо сказать, что число кандидатур, отвергнутых официальным жюри, было так велико, что известный своим великодушием Наполеон III — бесспорно, озабоченный поддержанием своей репутации защитника свобод, — предложил организовать для них отдельную экспозицию. Она вошла в историю как выставка «отверженных».

Именно на ней Мане выставил свой «Завтрак на траве» — завтрак, который критика так и не сумела переварить. Что касается названия картины, то вскоре Моне позаимствовал его для своей собственной масштабной композиции — одной из самых крупных в его творчестве. Над этим огромным полотном он работал в лесу Фонтенбло начиная с весны 1865 года. Ибо, едва покинув Дворец промышленности на Елисейских Полях (и, добавим, избежав ссоры с Мане!), он прямым ходом направился на вокзал, вскочил в поезд, направлявшийся в Бурбонне, вышел в Мелене и пересел в другой поезд, следовавший до Шайи. Однако на месте выяснилось, что он забыл прихватить с собой карандаши, краски, кисти и листы бумаги. Как же начинать работать? И он написал Базилю, обещавшему вскоре присоединиться к нему.

Он просил своего доброго друга Фредерика привезти с собой нужные для работы материалы. Неужто Моне и в самом деле стал таким забывчивым? Скорее всего, он, как обычно, сидел без гроша и все свои надежды связывал с Базилем — этой воплощенной щедростью.

И Фредерик снова его не подвел. Впрочем, пройдет еще

немного времени, и Базиль начнет уставать от столь тесной дружбы. Принимая решение покинуть дом на улице Фюрстемберга и жить одному, он писал родителям: «Не могу сказать, что меня огорчает эта перспектива, потому что совместная жизнь сопряжена с целым рядом неудобств, даже если отлично ладишь с другом».

Но пока Базиль вместе со своей подругой Габриэль, одетой в платье в горошек, согласился позировать приятелю для огромного полотна высотой 4 метра 60 сантиметров и шириной больше шести метров. Затем для Моне настал период вынужденного безделья. Он получил довольно серьезную травму ноги — какой-то неуклюжий британец, развлекавшийся метанием диска, попал в художника. Проклятая рана воспалилась, и Моне пришлось несколько дней провести в постели. К этому времени он успел вдрызг разругаться с хозяином гостиницы «Белый конь», в котором обычно останавливался, приезжая в Фонтенбло, и потому перебрался в «Золотого льва». Что-что, а ссориться Клод Моне умел — к людям с легким характером его никак не отнесешь. Судя по всему, к этому же выводу постепенно пришел и Базиль.

С наступлением осени Клод уехал из Шайи — не без трудностей, ибо не смог выплатить долг господину Барбе, с которым он также успел поссориться. На улице Фюрстемберга, куда он вернулся, его также поджидали неоплаченные счета и долговые расписки. И в это же время ему нанес визит Курбе, до которого дошли слухи о масштабном полотне под названием «Завтрак на траве».

— Надо же, — удивился он. — Оказывается, есть юноша, который пишет не только ангелочков!

Глава 4
КАМИЛЛА

— У меня остались самые дорогие воспоминания от моих встреч с Курбе, — часто повторял Моне. — Он всегда поддерживал во мне веру в себя, всегда был ко мне очень добр, в тяжелые времена ссужал меня деньгами.

Гюстав Курбе слыл человеком со странностями. После провозглашения Второй империи этот уроженец Франш-Конте выступал как убежденный социалист. Несмотря на разницу в возрасте в 21 год, Курбе и Моне чем-то походили друг на друга — может быть, независимостью характера, горделивым нравом.

— Да, — любил говорить Курбе, — я самый гордый во Франции человек, чем и горжусь!

Однако, в отличие от Клода, Гюстав любил пошутить. Однажды, прогуливаясь по залам Лувра, художники надолго задержались перед автопортретом Рафаэля. Курбе первым прервал задумчивое молчание:

— Ну что же, держитесь, господин Рафаэль!

В другой раз, когда оба на несколько дней отправились в Гавр на этюды, Курбе неожиданно предложил:

— А почему бы нам не нанести визит папаше Дюма?

— Но… я ведь его совсем не знаю, — смущенно ответил Моне.

— Так и я не знаю! — сказал Курбе. — Я видел его, но нас никогда не знакомили. Отчего же не воспользоваться случаем?

Александр Дюма-отец любил Нормандию и часто работал в Трувилле (где написал «Карла Седьмого» и «Крупных вассалов»). Что касается его сына, то у него была прелестная вилла в Пью, в двух шагах от Дьепа. Дюма-отец нередко проводил там время. Итак, Курбе и Моне отправились навестить Дюма, работавшего тогда над «Историей моих глупостей».

— Господина Дюма, пожалуйста, — надменно обратился Курбе к открывшей им дверь служанке.

— Он занят.

— Когда он узнает, кто к нему пришел, он нас примет.

— Ах вот как? И как же мне о вас доложить?

— Доложите, что его спрашивает Орнанский мастер! — ответил Курбе, горделиво расправив плечи.

«Дюма вышел почти тотчас же, — рассказывает Марта де Фель. — Огромный, неряшливо одетый, с ореолом белых волос, венчающих голову».

— Дюма!

— Курбе!

И на глазах пораженного Моне они горячо обнялись. «Уверяю вас, это было чрезвычайно (sic!) волнующее зрелище», — позже вспоминал он.

На следующий день все трое снова встретились в Сен-Жуэн-Брюнвале, неподалеку от Этрета, на постоялом дворе «Прекрасная Эрнестина», хозяйка которой, как и владелица фермы Сен-Симеон матушка Тутен, питала слабость к художникам. Именно она послужила Мопассану прототипом прекрасной Альфонсины в рассказе «Пьер и Жан» и именно ей адресовал Оффенбах такие шутливые строки, оставленные в «Книге посетителей»:

Прекрасной Эрнестины взор
Таит укор.
Автограф мой она иметь желает —
Его и получает.

По возвращении в Париж нечего было и думать о том, чтобы вновь обосноваться в квартире на улице Фюрстемберга, — ведь Базиль перестал за нее платить. И Моне устроился в крошечной мастерской, которую нашел в доме номер 1 на площади Пигаль, на углу улицы Дюперре, — мастерской без удобств, как уточняет Даниель Вильденштейн[13]. Арендная плата составляла 800 франков в год. Поручителем — спасибо ему! — выступил Курбе.

Был январь 1866 года. До Салона оставалось несколько недель.

— Выставляй свой «Завтрак на траве», — советовал он Моне. — Только послушай меня, его надо кое-где чуточку подправить.

И Моне снова едет в Фонтенбло, чтобы внести в картину подсказанные другом изменения. Но результат его совершенно не удовлетворяет. Мало того, теперь картина ему вообще не нравится! Недолго думая он вынимает ее из рамы, сворачивает в трубку и оставляет в залог хозяину квартиры, которому в очередной раз задолжал. Впоследствии, явившись забрать полотно, он найдет его на полу в углу какой-то сырой комнаты и с ужасом обнаружит, что левый и правый края совершенно испорчены плесенью. Поэтому ему придется слегка обрезать холст, и его «Завтрак на траве» превратится в «Завтрак под грибом».

Между тем приближалось 20 марта — крайний срок для представления картин на выставку во Дворце промышленности. Моне принимает решение предложить вниманию жюри готовую

«Мостовую в Шайи», которая не вызывала у него недовольства собой, а в оставшиеся дни быстро — очень быстро! — закончить женскую фигуру в натуральную величину. И действительно, всего за четыре дня он пишет «Даму в зеленом» — полотно размером 2,31 на 1,51 метра, запечатлевшее симпатичную девушку по имени Камилла.

В отношении своей частной жизни Моне всегда проявлял завидную сдержанность. Так, он ни разу не обмолвился о том, при каких обстоятельствах произошла его первая встреча с Камиллой Леонией Донсье, такой же черноглазой, как и он сам…

Девятнадцатилетняя Камилла была прехорошенькой и при этом отличалась оригинальной внешностью. Рядом с ней, тоненькой и стройной, хотя и не очень высокой, Моне, ростом 165 сантиметров, ощущал себя коренастым коротышкой. Милое лицо — прямой тонкий нос, круглый, но достаточно волевой подбородок, черные как смоль волосы, брови и ресницы и особенно ценившаяся в те времена молочно-белая кожа, хорошо очерченный рот, наконец, задумчиво-мечтательный и, пожалуй, чуть печальный взгляд — так выглядела Камилла. Знай она тогда, какая судьба ее ждет, печали в ее глазах только прибавилось бы…

Она родилась в Лионе 15 января 1847 года. Вскоре ее родители переселились из предместья Гийотьер в Батиньоль. Отец Камиллы Шарль Клод Донсье работал скромным служащим. Мать, которая была моложе мужа на 23 года, более или менее открыто принимала помощь от некоего Прителли — бывшего сборщика налогов из Рюэля.

Итак, на Салон отправилась «Камилла» — она же «Дама в зеленом». Жюри благосклонно отнеслось к картине. Узнав об этом, Камилла улыбнулась. Улыбнулся ей в ответ и Моне, пряча свою улыбку в бородку, которую начал отпускать.

Многие художники тогда носили бороду. А вот, например, служащим похоронных бюро вплоть до 1 ноября 1888 года категорически запрещалось иметь на лице растительность — официально считалось, что борода может служить рассадником микробов[14]…

Сезанну, Мане и Ренуару Салон 1866 года обеспечил похороны по первому разряду — жюри, состоявшее из «филистеров», отвергло все представленные ими картины.

Зато Моне ликовал — его «Камилла» имела бешеный успех. Сам Золя написал о ней: «…Вот образец живой и энергичной живописи. Я обходил пустынные и холодные залы, не замечая ни одного нового таланта и уже утомившись, когда увидел вдруг эту молодую женщину в длинном платье, прижавшуюся спиной к стене, словно желающую спрятаться в какую-то щель. Вы не

поверите, но до чего же приятно, устав посмеиваться и пожимать плечами, хоть немного отдаться восхищению…»

Карикатурист Андре Жиль, поместивший в «Люн» шаржированный портрет Камиллы, сопроводил его такой вполне благожелательной подписью: «Моне или Мане? Моне! Но появлением этого самого Моне мы обязаны Мане! Браво, Моне! И спасибо, Мане!»

А один любитель живописи отмечал: «Мане тяжело переживает появление конкурента в лице Моне. Как он сам говорит, передав ему часть собственного „ма(г)нетизма“, теперь он не прочь произвести на его счет „деМОНЕтизацию!“»

Правда, кое-кто из критиков высказался в довольно брюзгливом тоне, но Клод и Камилла предпочли не обращать на это внимания. Так, они не стали вчитываться в язвительный комментарий модного тогда писателя Эдмона Абу, автора романа «Человек со сломанным ухом»: «…Платье — еще не картина, как и грамотно построенная фраза — еще не книга. Можно приобрести известную ловкость в изображении смятого шелка, оставаясь при этом полным невеждой в живописи. Да что мне за дело до наряда, если под ним я не угадываю не то что правильно выписанного тела, но даже банального контура фигуры-манекена, если голова не похожа на голову, а руку не назовешь и лапой!»

Зато в Гавре тетушка Лекадр не скрывала радости:

— Я знала, что наш малыш талантлив!

Впрочем, оплатить его долги она отказалась. И ведь она еще ничего не знала о том, что ее племянник вовсю крутит любовь с симпатичной героиней последнего Салона, покорившей публику своим зеленым платьем.

Преследуемый целой сворой парижских кредиторов (чтобы расплатиться по всем счетам, ему требовалось продать много картин, но никто их пока у него покупал), Моне снова переезжает — на сей раз в Севр, и неподалеку от вокзала Вилль-д’Аврэ снимает небольшой дом с садом. У него родился новый замысел — написать четырех женщин в саду. Три из них будут брюнетки, а одна — рыжая. Тремя брюнетками на самом деле стала одна и та же модель, запечатленная в трех разных позах. Это снова была она — Камилла с печальным взглядом.

Специалисты на своем жаргоне иногда называют крупные полотна «большим бутербродом». Действительно, задуманная Моне картина впечатляла своими размерами — больше двух метров в ширину и больше двух с половиной в высоту. Но писать полотно такой высоты очень неудобно. Воспользоваться лестницей? Но, во-первых, надо ее иметь, а во-вторых, разве можно нормально работать, стоя на лестнице? И Моне вырыл

посреди грядок траншею, в которую при помощи целой системы блоков опускал натянутый на подрамник холст, после чего спокойно писал верхнюю часть картины.

Однажды его навестил Курбе.

— Ты что, сегодня не пишешь?

— Так солнца ведь нет…

— Ну и что? Перенеси холст в дом! Отделывай пока детали!

— Нет, я уж буду работать только на пленэре.

Несмотря на то, что картина получилась буквально пронизанной живым светом, на Салон, состоявшийся весной 1867 года, ее не приняли. Женщины в севрском саду не пришлись по вкусу жюри. Кроме того, Моне представил на его суд «Порт Онфлера», написанный поверх наскоро соскобленного портрета, который он называл «Белой Камиллой». В кошельке у него по-прежнему гулял ветер, и денег не хватало даже на покупку чистых холстов. Но и «Порту» не повезло. Жюри решило, что и эта картина недостойна того, чтобы висеть во Дворце промышленности. Катастрофа!

А тетушка Лекадр отмеряла свои «субсидии» все более скупой рукой.

Тогда кто-то из знакомых посоветовал Моне выставить «Женщин» в лавке папаши Латуша, что располагалась на углу улиц Лафайет и Лафит, — той самой, где 27 лет назад он появился на свет. Моне последовал совету. Заведение Латуша хоть и не отличалось щедростью к художникам, зато пользовалось хорошей репутацией как среди любителей искусства, так и среди его творцов, которые часто собирались здесь по вечерам, чтобы перекинуться словечком. Кроме того, упомянутый Латуш совсем недавно купил у него небольшой городской пейзаж под названием «Набережная Лувра». Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок…

Впрочем, прошло совсем немного времени, и Моне забрал свою картину назад. Это случилось после того, как до него дошел слух, что кто-то из коллег по цеху, скорее всего, Коро, но, может быть, Мане или Домье, якобы сказал торговцу:

— Послушайте, Латуш, будет лучше, если вы уберете эту мазню из своей витрины!

…С 1934 года эта «мазня» висит в Лувре.

Об отчаянном положении Моне вскоре стало известно Базилю, который к этому времени окончательно забросил медицину, чтобы целиком посвятить себя живописи, — к счастью, его родители, жившие в Монпелье, проявили гораздо больше понимания и были более щедры к своему сыну, чем Адольф Моне. Отказавшись от совместного использования мастерской, Моне и

Базиль не перестали дружить, и теперь Фредерик предложил Клоду купить у него полотно.

— Две тысячи пятьсот франков, идет? Только платить я буду частями, по пятьдесят франков в месяц, хорошо?

Две тысячи пятьсот франков! Бедствовавшим Клоду и Камилле этих денег могло хватить, чтобы в течение трех лет оплачивать квартиру. Нет, они были для них совсем не лишними, тем более что живот Камиллы уже заметно округлился…

Итак, стараниями своего горячо любимого художника, который даже не приходился ей мужем, Камилла готовилась стать матерью. Вероятно, именно по этой причине в Гавр Моне поехал один — здесь он планировал немного поработать, а заодно попытаться вытрясти из родственников хоть сколько-нибудь денег. Отец и тетка о существовании Камиллы даже не подозревали.

Моне писал в Сент-Адрессе, а Камилла… Будущая мама хандрила в одиночестве, оставленная им в крошечной комнатке, едва ли пригодной для нормальной жизни, комнатке, найденной ими на первом этаже дома номер 8 в тупике Сен-Луи в Батиньоле. Ибо дом в Севре пришлось спешно покинуть, спасаясь от судебного пристава…

20 мая 1867 года, накануне своего отъезда на побережье Ла-Манша, Моне пишет Базилю поразительное, на наш взгляд, письмо. Посвятив три десятка строк живописи — а как же иначе! — вспомнив и своих «Женщин в саду», и Мане, и Ренуара, далее он между прочим добавляет: «Вчера виделся с Камиллой. Не знаю, что и делать. Она больна, не встает с постели, и у нее не осталось или почти не осталось денег. Поскольку я уезжаю 2-го или, самое позднее, 3 июня, хочу напомнить вам, что вы обещали к первому числу выслать как минимум пятьдесят франков».

25 июня он шлет, на сей раз уже из Сент-Адресса, своему верному, своему бесценному Базилю еще одно письмо: «Ах, дорогой мой! В каком ужасном я все-таки положении! Она очень мила, добродушна и даже рассудительна, но это-то и огорчает меня больше всего!»

Полноте, да разве в таких выражениях говорят о любимой женщине? В том же самом письме он продолжает: «У меня к вам просьба. Камилла должна родить 25 июля. Я поеду в Париж дней на десять-пятнадцать, и мне понадобятся деньги на разные там вещи. Постарайтесь выслать мне чуть больше, хотя бы сто или сто пятьдесят франков, вы ведь понимаете…»

3 июля он снова берется за перо. «Все эти дни я ждал письма от вас, но так ничего и не пришло. Мне очень неприятно думать, что Камилла сидит там совсем без денег. У нее и в самом деле

ничего не осталось. Вы уж простите, старина, что я на вас наседаю, но бедная женщина и правда страшно нуждается. Вышлите мне как можно скорей сколько сможете».

Надо думать, в эти дни Фредерик Базиль, несмотря на всю свою доброту, кусал в досаде пальцы, проклиная день, когда согласился купить «Женщин в саду».

А Моне и не думал оставлять его в покое.

9 июля, и новое письмо. «Не слишком-то любезно с вашей стороны не писать мне ни строчки, потому что я страшно тревожусь за Камиллу, которая сидит буквально без гроша. И у меня ничего нет, чтобы ей послать. Ужасно боюсь, что она не сегодня-завтра родит. Что с ней тогда будет, с бедняжкой?» Что ж, приходится признать, что в этом письме он не только пытается переложить на Фредерика собственную вину, но и демонстрирует по отношению к Камилле поразительную холодность на грани цинизма: «Если вы сейчас не при деньгах, вышлите мне хоть сколько-нибудь, чтоб я мог продемонстрировать свою добрую волю… Сделайте это для меня, друг мой, вы же понимаете, что это тяжелый случай, а мне не хотелось бы самому себе давать повод для упреков… Если бы не эти роды, я был бы счастливейшим человеком».

Следует отметить, что Моне и в самом деле чувствовал себя одиноким. Тетушка Мари Жанна постепенно теряла терпение и чем дальше, тем неохотней делилась с племянником содержимым своего кошелька. Что касается его отца Адольфа, то, узнав о связи сына и положении, в котором находилась его «любовница» (sic!), он высказался так:

— Ты лучше кого бы то ни было должен знать, чего она стоит и чего заслуживает, эта твоя Камилла! — Потом, подумав немного, добавил: — Может, проще всего вообще ее бросить?

Довольно странный совет, не правда ли? Похоже, отец Моне совершенно забыл, что сам на протяжении последних восьми или девяти лет поддерживал тесную связь с Амандой Ватин с улицы Пенсет — своей служанкой, осчастливившей его маленькой Мари, а Клода — сводной сестрой, которой к этому времени уже исполнилось семь лет.

Примерно так же реагировал на настоятельные просьбы друга и Базиль, судя по письму, отправленному ему Моне из Сент-Адресса 16 июля: «Я намерен последовать вашему совету в отношении этого ребенка и Камиллы. Но мне непременно нужно быть в Париже, чтобы лично присутствовать при этом. По виду матери и ее поведению я решу, что делать дальше. Но и вы подумайте обо мне — эти деньги нужны мне настоятельно…»

Предполагалось, что Камилла родит 25 июля. Расчет оказался

ошибочным. Лишь 8 августа, в шесть часов вечера, в своей комнатушке в тупике Сен-Луи Камилла произвела на свет «крупного красивого мальчика», которого назвали Жаном Арманом Клодом и зарегистрировали как «законного сына Клода Оскара Моне и Камиллы Леонии Донсье, его супруги».

Итак, Моне не только признал своего ребенка, но и сделал ложное заявление, представив Камиллу в качестве своей жены. Это означает, что рождение ребенка скрепило новыми узами союз этих двух людей. «Несмотря ни на что, я, сам не знаю почему, люблю этого ребенка и страдаю при мысли, что его матери нечего есть…» — написал он Базилю.

Впрочем, чувства не помешали Моне всего четыре дня спустя после родов Камиллы вернуться в Сент-Адресс, где его ждало несколько незаконченных полотен. В этот период он работал невероятно много.

Нетрудно представить, какой одинокой ощущала себя юная мама, оставленная им голодать в жалкой каморке в Батиньоле.

Глава 5
ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ

Даже живя впроголодь, Моне не утрачивал вкуса к роскоши. «Пил вино из Монпелье — отличное! — писал он Базилю в самый разгар своей поры „тощих коров“. — Что за абсурд, подумалось мне, иметь друга из Монпелье и не попытаться получить через него хорошего вина! Полагаю, дорогой Базиль, что вина в Монпелье сейчас в избытке. Не могли бы вы выслать мне бочонок, вычтя его стоимость из той суммы, что остаетесь мне должны? Тогда нам не пришлось бы так часто пить воду, и обошлось бы это совсем недорого…»

Что касается хлеба насущного, то нередко Клода в буквальном смысле слова подкармливал Ренуар. Он набирал как можно больше съестного в родительском доме и тащил все это своему бедствовавшему другу. «У него там далеко не каждый день обжираются, — говорил он. И добавлял: — Но мне все равно нравится к нему ходить, потому что в смысле живописи Моне — отличная компания».

Наступил 1868 год. Моне работает как одержимый. И все без толку. Выбраться из нищеты никак не удается. Он живет попеременно то в холодном Париже, все в том же тупике Сен-Луи («у нас нет самого необходимого, а при такой погоде не очень-то легко обходиться без отопления, да еще с ребенком и с женщиной»), и пишет свои первые льдины на Сене, в районе Буживаля, то в Гавре, где так же холодно, но это не мешает ему усердно работать. Вот что писал в «Журналь дю Авр» Леон Бийо: «Как-то на днях, когда мороз стоял такой, что, казалось, камни трескаются, я стал свидетелем такой картины. Сначала я увидел жаровню, потом заметил мольберт, а рядом обнаружил господина, закутанного в три пальто, в толстых перчатках и с наполовину заиндевевшим лицом. Это оказался Моне, изучавший эффект падающего снега. Да, что и говорить, в армии искусства есть свои отважные солдаты!»

Но порой и у отважного Моне опускались руки: «Ничего не получается… Начинаю работать и понимаю, что все надоело… Все видится в черном цвете… Разочарования, обиды, надежды и новые разочарования…»

Между тем приближалось 20 марта — крайний срок для представления работ на будущий Салон. На сей раз Моне остановился на двух маринах. Первая изображала корабли,

покидающие порт Гавра, вторая — гаврский пирс. Чувствовал себя он относительно спокойно, поскольку знал, что в жюри входит Добиньи, относившийся к нему вполне по-дружески. Увы, тон в комиссии задавал отнюдь не Добиньи, один-единственный голос которого мало что значил, особенно в споре с министром искусств господином де Ньеверкерке — консерватором, ни в какую не желавшим мириться с кончиной старой школы.

«Ну уж нет! Довольно с нас этой якобы живописи!» — взревел он, и жюри отклонило две работы Сезанна, одну Ренуара, одну Сислея, одну Дега и одну Моне.

Вердикт, таким образом, в точности повторял прошлогодний: из двух картин на выставку была принята одна, а именно «Корабли, покидающие порт Гавра». Правда, на сей раз никакого конфликта с «почти однофамильцем» у Моне не возникло. Более того, Эдуар Мане, надолго задержавшийся перед его прекрасными кораблями, громко воскликнул:

— Этот человек — подлинный Рафаэль воды!

Далеко не столь лестного отзыва Моне удостоился от карикатуриста «Журналь амюзан» Берталля. Под его смахивающим на детский рисунком красовался большой корабль с часами на носу (схематично набросанные «домики» изображали волны) и стояла такая подпись: «Вот наконец образец истинно наивного и искреннего искусства. Эту картину г-н Моне создал в возрасте четырех лет. Дебют вселяет надежды. Говорят, часы отлично идут по выходным и праздничным дням. Море изумительно красивого зеленого цвета волнуется как живое, заставляя судно покачиваться на пергаментных волнах…»

Еще одна, на сей раз анонимная, зато не столь тенденциозная, карикатура появилась в газете «Тентамар-Салон». Корабль проходит мимо расположенного по правому борту маяка, а под ним помещено такое четверостишие:

Жил да был корабль огромный,
Нарисованный Моне.
По волнам бежал он споро:
«Время — деньги! Деньги — мне!»

Деньги! Весной 1868 года это слово меньше всего вязалось с именем Клод Моне! Примерно в те же дни, когда проходил Салон, он без сожалений — если не считать сочувствия к кредиторам — оставил жалкую конуру в тупике Сен-Луи и по совету Золя поселился в гостинице Глотона, в деревушке Бенкур, неподалеку от Боньер-сюр-Сен. Глотон стоял на самом берегу Сены, и от Живерни, где в будущем художнику предстояло жить и

возделывать свой сад, его отделяло всего несколько кабельтовых.

Пребывание Моне в Глотоне завершилось вполне в духе романов Золя. Вот что он рассказывал об этом Базилю: «Решительно, я родился под недоброй звездой. Только что меня выставили вон из гостиницы, где я жил, и выставили чуть ли не нагишом. Камиллу и бедного крошку Жана я устроил на несколько дней здесь, поблизости. Родные больше ничего не желают делать для меня. Не знаю, где я завтра буду ночевать…»

Это письмо датировано 29 июня 1868 года. Предполагают, что накануне вечером Моне совершил попытку самоубийства.

Устав от бесконечных неудач, он якобы решил утопиться. Если это случилось в Глотоне, что с учетом даты выглядит достоверно, то Моне должен был броситься не в Сену, а в один из двух ее рукавов, на которые река разделяется в этом месте своей излучины. Действительно ли он рисковал жизнью? Это осталось неизвестным, поскольку свидетелей события не нашлось. Единственное, что можно сказать наверняка, так это то, что утопиться Моне было не так-то просто — ведь он вырос в Гавре и плавал как рыба. Косвенным доказательством тому служит история, произошедшая буквально за несколько дней до того в том же самом месте, на реке близ Бенкура. Моне возвращался в лодке домой после работы на пленэре. Вместе с ним находился Ренуар. Крайне недовольный плодами своих трудов, он внезапно впал в ярость, укрощать которую он так и не научится, и… прыгнул за борт. Освежившись в прохладной воде, он, впрочем, быстро успокоился и снова забрался в лодку. Комментаторы, причисляющие Моне к самым «проклятым» из всех художников, пытаются и здесь углядеть попытку самоубийства. Нам это представляется совершенно невозможным. Во-первых, вряд ли он в тот день — как и в другие дни той поры — чувствовал себя настолько отяжелевшим от плотной еды, чтобы легко пойти ко дну. Во-вторых, дело было в июне, а в это время вода в Сене редко бывает холодней 20 градусов. Поэтому, читая постскриптум его письма к Базилю, в котором он пишет: «Вчера я был в таком смятении, что чуть было не свалял дурака и не бросился в реку…», можно предположить, что за этими строками стоял очередной призыв о помощи, только еще более настоятельный, чем обычно, и даже своего рода шантаж. Он стремился заставить друга, которому по вполне понятным причинам хотелось хоть немножко отдохнуть от вечных денежных проблем приятеля, испытать чувство вины. Кстати сказать, Базиль тянул с ответом на это письмо несколько недель, заслужив в своей адрес новые суровые упреки. «У вас-то денег хватает!» Или: «Решительно, вас нисколько не трогает мое положение. Мы дохнем от голода,

говорю я вам, а вы совершенно не торопитесь с отправкой мне моих пятидесяти франков».

Летом Моне перебрался на нормандское побережье. В Гавре богатейший тамошний торговец г-н Годибер заказал ему серию из трех семейных портретов: жены Маргариты, маленького сына Луи и, разумеется, свой собственный. Подобная работа отнюдь не вызывала у Моне восторга, но он согласился — будет на что кормить Камиллу с Жаном, которые поселились в маленькой гостинице в Фекане. Родственники художника по-прежнему и слышать ничего не желали об этой «нечестивице», которая «с таким вызывающим видом ходит по улице, что любому ясно — она не светская женщина!».

Одновременно Моне воспользовался своим пребыванием в Гавре, чтобы принять участие в Международной морской выставке. Он оказался здесь в весьма недурной компании — его полотна соседствовали с картинами Коро, Курбе, Воллона и его старого друга Будена. Увы, продать ничего не удалось. «Мне вручили серебряную медаль стоимостью 15 франков, — жаловался он одному из почитателей, — и поместили хвалебные статьи в местных листках, но, согласитесь, все это малопитательно!»

В серых мрачных небесах над его головой лишь однажды мелькнул просвет. Он узнал, что писатель, искусствовед и почетный администратор театра «Комеди Франсез» Арсен Усэй приобрел его «Камиллу, даму в зеленом». На него сразу свалилось 800 франков. На эти деньги он смог устроиться в Этрета, где нашел для Камиллы и малыша Жана, которому пошел второй год, скромное жилье. Тем временем торговец Годибер, склонный к меценатству, выкупил его картины, арестованные судебным исполнителем сразу по закрытии Морской выставки.

Таким образом, Моне удалось провести в Этрета несколько по-настоящему счастливых дней. Своей радостью он немедленно поделился с Базилем, который, должно быть, немало удивился, в кои-то веки получив от него письмо, не содержавшее ни упреков, ни мольбы о помощи. «Дорогой друг, я очень доволен, очень рад. Чувствую себя как сыр в масле, потому что окружен всем, что люблю… А по вечерам, возвращаясь в свой скромный домишко, нахожу в нем пылающий очаг и свое милое семейство. Видели бы вы сейчас своего крестника[15] — это просто прелесть! И до чего же восхитительно наблюдать, как это существо понемножку растет!

Я счастлив, что он у меня есть, и собираюсь писать его для Салона…»

Рождество встретили в городе «старых камней», где уже

находился Курбе, отчаянно пытавшийся запечатлеть после бури движение тех самых «Волн», которыми сегодня восхищаются посетители Лувра. А Моне снова искал свет. В январе 1869 года до Этрета дошли сведения о торжественном приеме, который японский микадо устроил для зарубежных послов в честь того, что Япония открыла свои двери для французской торговли. Пройдет еще немного времени, и между этой страной и Клодом Моне завяжется бурный роман, в котором, впрочем, будет немало сходства с браком по расчету.

Одним словом, все шло замечательно — вплоть до того дня, когда тетушка Лекадр вызвала к себе племянника и, гневно стуча по полу своей палкой, объявила ему:

— Ты даже не скрываешь своей связи с этой потаскухой, да еще осмелился притащить ее в Гавр! Так вот, покуда она с тобой, от меня ты не получишь ни гроша!

Но на сей раз Моне и в голову не пришло с бравадой ответить: «Обойдусь!»

И меценат Годибер в ответ на просьбу о помощи ответил отказом.

— Поверьте, мне очень жаль, — говорил он, — но вы же понимаете: я не могу вложить все свое состояние в вашу живопись!

Прекрасная пора иллюзий миновала безвозвратно.

От Базиля мы знаем, что ближе к концу зимы Моне вернулся в Париж — «изголодавшийся и в полном унынии». Неудивительно, что ему снова пришлось предложить другу свое гостеприимство. «Это не слишком весело, — отзывался он, — но должен же мой крестник что-то есть».

Черная полоса и не думала заканчиваться. Моне представил на Салон два полотна — оба были отвергнуты жюри. В Нормандии на него глядели косо, но, выходит, и в Париже ему нет места. Что делать, куда идти? И он вспомнил о Буживале, том самом, где не так давно писал льдины на Сене. «Буживаль не так красив, как соседний с ним Шату, — отмечает Ардуэн-Дюмазе[16], — но благодаря нескольким старым домам и образующим амфитеатр крышам он выглядит достаточно живописно, хотя совсем не похож на роскошный загородный курорт. Особую красоту Буживалю придают благородство линий и разнообразие цветовых оттенков…»

Итак, старый дом и разнообразие цветовых оттенков — именно это «богатство» выпало на долю Клоду, Камилле и крошке Жану, которые почти на год стали лагерем в Бужи-вале. Мы не случайно говорим «лагерем», потому что нужда и лишения в их маленьком семействе достигли в эту пору пика. Летом 1869 года

Моне и его близкие жили так скудно, как никогда прежде. Если бы не Ренуар, регулярно навещавший друга, с которым вместе ходил на этюды, и привозивший хлеб, а иногда и кое-что более существенное, как, например, тушеного кролика и бутылку терпкого вина, семья голодала бы в буквальном смысле слова. Зато с разнообразием красок и оттенков все действительно обстояло наилучшим образом, особенно на заросшем деревьями островке Круасси, где находился «Лягушатник».

«Лягушатником» назывался кабачок, стоявший возле самой воды и представлявший собой нечто вроде плота под просмоленной крышей. Летом он пользовался большой популярностью среди владельцев лодок и их подружек, в основном девиц легкого поведения, распространявших вокруг себя ароматы дешевых духов. «От этого места, — позже напишет Мопассан в „Жене Поля“, — несет глупостью и разит мошенничеством и ярмарочной галантностью. Здесь плавают ароматы любви; здесь дерутся, чтобы услышать да или нет».

Моне тоже сражался — только с причудливой игрой света на речной глади. Ежеминутно меняющийся пейзаж, весь состоящий из дрожи и трепета, весь — ускользающее впечатление, вот что он писал в те дни.

У Моне и Мопассана было нечто, их объединяющее. Это нечто — река. «На протяжении десяти лет моей великой, моей единственной, моей всепоглощающей страстью оставалась Сена, — пишет Мопассан, известный всему Буживалю любитель лодочных прогулок. — О, прекрасная, спокойная, изменчивая и вонючая река, полная чудес и нечистот!»

В том, что касалось красоты, спокойствия, изменчивости и чудес, Моне полностью соглашался с писателем, ну а до вони и нечистот ему не было никакого дела!

Утопающий в зелени листвы «Лягушатник», лодки, мостики, дамские кринолины и костюмы купальщиков — именно этот сюжет избрал Моне для своей будущей картины, которую он намеревался выставить на Салоне 1870 года. Вот только хватит ли у него сил, а самое главное, материалов, чтобы осуществить задуманное? И к кому обратиться за помощью? К Базилю? Увы, добрый Фредерик в последнее время все чаще притворяется глухим…

«Вот уже неделю в доме ни крошки хлеба, ни капли вина, ни дров для кухни, ни свечей, — пишет он ему 9 августа. — Это ужасно». И — ни слова в ответ.

17 августа новое, еще более отчаянное письмо: «Да говорю же я вам, мы подыхаем с голоду! Буквально подыхаем! Не дай вам Бог познать такую нищету! Но только тогда вы поняли бы, чего

мне стоит ваше крайне беззаботное отношение к чужой нужде…»

Письмо от 25 августа: «Если я не получу помощи, мы все умрем с голоду! И я даже не могу писать, потому что у меня совсем не осталось красок… Постарайтесь мне помочь…»

Действительно, Базиль еще оставался кое-что должен Моне за «Завтрак на траве», однако он уже выплатил ему значительно больше предусмотренного в договоренные сроки (по пятьдесят франков в месяц). Тем не менее он все-таки отправил Моне очередную сумму, но, если судить по ответному письму несчастного завсегдатая «Лягушатника», сделал это далеко не с легким сердцем. Как и большая часть цитируемых нами писем, этот документ взят из книги Г. Пулена «Базиль и его друзья», опубликованной в 1932 году. Моне не скрывает своей горечи: «Настоящим извещаю, что я не намерен последовать вашему совету (коему не нахожу извинений) и пешком идти в Гавр… Я в простое, как всегда, из-за нехватки красок. Вы, счастливейший из смертных, привезете из своей поездки кучу картин. Только я в этом году не смогу сделать ничего! Из-за этого я зол на весь свет, меня гнетет зависть, я в ярости и гневе. Если б только я мог работать, все наладилось бы. Вы говорите, что меня не спасут ни пятьдесят, ни сто франков. Возможно, но тогда мне остается только расшибить башку о стену. Я не жду внезапного богатства, но, если бы все те, кто, подобно вам, дает мне советы вместо того чтобы выслать кто пятьдесят, кто сорок франков и так далее, уж наверное, я был бы в другом положении. Перечитал ваше письмо. Дорогой друг, оно смехотворно. Не знай я вас, я мог бы принять его за шутку. Вы вполне серьезно, ибо вы так и думаете, заявляете, что на моем месте пошли бы рубить дрова. Только люди вашего положения могут верить в подобные вещи, потому что, окажись вы и в самом деле на моем месте, вы, возможно, чувствовали бы еще большее отчаяние. Это гораздо тяжелее, чем вы себе представляете, и я готов биться об заклад, что вы нарубили бы очень мало дров. Хороший совет дать нелегко, к тому же, вы уж не обижайтесь, я думаю, что всякие советы бесполезны. Как бы там ни было, конца моим несчастьям, судя по всему, не ожидается. Близится зима, а это не самое лучшее время для обездоленных…»

Глава 6
ВОЙНА

При первой же возможности, иначе говоря, как только у него заводилась пара монет, Моне садился в поезд и ехал в Париж. В городе он регулярно наведывался на улицу Гранд-Рю-де-Батиньоль, где в доме номер 11 находилось кафе, которое часто посещали многие его друзья. По имени владельца заведения они называли его кафе Гербуа.

Папаша Гербуа лучился добротой и любезностью. Этот крепкого сложения человек происходил из живописной деревушки Ларош-Гийон, стоявшей на берегу Сены. Моне наверняка бывал здесь, когда жил в Глотон-Бенкуре. В кафе Гербуа царила теплая атмосфера, и приезжий из Буживаля встречался здесь с Базилем, Ренуаром, Дега, Сислеем, Сезанном, Писсарро и Мане. Последнего вся компания считала кем-то вроде своего идейного вождя. Мане, отметивший 23 февраля 1870 года свое 38-летие, годами был старше их всех, за исключением своего ровесника Писсарро, и пользовался среди собратьев по искусству особенным уважением. Что касается остальных, то в 1870 году Дега было 36 лет, Сезанну — 31 год, Моне в ноябре стукнуло 30, Ренуару — 29. Самым младшим, хотя и самым высоким по росту, был Базиль — «папенькин сынок из Монпелье», которому исполнилось 28 лет.

— У Гербуа мы вели очень интересные разговоры, — рассказывал Моне репортеру из «Тан» Тиебо-Сиссону, — постоянно спорили друг с другом. Приходилось все время держать мысли в напряжении. Мы как бы подхлестывали друг друга к бескорыстному и искреннему поиску истины, и каждый заряжался энтузиазмом, на котором потом держался на протяжении долгих недель, пока идея не обретет окончательную форму. Эти встречи закаливали нас, укрепляли волю и позволяли мыслям обрести четкость и ясность…

Справедливости ради следует сказать, что нередко споры переходили в ссору, сопровождавшуюся взаимными оскорблениями. Особенно яростно нападали друг на друга Дега и Мане.

— Я начал писать лошадей задолго до вас, — кипятился Дега.

— Чушь! — бросал в ответ Мане. — Вы еще малевали исторические сюжеты, а я уже вовсю изучал настоящую жизнь!

— Ах так! Тогда верните все мои картины, что я вам подарил!

— А вы верните мне мои!

«Получив назад полотно, на котором он запечатлел Мане вместе с его женой, сидящей за фортепиано, Дега ничуть не успокоился, поскольку обнаружил, что его друг просто-напросто отрезал от холста портрет госпожи Мане», — рассказывает в своей замечательной «Истории импрессионизма» Джон Ревалд.

Порой такие же ожесточенные стычки происходили и между Моне и все тем же Дега, явно не отличавшимся покладистым характером.

Моне в те годы не стремился дорого продавать свои работы. Во-первых, он радовался любой сумме денег, которая позволяла ему свести концы с концами, а во-вторых, был убежден, что живопись должна оставаться доступной широкой публике. Аристократичного Дега эта позиция раздражала и злила. В привычной для него, хоть и выглядевшей несколько старомодно манере выражаться он поучал собрата:

— Если вам угодно знать мое мнение, то я полагаю, что доступность искусства для бедных не вполне уместна, а следовательно, так же неуместно продавать свои картины за пару медяков!

Придет день, когда и Моне станет придерживаться этой точки зрения. Но пока до этого было еще далеко. Иллюстрацией может служить тот факт, что весной 1870 года оба полотна художника, предложенных на рассмотрение жюри Салона, вернулись назад с комментарием: «Неприемлемо». Добиньи, входивший в состав отборочной комиссии, впал в ярость:

— Я люблю эту живопись и не допущу, чтобы моим мнением пренебрегали! Вы полагаете, что я ничего не смыслю в своем деле?

И он покинул заседание комиссии, проходившее во Дворце промышленности, громко хлопнув дверью. Увы, Моне это служило слабым утешением.

Может быть, утешение явилось к нему 28 июня, в мэрии VIII округа, в день, когда в присутствии своего друга и свидетеля события Курбе он официально зарегистрировал брак с Камиллой Донсье? Откровенно говоря, в это слабо верится. Мы уже не раз имели возможность убедиться, что Клода и Камиллу связывали отношения, не очень напоминавшие бурную страсть. Почему же все-таки этот брак, при заключении которого не присутствовали ни отец Клода, Адольф, ни старая тетушка Мари Жанна, состоялся? По всей вероятности, причина была самая прозаическая. Замужество позволило Камилле получить скромное приданое в размере 1200 франков (целое состояние для молодой четы!), а также дало надежду стать наследницей отца и рассчитывать на то, что спустя три месяца после его смерти ей

достанется еще 12 тысяч франков. Впрочем, пока папаша Шарль Клод Донсье, которому пошел шестьдесят пятый год и который выглядел вполне бодрым, не демонстрировал ни малейших признаков готовности расстаться с подобной суммой. Добавим также, что несколькими днями раньше жених и невеста подписали контракт, согласно которому Камилле не грозили никакие неприятности, «связанные с долгами ее мужа».

Даниель Вильденштейн[17] — автор, от внимания которого, судя по всему, не ускользнула ни одна подробность из жизни Моне, отмечает, что в связи с бракосочетанием художник должен был представить в мэрию хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий его статус военного, но ни одной официальной бумаги у него не оказалось. «На бланке учетного листка военнослужащих за 1870 год, направленного в военный отдел городского муниципалитета, мэр своей рукой начертал: „Призван в 1860 году“. Подобная отметка означала, что человека могут в любой момент снова вызвать в призывную комиссию. Внизу листка стояла приписка: „Указанный молодой человек обратился в комиссию с заявлением, в котором утверждал, что числится в Первом подразделении африканских стрелков, и сообщил о своей женитьбе, состоявшейся в тот же день“. На обратной стороне бланка муниципальный чиновник составил запрос командованию полка с целью проверки сведений, сообщенных „господином Моне“. Отныне тому приходилось все время помнить, что он как военнослужащий запаса привлекает к себе живой интерес со стороны властей».

Между тем «военнослужащий запаса», обзаведясь законной женой и энным количеством банкнот, решил провести несколько дней в Трувилле. Камилла и Жан отправились вместе с ним. Сделав по пути небольшой крюк, они ненадолго остановились в Лувесьенне и заглянули к Писсарро, которому Моне, опасаясь судебных исполнителей, оставил на хранение несколько полотен, и наконец устроились в скромной прибрежной гостинице. Это невзрачное заведение носило гордое имя «Тиволи»[18].

По всей вероятности, именно в Трувилле его застала печальная весть о кончине старой доброй тетушки Мари Жанны. Той, что так долго поддерживала художника, не стало 7 июля. Спустя еще несколько дней Моне и весь Трувилль узнали о том, что император Наполеон III объявил войну Пруссии, находившейся тогда под властью Бисмарка. Война? Подумаешь, пустая формальность, говорили друг другу жители города.

А что еще они могли сказать? Военного министра маршала Лебефа спросили:

— Господин маршал, готовы ли мы к войне?

И Эдмон Лебеф, молодецки выпятив грудь, ответил:

— Совершенно готовы! — Потом подумал и добавил: — Вот увидите, поход от Парижа до Берлина будет чем-то вроде прогулки с тросточкой!

Очевидно, министру забыли доложить, что его Генеральный штаб не располагал ни одной картой местности!

28 июля император, и без того пребывавший в отвратительном настроении, прибыл в Мец и обнаружил полную неразбериху во всем. Дальше дела пошли еще хуже. «Отечество в опасности!» — наперебой кричали заголовки республиканских газет. 7 августа императрица Евгения, правившая страной, пока ее не совсем здоровый супруг распоряжался на фронте, издала указ о призыве в национальную гвардию всех дееспособных граждан в возрасте до 40 лет.

Когда эта новость докатилась до нормандского побережья, Моне испугался: неужели ему, и так уставшему бороться за кусок хлеба, придется идти воевать неизвестно за что?

Вечный бой… Он снова съездил в Гавр, переговорить с отцом. Тот наотрез отказался помогать сыну. Впрочем, его в тот момент занимали совсем другие заботы — на 31 октября была назначена его собственная свадьба с Амандой Ватин. Из письма Клода Моне Будену мы знаем, что он оставил Камиллу и Жана в Трувилле, в «Тиволи», и теперь ломал голову, как вызволить их оттуда, ибо у него не осталось ни гроша, чтобы оплатить счет. Также известно, что одновременно он внимательно наблюдал за отплытием из гаврской гавани трансатлантических судов. «Бегство в Англию приняло повальный характер… Сегодня на пристани осталось две сотни пассажиров…»

Однако к этому времени Моне, похоже, овладел искусством искать и находить источники средств к существованию. Доказательством служит тот факт, что ему в конце концов удалось как-то уладить дело с владельцем гостиницы и освободить «заложников Тиволи» — жену И сына. После чего он, не горевший желанием вступить в ряды национальной гвардии, а тем более стяжать славу разведчика или добровольца-партизана, исхитрился приобрести билет на корабль, отправлявшийся в Лондон. Камилла и Жан, которым пока ничто не угрожало — о приближении улан к порту еще не шло и речи, — намеревались присоединиться к нему позже.

Моне уже жил в Сити, на Эйрандел-стрит, в доме номер 11, когда некий младший лейтенант — «белокурый, высокий и стройный, самых изысканных манер, имевший в своем облике что-то от Иисуса, только более мужественный (…), отличный парень, всегда мягкий в обращении и пышущий здоровьем»[19],

вступивший в полк зуавов, пал под прусскими пулями в битве у прелестного городка Бон-ля-Роланд, что в департаменте Луаре. Этот самый младший лейтенант, обладавший «всеми достоинствами благородной молодости — верой, честностью и тактом», в жизни Клода Моне играл роль доброго самаритянина. Звали его Фредерик Базиль.

Базиль встретил смерть 28 ноября 1870 года на берегах Луары. Клода Моне на берегу Темзы ждала встреча с Дюран-Рюэлем.

Поль Дюран-Рюэль сочетал в себе любовь к искусству и талант торговца картинами. Отметим к слову, что эти два качества редко встречаются в одном человеке. Собственно говоря, Дюран-Рюэль вырос в обстановке прекрасного и понимал все тонкости ремесла. Его отец, крупнейший бумагопромышленник, в свое время переключился на торговлю произведениями искусства. Именно он открыл миру Коро и Делакруа.

Впрочем, предоставим слово Дюран-Рюэлю-сыну. В интервью, данном журналисту «Эксельсиора» Гюставу Кокио 28 ноября 1910 года, он рассказывал: «Первым я познакомился с Моне. Его представил мне Добиньи — в Лондоне, в 1870 году. Прислушавшись к его совету, я проявил горячий интерес к этому художнику, уже тогда выделявшемуся огромным талантом. Физически крепкий и выносливый, он, казалось мне, может без устали писать столько лет, сколько сам я и не надеялся прожить на свете. Правда, я был на девять лет старше его…»

В мирное время Дюран-Рюэль держат галерею в Париже, на улице Лаффитт. Мастерство Моне он оценил сразу. Поэтому неудивительно, что, едва переправившись через Ла-Манш, Клод сейчас же направился к торговцу, прихватив с собой несколько полотен.

Лишенный возможности вести торговлю в осажденном Париже, Поль Дюран-Рюэль решил открыть лавку в Лондоне, на Нью-Бонд-стрит. У этого человека слова никогда не расходились с делом.

— За работу! — сказал он Моне. — Набросайте мне пару-тройку картин, я их выставлю.

Оба сдержали обещание.

Гайд-парк, Грин-парк, здание парламента, корабли на лондонских пристанях — от зоркого глаза Моне не укрылось ничего. Британские туманы и британские газоны совершенно его очаровали. Он пишет и пишет. В том числе и Камиллу, которой наконец-то удалось вырваться из Гавра. Она приехала вместе с ребенком — и вот уже готов ее портрет. Камилла сидит на диванчике, держа в руках нераскрытую книгу. Сквозь муслиновую

занавеску на нее падает рассеянный свет. На этой картине, названной «Размышление», Камилла выглядит немного постаревшей, но она все еще очень хороша собой. Однако взор ее исполнен глубокой печали. Благодаря усилиям Дюран-Рюэля картина появилась на Международной выставке изобразительных искусств, открывшейся в Кенсингтоне 1 мая 1871 года.

К этому времени до Моне уже докатилась весть о кончине его отца, случившейся 17 января в Сент-Адрессе. Итак, Адольф Моне, которому исполнился 71 год, успел прожить в браке с 36-летней Амандой Ватин всего-навсего два с половиной месяца.

Смерть отца обычно означает наследство, во всяком случае, хоть какую-то его долю. По логике вещей, Моне следовало незамедлительно мчаться домой, в Нормандию, и отстаивать свои интересы перед братом Леоном, сводной сестрой — одиннадцатилетней Мари, наконец, перед молодой вдовой. Вся эта тесная компания вполне могла воспользоваться его отсутствием и присвоить себе то, что причиталось ему по праву. Как ни странно, на сей раз Моне повел себя совсем не характерно: он просто-напросто отмахнулся от участия в дележе наследства. Дескать, поживем — увидим. И уехал в Голландию. Близился к концу май 1871 года. Коммуна доживала свои последние дни, на улице Рампонно разобрали последнюю баррикаду (в историю эти события вошли под именем Трагической недели), Курбе томился в тюрьме за разрушение Вандомской колонны, а Моне чувствовал себя счастливым, довольным жизнью, и главное — не отягощенным никакими денежными затруднениями.

Правда, Камилла и маленький Жан не вполне разделяли его восторги. Плавание по Северному морю сопровождалось сильной бурей, и они оба высадились на берег совершенно больными.

Но откуда возникла сама идея поездки в Голландию? По всей видимости, ее подсказал художнику Добиньи, хорошо знавший эту страну и восхищавшийся ее пейзажами. Возможно также, что Моне припомнились рассказы Йонкинда, который еще в Онфлере твердил ему, как прекрасны голландские каналы, мельницы и тюльпаны…

Благодаря деньгам, полученным от Дюран-Рюэля (который к этому времени купил, а может, успел и продать как минимум одно полотно Моне!), семейство замечательно устроилось в Голландии. Ради укрепления семейного бюджета Камилла давала зажиточным буржуа из Заандама «уроки разговорного французского». Заандам (или Саардам) представлял собой маленький городок на Зуидерзее (в 1870 году его население составляло 10 тысяч человек; в наши дни оно выросло до 70 тысяч), в семи лье к северо-западу от Амстердама.

Название Заандам происходит от двух слов: *dam* — плотина и *zaan* — песок. Впрочем, поэтически настроенные историки предпочитают другую версию и утверждают, что название Саардам (приют царя) город получил в память о пребывании здесь русского царя Петра Великого, который в 1697 году под именем Михайлова работал простым плотником на судостроительной верфи.

Несколько месяцев, проведенных художником в Голландии, оказались невероятно плодотворными. Двадцать пять полотен! Порт, корабли, вечерняя река, синие дома на берегу канала и, разумеется, мельницы — целая серия мельниц (Моне вообще любил писать сериями), то легко касающихся крыльями серого, туманного неба, то пронзающих его насквозь, заставляя дробиться облака.

Очевидно, именно во время своего первого пребывания на Зуидерзее Моне открыл для себя японский эстамп. Впоследствии он украсит такими эстампами стены своего розово-зеленого дома в Живерни. В своей книге «628 E-8», повествующей об автомобильном путешествии по Бельгии и Германии (название книги повторяет номерной знак машины), Октав Мирбо приводит свою версию этого открытия. «Во время путешествия, — пишет он, — я часто представлял себе тот сказочный день пятидесятилетней примерно давности, в который Моне, приехавший в Голландию работать, развернул бумажный пакет и пригляделся к упаковке. Так он впервые увидел японский эстамп. Я воображал себе ту сумасшедшую радость, с которой он, вернувшись к себе, начал раскладывать перед собой эти „картинки“. Самые лучшие и самые красивые из них представляли собой оттиски с работ Хокусаи и Утаморо, о чем он, разумеется, не имел тогда никакого понятия. Они положили начало не только его знаменитой коллекции, но и глубокой эволюции всей французской живописи конца XIX века».

Некоторые комментаторы считают предложенную автором книги версию излишне «романизированной». Не думаем, что они правы. Во-первых, Мирбо лично знал Моне и часто навещал его в Живерни, так что этот рассказ он, скорее всего, слышал от самого художника. Во-вторых, мы располагаем свидетельством Анны Превост[20], в последние годы жизни Моне (с 1920 по 1922 год) служившей в его доме кухаркой. Вот ее слова:

«Однажды, это было в 1920 году, я только что поступила работать в дом в Живерни, так вот, однажды я принесла господину Моне блюдо ошпаренных каштанов — он очень любил мои каштаны, господин Моне! — и, набравшись смелости, потому что меня уже давно мучило любопытство, спросила:

— А что это за красивые картинки висят здесь на всех стенах?

Он улыбнулся и немного насмешливо ответил:

— Эти картинки, милая моя Анна, люди называют японскими эстампами.

И принялся за каштаны. А потом сказал:

— Я начал собирать их, когда вас еще на свете не было, да и начал-то случайно. Это было в Голландии. Как-то раз я увидел, что бакалейщик, у которого мы покупали продукты, заворачивает рыбу и сыр в такие же эстампы, какие вы видите здесь! Оказалось, у него их в подсобке целый ящик! И я у него весь этот ящик купил. Совсем задешево, ведь для него это была просто упаковочная бумага!»

Отношения Моне с Голландией можно назвать историей любви. В Заандаме он жил в Биржевой гостинице, и бюджет его собственной домашней «биржи» не внушал никакого беспокойства. Нам неизвестно, вспомнил ли он, что жену его дяди Лекадра звали Маргаритой Крамер и что она родилась в Роттердаме? Наверное, нет. Не зря ведь он часто повторял: «Семейным связям я предпочитаю дружеские».

Но его история любви с Голландией напоминала настоящую страсть. На берегах каналов он словно встретил родную стихию. Впрочем, он сюда еще вернется.

Глава 7
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Наступил январь 1872 года. Несколько недель Моне жил в гостинице «Лондон — Нью-Йорк», в номере, выходившем окнами на вокзал Сен-Лазар, после чего перебрался в Аржантей. Этот переезд состоялся благодаря Мане, который помог ему подыскать подходящее жилье недалеко от вокзала. Дом оказался очень удобным, но главное — к нему примыкала просторная пристройка с большим застекленным окном. Чем не мастерская? Одним словом, не дом, а мечта, тем более что окно пристройки выходило прямо на Сену. Правда, обходилось такое жилье недешево — арендная плата составляла 250 франков за квартал. Чтобы дать читателю представление о том, много это или мало, скажем, что месячная зарплата служащего конторы в те годы не превышала 125 франков. Но Моне эти соображения больше не занимали — ведь у него теперь появился Дюран-Рюэль!

— Сразу по возвращении в Париж, — рассказывал владелец галереи Гюставу Кокио, — Моне принес мне свои картины. Так я стал его «штатным» торговцем. Для живописи тогда настали гнусные времена! Надеяться, что продашь картины Моне! Меня называли сумасшедшим, чокнутым. Правда, я еще пользовался некоторым кредитом доверия среди покупателей, но лишь потому, что сумел сохранить несколько хороших работ Делакруа или Коро… Но рассчитывать, что публика начнет покупать Моне или Ренуара, — это, по общему мнению, свидетельствовало о том, что я начисто лишился здравого смысла! Хорошо еще, что дело не дошло до публичных оскорблений, хотя, по правде говоря, до этого оставалось недалеко…

Итак, благодаря Дюран-Рюэлю и его огромной вере в талант художника Моне прожил два года в достатке. Действительно, с начала 1872 года по конец 1873-го торговец приобрел у него живописных полотен на 21 800 франков! Вместе с рядом других сделок, которые супругу Камиллы удалось заключить за это время, сумма заработанного за этот срок составила 36 100 франков. Прощай, черный хлеб! Если продолжить методику сравнения, то можно сказать, что Моне за те годы заработал больше, чем дипломированный врач, практиковавший в богатом квартале. Да, денежный дождь пролился на него как нельзя более вовремя, ведь его благодетеля Базиля больше не было в живых.

Узнав, что Клод больше не нищенствует, объявился и его старший брат Леон, посчитавший, что недурно бы им

объединиться против мачехи Аманды. Он занимался торговлей (впоследствии Леон перейдет работать в химическую промышленность) и жил в Девилле — одном из пригородов Руана.

— Ты обязательно должен принять участие в муниципальной выставке Руана, — заявил он младшему брату. — Надеюсь, ты в курсе, что это очень известная выставка. В этом году (шел 1872-й) она открывается уже в двадцать третий раз!

Моне согласился, и согласился с радостью, тем более что Леон купил у него одну картину за 200 франков. Торговый представитель прилично зарабатывал — нам известно, что в это же время он по совету брата приобрел полотно Писсарро.

Разумеется, Моне поспешил воспользоваться возможностью побывать в столице Нормандии, чтобы пристроиться со своим мольбертом в каждом уголке города, где ощущалось живое дыхание стихий. Пройдет 20 лет, и он снова вернется в Руан, чтобы еще раз посмотреть на знаменитый готический собор. Но уже в первый свой приезд он знал, что эта встреча обязательно состоится.

Руан, Аржантей, Сена… Решительно, эта река навсегда приковала к себе влюбленный взгляд Моне. Он любил Сену так глубоко и искренне, что в один прекрасный день решил даже купить небольшую лодку и оборудовать ее под плавучую мастерскую. Вот что сам художник рассказывал об этом Тиебо-Сиссону:

— Мне тогда удалось особенно удачно продать одну картину, так что я сразу получил сумму, необходимую для покупки лодки. На ней я соорудил нечто вроде дощатого шалаша, в котором места хватало как раз для того, чтобы поставить мольберт…

Наконец-то он мог целиком погрузиться в оранжево-синие туманы реки, весь обратившись в зрение. «Но какое зрение!» — говорил по этому поводу Сезанн. «Он достиг предела возможностей кисти и человеческого мозга», — добавлял к этому его друг Клемансо.

— С Клодом Моне я познакомился в Латинском квартале, — вспоминал Клемансо, отец которого сам писал «прочувствованные» картины. — Я только что освободился из тюрьмы, он обретался неизвестно где и марал холсты. Мы понравились друг другу. Встречались мы тогда нечасто. Иногда виделись у общих знакомых, друзей и товарищей, которым художник дарил свои марины. Уже тогда их обладатели с гордостью говорили: это Моне!

Клемансо и Моне. Два крепыша, они отлично подходили друг другу, и неудивительно, что они поладили между собой. Два

убежденных «диссидента»: один протестовал против правящего строя, второй — против канонов официозной живописи. Как мы вскоре убедимся, большая дружба этих двух людей не ограничится словами и сердечными излияниями. В ней не будет ничего от «литературщины». Она будет состоять из встреч, поступков и обмена идеями.

Аржантей… Неужели Моне все-таки добрел до конца туннеля? Он, кажется, и сам поверил в это, как и Камилла. Он пишет ежедневно, в любую погоду, при любом освещении. Он пишет и… продает. В это же время он получил наконец кое-какое наследство, причитавшееся ему после смерти отца, а Камилла, в свою очередь, унаследовала небольшую сумму после кончины Донсье. В семье появились деньги! Довольно ограничивать себя во всем! Камилла может позволить себе не только новые наряды, но и немного отдыха. Ее муж решил нанять служанку, чтобы она занималась Жаном, который «понемногу начал превращаться в настоящего мальчишку».

Теперь, если к нему являлся потенциальный заказчик и начинал торговаться, Моне мог со спокойным сердцем указать ему на дверь. Именно так он поступил со знаменитым баритоном Жаном Батистом Фором, блиставшим тогда в «Дон Жуане», «Моисее» и «Гугенотах». Оперному певцу понравился этюд, на котором был изображен один из видов Ветея.

— Столько-то, — объявил ему Моне.

— О нет, дорогой мой, — мощным и хорошо поставленным голосом отвечал разгневанный Фор. — Это ведь даже не живопись! Если я плачу деньги, то хочу платить их не за кусок холста, а именно за живопись!

Несколько лет спустя, как повествует Марта де Фель, певец увидел в углу мастерской Моне все тот же этюд с видом Ветея.

— Отличная работа, Моне, — обратился он к художнику. — Я покупаю у вас этот этюд. Сколько вы за него хотите? Шестьсот франков, тысячу франков?

— Э нет, Фор, так не пойдет. У вас плохая память, дружище. Когда-то вы отказались купить этот этюд за пятьдесят франков. Теперь можете выбирать себе любой другой, но этот этюд я вам не уступлю ни за какие деньги, даже за пятьдесят тысяч!

Если в июле 1872 года Моне так и не поехал в Гавр улаживать наследственные дела — по всей видимости, из-за нежелания встречаться со своей мачехой Амандой и сводной сестрой Мари, — то весной 1873-го он снова в этом городе. Однажды утром из окна своей комнаты, выходившего на старый порт, он сквозь туман и городской смог увидел силуэты лодок с пиками мачт. Справа вставало красное солнце, заставляя небо

пылать пожаром. Какая красота! Особенно эти блики на лиловатой воде, отбрасываемые огромным огненным шаром! Скорее, где холст? Вот он, небольшой, но это неважно. (Холст оказался размером 48 на 63 сантиметра.) Кисти, где кисти? Скорее! Цвет уйдет! Но вот мгновение поймано, и отныне оно останется запечатленным навек. Этой картине и в самом деле предстояло наделать много шума. В тесном мирке живописцев она вызвала настоящую бурю.

Салон 1873 года Моне, как и многие другие его коллеги и друзья по Батиньолю, решил бойкотировать. Мудрое решение. Жюри снова отвергло работы Ренуара и Йонкинда. Лишь картины Эдуара Мане и Берты Моризо удостоились чести быть выставленными на Салоне.

— Нам надо найти другой способ показывать свои работы публике, — заявил Моне друзьям, тем самым взяв на себя роль своего рода рупора инакомыслящих.

— Совершенно верно, — согласился с ним журналист Поль Алексис. — Но как и любое другое цеховое объединение, корпорация художников должна организовать свой собственный профсоюз и заняться устройством независимых выставок.

— Может, нам взять за образец корпорацию булочников Понтуаза? — вполне серьезно предложил Писсарро.

— О нет, никакого сектантства! — вступил в спор Дега. — Конечно, наша группа должна проводить свои выставки, но за каждым из нас должно сохраняться право предлагать работы на Салон, если ему это нравится!

На самом деле Мане и Дега втайне надеялись, что затея с независимыми выставками провалится. Особенно мечтал об успехе на Салоне Мане, этот «занятный революционер с душой чиновника, новатор в живописи вопреки себе, не подозревавший о собственной оригинальности». Что касается Дега, то ему, например, хотелось, чтобы в затеваемом предприятии принял участие его старый друг, представитель академизма краснолицый Бонна — художник, удостоенный всех мыслимых наград и почестей, никогда не появлявшийся на людях без галстука и орденских лент. Очевидно, он полагал, что всемогущий и респектабельный автор официозных портретов будет полезен группе. Однако молодые художники встретили это предложение в штыки. А однажды, собравшись возле портрета Адольфа Тьера кисти этого мастера, они исполнили хором такую песенку:

Каждый знает.
Каждый знает,
Что Бонна

Вместо красок
Потребляет
Ка-ка-ка…

— Итак, решено! — заключил Моне. — Каждый из нас внесет в общественную кассу десятую часть гонораров от проданных картин!

Теперь оставалось только найти помещение, а главное — опередить выставку во Дворце промышленности. Следовало также выпустить хороший каталог. Это дело поручили брату Ренуара. Бедняга Эдмон! Ему пришлось разбираться с целой ватагой художников, ни один из которых точно не знал, чего он хочет, зато каждый старался перекричать других.

Клоду Моне Эдмон Ренуар сказал:

— Понимаете, названия ваших картин очень однообразны. «Выход из деревни», «Вход в деревню», «Корабли, выходящие из порта Гавра» и так далее. Ну вот, например, эта работа. Как вы ее назовете? «Корабли, входящие в порт Гавра»?

— Нет, — спокойно отвечал Моне. — Эту я назову «Впечатление».

И картина, значащаяся в каталоге выставки под номером 98, в конце концов получила название «Впечатление. Восход солнца»[21].

Официальный Салон открывался 30 апреля. «Банда» назначила открытие своей выставки на 15-е число того же месяца. Где? На бульваре Капуцинов, в доме номер 35, прямо напротив улицы Скриба, в бывшем ателье фотографа Надара. Стены, спешно обитые коричневато-красным бархатом, украсились работами тридцати художников-диссидентов. Цену входного билета назначили в один франк — столько же, сколько стоил билет на Салон. Каталог решили продавать по 50 сантимов. Итого, полтора франка. В те годы эта сумма тянула на скромный обед на террасе бистро. Тем не менее посмотреть на «Впечатление» Моне, «Экзамен в танцевальной школе» Дега, «Современную Олимпию» Сезанна, «Ложу» Ренуара и «Колыбель» Берты Моризо пришло много народу.

Они смотрели, но… ничего не понимали. Отовсюду раздавались удивленные голоса:

— Можно, конечно, назвать это примитивизмом, но, по-моему, это самая настоящая мазня!

— Нет-нет, вы не правы! Это просто эксцентрики, и ничего больше! Им можно многое простить хотя бы за то, что они стараются сделать что-то новое!

Кто-то тихо посмеивался, другие громко хохотали. Потом вышли первые газеты с отчетами о выставке. Пресса буквально закидала ядрами ее участников, и самый громкий залп раздался 25 апреля 1874 года со страниц «Шаривари». Статья Луи Леруа, озаглавленная «Выставка импрессионистов», сочилась едкой желчью. Впрочем, «Шаривари» не относилась к числу многотиражных изданий. Зато сегодняшние коллекционеры готовы платить сумасшедшие деньги за номер газеты от 25 апреля 1874 года!

Предлагаем читателю эту статью без всяких сокращений. Все-таки именно благодаря ей на свет появилось название одного из самых известных направлений живописи — импрессионизм!

Итак, даем слово Луи Леруа.

«Да, нелегкий мне выдался денек! Вместе со своим другом Жозефом Венсаном, пейзажистом и учеником Бертена, которого разные правительства удостоили множества наград, я рискнул посетить первую выставку, прошедшую на бульваре Капуцинов. Мой неосторожный друг составил мне компанию, не подозревая ни о чем дурном. Он думал, что мы просто пойдем посмотреть на обычную живопись — хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но уж никак не покушающуюся на художественную нравственность, культ формы и уважение к мастерам.

— Что там форма! Что мастера! Все это больше никому не нужно, старина! Теперь все поменялось.

В первом же зале Жозефа Венсана ждал первый удар, и нанесла его ему „Танцовщица“ г-на Ренуара.

— Какая жалость, что художник, явно имеющий чувство цвета, не научился хорошо рисовать! — сказал он мне. — Ноги его танцовщицы выглядят такими же безжизненными, как их газовые юбки!

— Пожалуй, вы к нему слишком жестоки, — не согласился я. — На мой взгляд, у этого художника очень даже четкий рисунок!

Ученик Бертена решил, что я иронизирую, и вместо ответа лишь пожал плечами. Я же с самым невинным видом подвел его к „Обработанному полю“ г-на Писсарро. При виде этого великолепного пейзажа он подумал, что у него запотели очки, и, тщательно протерев стекла, он снова водрузил их себе на нос.

— Во имя Мишаллона![22] — воскликнул он. — А это что еще такое?

— Вы и сами видите не хуже меня! Это белый иней на глубоко прочерченных бороздах земли.

— Это борозды? Это иней? Да это какие-то бесформенные скребки по грязному холсту! Где тут начало и конец, где верх и

низ, где зад и перед?

— Гм… Возможно, возможно… Но зато здесь есть впечатление!

— Странное впечатление, доложу я вам. О, а это что?

— Это „Фруктовый сад“ г-на Сислея. Рекомендую вам вот это деревце, что справа. Написано, правда, кое-кое, но зато впечатление…

— Да отстаньте вы от меня со своим впечатлением!

Но как я мог от него отстать? Между тем мы подошли к „Виду Мелена“ г-на Руара. Так, это вроде вода, а в ней что-то такое… Ну вот, например, тень на переднем плане смотрится миленько…

— Я так понимаю, вас немного удивляет игра цвета…

— Скажите лучше, цветовая каша! О Коро, Коро! Какие преступления совершаются во имя твое! Ведь это ты ввел в моду эту вялую фактуру, этот поверхностный мазок, все эти пятна, которым любитель живописи сопротивлялся долгие тридцать лет и сдался наконец вопреки себе, побежденный твоим спокойным упорством! Капля, как известно, камень точит!

Бедный художник продолжал свои рассуждения, но выглядел довольно спокойным, так что я оказался совершенно не готов к страшному происшествию, которым завершилось наше посещение этой невероятной выставки. Он относительно легко перенес „Вид на рыбачьи лодки, покидающие порт“ г-на Клода Моне — возможно, потому, что мне удалось отвлечь его внимание от опасного созерцания этого полотна прежде, чем небольшие фигурки первого плана произвели свой смертоносный эффект. К несчастью, я проявил неосторожность и позволил ему слишком надолго задержаться перед „Бульваром Капуцинов“ кисти того же автора.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся он мефистофельским смехом. — Вот это действительно удачная работа! Вот оно, впечатление, или я ничего не смыслю в живописи! Вот только может хоть кто-нибудь объяснить мне, что означают эти бесчисленные черные пятнышки внизу картины?

— Но это же пешеходы!

— Выходит дело, и я похож на такое же черное пятно, когда прогуливаюсь по бульвару Капуцинов? Гром и молния! Вы что же, надо мной издеваетесь?

— Уверяю вас, господин Венсан…

— Да вы знаете, в какой технике выполнены эти пятна? В той же самой, что используют маляры, когда подновляют облицовку фонтанов! Шлеп! Блям! Бум! Как легло, так и легло! Это неслыханно! Это ужасно! Меня сейчас удар хватит!

Я попытался его успокоить, показав ему „Канал Сен-Дени“ г-

на Лепина, „Холм Монмартра“ г-на Оттена — обе эти работы представлялись мне довольно изящными по колориту. Но рок оказался сильнее меня — по пути нам попалась „Капуста“ г-на Писсарро, и лицо моего друга из красного стало багровым.

— Это просто капуста, — обратился я к нему убедительно тихим голосом.

— Несчастная капуста! За что такая карикатура? Клянусь, я больше в жизни не стану есть капусты!

— Но позвольте, разве капуста виновата в том, что художник…

— Молчите! Иначе я сделаю что-нибудь ужасное…

Внезапно он издал громкий крик. Он увидел „Дом повешенного“ г-на Поля Сезанна. Густой слой краски, покрывающий это драгоценное полотно, довершил дело, начатое „Бульваром Капуцинов“, и папаша Венсан не устоял. У него начался бред.

Поначалу его безумие выглядело вполне мирным. Он вдруг стал глядеть на мир глазами импрессионистов и говорить так, словно сам стал одним из них.

— Буден, бесспорно, талантлив, — заявил он, остановившись перед полотном означенного художника, изобразившего пляж. — Но почему его марины выглядят такими законченными?

— Так вы полагаете, что его живопись слишком тщательно проработана?

— Вне всякого сомнения. Иное дело мадемуазель Моризо! Эта юная дама не довольствуется простым воспроизведением кучи ненужных деталей. Если она пишет руку, то кладет ровно столько мазков, сколько на руке есть пальцев. Опля, и готово! Глупцы, которые придираются к тому, что рука у нее не похожа на руку, просто-напросто ничего не смыслят в искусстве импрессионизма. Великий Мане изгонит их из своей республики.

— Выходит, г-н Ренуар идет правильной дорогой — в его „Жнецах“ нет ничего лишнего. Я бы даже рискнул сказать, что его фигуры…

— Слишком тщательно прописаны!

— О, господин Венсан! Но что вы скажете вот об этих трех цветовых пятнах, по идее изображающих человека на пшеничном поле?

— Скажу, что два из них лишние! Хватило бы и одного!

Я бросил на ученика Бертена настороженный взгляд. Его лицо на глазах приобретало пурпурный оттенок. Катастрофа казалась неизбежной. Случилось так, что последний удар моему другу нанес г-н Моне.

— О, вот оно, вот оно! — возопил он, когда мы приблизились

к картине под номером 98. — Узнаю ее, свою любимицу! Ну-ка, что это за полотно? Прочтите-ка этикетку.

— „Впечатление. Восход солнца“.

— Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!

Напрасно старался я вдохнуть жизнь в его угасающий разум. Все было напрасно. Он окончательно поддался чарам окружающего безобразия. „Прачка“ г-на Дега, слишком грязная для прачки, вызвала у него бурю восторга. Сам Сислей казался ему вычурным и манерным. Не желая спорить с одержимым и опасаясь разгневать его, я попытался найти в импрессионистской живописи хоть что-нибудь стоящее. Разглядывая „Завтрак“ г-на Моне, я довольно легко узнал хлеб, виноград и стул, написанные вполне прилично, на что и указал своему другу, но… он проявил полную неуступчивость.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Здесь Моне дает слабину! Он приносит ложную жертву богам Мессонье![23] Слишком много работы, слишком много! Лучше взглянем на „Современную Олимпию“!

— Увы мне! Ну что же, идемте… И что же вы скажете об этой согнутой пополам женщине, с которой негритянка срывает последний покров, дабы представить ее во всем уродстве взору восхищенного брюнета-недотепы? Помните „Олимпию“ г-не Мане? Так вот, по сравнению с работой г-на Сезанна это был шедевр рисунка, грамотности письма и законченности!

Все, чаша переполнилась. Классический мозг папаши Венсана, подвергнутый жестокому нападению со всех сторон, окончательно отключился. Он остановился напротив служащего, охранявшего все эти сокровища, и, приняв его за портрет, разразился критической тирадой.

— Так ли уж он плох? — говорил он, пожимая плечами. — Вот лицо, на нем два глаза… нос… рот… Нет, это не импрессионизм! Слишком уж тщательно выписаны детали! Теми красками, которые художник совершенно напрасно на него потратил, Моне написал бы двадцать парижских охранников!

— Может, вы все-таки пройдете? — обратился к нему портрет.

— Слышите? — воскликнул мой друг. — Он даже умеет говорить! Нет, это явно работа какого-то педанта! Вы только вообразите, сколько времени он с ним провозился!

И, охваченный непреодолимым желанием выразить

обуревавшие его чувства, он принялся выплясывать перед ошеломленным охранником дикий танец охотника за скальпами, одновременно выкрикивая страшным голосом:

— Улю-лю-лю! Я — ходячее впечатление! Я — кинжал смертоносной палитры! Я — „Бульвар Капуцинов“ Моне, я — „Дом повешенного“ и „Современная Олимпия“ Сезанна! Улю-лю-лю-лю!»

Увы, если выставка в Салоне Надара вызвала бурные споры (о ней отзывались с одобрением или с возмущением, но никто не обошел ее молчанием), то продать ее устроителям не удалось почти ничего. Лишь перед самым закрытием нашлись покупатели на полтора десятка картин, на скромную сумму в три с половиной тысячи франков. Справедливости ради напомним, что 1874 год не относился к числу благополучных. После краткого оживления экономики и начался очередной спад, и Моне в полной мере испытал это на собственной шкуре.

Еще до того как открылся Салон Надара, он поскреб по сусекам и позволил себе совершить вторую поездку в Голландию — «своего рода паломничество, оказавшееся крайне плодотворным; паломничество, во время которого его манера определилась и обогатилась новыми нюансами»[24]. К несчастью, по возвращении он обнаружил, что Камилла совсем пала духом, а владелец дома в Аржантее, так и не получивший положенной платы, проявляет все большее нетерпение. Неужели их снова ждут голод и холод? А ведь милого Базиля теперь нет!

И он принимает решение обратиться за помощью к Мане. 1 апреля 1874 года он пишет ему: «Не могли бы вы одолжить мне сотню франков?»

Зная, что в 1874 году Моне заработал 10 554 франка, то есть сумму, в восемь раз превышавшую годовой заработок чиновника средней руки, нам остается только поражаться тому, как быстро деньги утекали у него между пальцев!

Но Моне по-настоящему встревожился. Дюран-Рюэль поставил его в известность о том, что прекращает, или почти прекращает, всякие закупки. Впрочем, тревога не помешала ему переехать из одного дома в Аржантее в другой, тоже с видом на вокзал — в нарядный новехонький домик на бульваре Сен-Дени (сегодня переименованном в бульвар Карла Маркса), номер 2, — с розовыми стенами и зелеными ставнями. В те же цвета будет окрашен и его дом в Живерни. Арендная плата составляет 1400 франков в год? Ну и что? Несомненно, он вел себя неосмотрительно, чем причинял немало треволнений бедной Камилле. Впрочем, она, должно быть, успела уже привыкнуть к

расточительности своего Клода. «Как только у него заводились деньги, он заказывал тонкие вина и ликеры целыми бочонками, шил себе костюмы из английской шерсти, которые в те времена стоили так же дорого, как и сегодня, нанимал кухарку и няньку для детей, дарил Камилле роскошные платья. Ибо он, благодарение Господу, всегда отличался щедростью», — пишет Жан Поль Креспель[25].

Итак, в стране был экономический кризис. Возможно, Дюран-Рюэль и в самом деле перестал вкладывать собственные средства в приобретение новых полотен, но он по-прежнему продолжал исполнять роль посредника между Моне и потенциальными покупателями. Так, нам известно, что в мае 1874 года он вел переговоры о продаже знаменитой картины «Впечатление. Восход солнца», оцененной в 800 франков. Владельцем «тумана, нависшего над розоватыми водами гавани Гавра», стал богатейший торговец и известный любитель живописи Эрнест Ошеде. Ошеде… Этому человеку суждено было сопровождать Моне до самой смерти.

Глава 8
АЛИСА

Наступил 1875 год, а вместе с ним — последняя четверть XIX века. В Аржантее Камилла позировала для «Дамы с зонтиком» и «Японки». В Париже правительство Макмагона ускоренными темпами приводило армию в боевое состояние. «Ожидается ли новая война?» — подобными заголовками пестрели немецкие газеты. Биржу лихорадило. Цена акций ползла вниз, а стоимость жизни повышалась с каждым днем. Джон Ревалд[26] приводит в этой связи очень интересное письмо, написанное тетушкой Писсарро: «Из-за новых военных налогов подорожали все продукты. Представь себе, кофе, который стоил два франка за фунт, теперь стоит три двадцать; вино по 80 сантимов — франк за литр; сахар с 60 сантимов поднялся до 80, а то и до франка за фунт, и так далее. За мясо требуют запредельной цены, то же самое относится и к сыру, маслу, яйцам. Если экономить на всем, с голоду, конечно, не умрешь, но жизнь стала очень тяжелой. В делах полный застой, и молодежь пребывает в полном унынии…»

— О да! — соглашался Буден. — Чтобы в эти времена равнодушия и крушения планов продолжать держать кисть, требуется немало отваги!

Крушение, в частности, коснулось и плана организации второго Салона Надара — касса Общества художников была пуста. Что оставалось делать?

— Давайте устроим распродажу в Друо! — предложил Ренуар. — Может, хоть что-нибудь заработаем!

— Надо, чтобы об этом написали газеты, — сказал Мане. — У меня есть один знакомый критик из «Фигаро». Его зовут Альбер Вольф. Я ему сейчас напишу.

Действительно, за несколько дней до начала выставки-продажи, назначенной на 24 марта, появилась статья упомянутого Вольфа — грозы всех художников. К сожалению, она была не оптимистичной:

«Тот, кто поставил своей целью спекулировать на искусстве будущего, возможно, найдет для себя массу ценного, однако нельзя не отметить, что впечатление, производимое импрессионистами, более всего напоминает прогулку кошки по клавиатуре рояля или забавы обезьяны, раздобывшей коробку красок».

Катастрофа!

Дюран-Рюэль, подвизавшийся в качестве эксперта,

вспоминает об этом так:

«В тот день в отеле Друо, где я продавал картины Моне и Ренуара, из предосторожности поместив их в шикарные рамы, мне пришлось пережить множество неприятных минут. Это был, как принято выражаться сегодня, настоящий бардак. Каких только оскорблений мы ни выслушали, и больше других, конечно, досталось Моне и Ренуару! Публика обзывала нас дураками и бесстыжими прохвостами. Картины продавались по 50 франков — из-за рам. Многие из них я оставил для себя и радовался, что меня не отправили в Шарантон[27]. Хорошо еще, что у меня всегда были хорошие отношения с родственниками…»

Итак, полный провал, сопровождавшийся шумным скандалом. В какой-то момент пришлось даже вызвать полицейских, чтобы помешать особенно ретивым зрителям проткнуть тростью или зонтиком полотна Моне и Ренуара, Берты Моризо и Сислея.

Нашлось, однако, и среди этой взбудораженной толпы несколько истинных ценителей искусства. Имена этих людей известны: Виктор Шоке, Кайбот, Ароза, Шарпантье, Дольфюс, Руар и… Эрнест Ошеде.

На следующий день в газете «Пари журналь» появилась статья, в которой, в частности, говорилось: «Вот уж мы позабавились, глядя на все эти фиолетовые деревни, черные речки, желто-зеленых женщин и синих детишек, которых жрецы новой школы предложили вниманию восхищенной публики…»

Несколько полотен все же нашли покупателей. Впрочем, назвать продажей то, что отдавали почти даром, трудно. Цена на картины снизилась больше чем вдвое против обычного. Жертвой жестоких насмешек стал Клод Моне. Итог — он остался совершенно без гроша.

В июне он пишет Мане: «Жизнь становится с каждым днем все труднее. С позавчерашнего дня в доме хоть шаром покати. Никто больше ничего не дает в кредит, ни мясник, ни булочник. Я не теряю веры в будущее, но настоящее, как вы сами понимаете, к нам сурово. Не могли бы вы с ответным письмом выслать мне двадцатифранковую банкноту? Это сослужит мне добрую службу на ближайшие четверть часа…»

Осенью он обращается к Золя: «Не могли бы вы, будь на то ваше желание, оказать мне одну огромную услугу? Если до завтрашнего вечера, в среду, я не уплачу 600 франков, вся наша мебель и прочее имущество будет продано и мы окажемся на улице. У меня же от этой суммы нет ни гроша. Сделки, на которые я рассчитывал, в настоящее время не могут состояться. Мысль о том, что мне придется раскрыть эту печальную

действительность моей бедной жене, приводит меня в отчаяние. Так что, обращаясь к вам, я делаю последнюю попытку. Не могли бы вы одолжить мне 200 франков? Возможно, эти деньги позволят мне выиграть время. Не смею явиться к вам лично, потому что, боюсь, мне не хватит смелости признаться в подлинной причине своего визита. Напишите хоть пару слов, только, прошу вас, никому не говорите об этом, потому что нужда — непростительный недостаток…»[28]

А что же Леон Моне? Знал ли он, в каком отчаянном положении оказался его младший брат? Во всяком случае, именно в тот год он купил у него за 230 франков «Вид Парижа». Конечно, в океане долгов это была лишь капля воды, но разве нельзя увидеть в ней свидетельство братской доброты?

— Если не удастся выкрутиться, теперь я нескоро открою свою коробку красок, — признавался Клод своему другу и коллеге Мане.

Именно это и случилось. Конец 1875-го и начало 1876 года были периодом, когда художник вынужден был снизить темп работы. Для участия в очередной выставке импрессионистов, которая на сей раз состоялась в галерее Дюран-Рюэля, в доме 11 по улице Ле-Пелетье, Моне, имевший под рукой совсем мало новых картин, обратился к некоторым из своих покупателей с просьбой вернуть ему на некоторое время ранее проданные полотна — чтобы не потерять лицо.

Полагаю, читатель помнит, какие злобные статьи появились в газетах после выставки в Салоне Надара. Как же реагировала пресса на выставку, организованную Дюран-Рюэлем?

Кое-кто из критиков проявил снисходительность («импрессионалисты (!) поднялись на ступеньку в общественном признании»), но общий тон публикаций, будь то «Голуа», «Эвенман» или «Курье», не говоря уже о яром ненавистнике нового направления Вольфе, оставался издевательским. Чтобы удостовериться, что г-н Вольф предпочитал макать перо в смесь желчи с серной кислотой, достаточно ознакомиться с газетой «Фигаро» от 3 апреля. Статья называлась «Парижский календарь, воскресенье, 2 апреля 1876 года». Вот ее текст.

«Ох уж эта злополучная улица Ле-Пелетье! Не успел погаснуть пожар в здании Оперы, как на квартал обрушилось новое несчастье. У Дюран-Рюэля открылась выставка живописи — точнее, якобы живописи. Ни в чем не повинный прохожий, привлеченный украшающими фасад флагами, входит в зал, и что же? Его испуганному взору открывается картина ужасов. Пять-шесть умалишенных, в том числе одна женщина, одержимых манией славы, собрались здесь, чтобы представить публике свои

творения. Кое-кто из зрителей просто прыскает со смеху, глядя на их трюки. Но мне не до смеха. Эти так называемые художники именуют себя непримиримыми и импрессионистами, но что же они делают? Берут холст, берут краски и кисти, ляпают как попало несколько цветовых пятен и… ставят внизу свою подпись. О человеческое тщеславие, доведенное до умопомешательства! Можно ли взирать на него без дрожи?

Но попробуйте-ка объяснить г-ну Писсарро, что не бывает фиолетовых деревьев, что небо не может быть цвета свежесбитого масла, что ни в одной стране мира нельзя увидеть того, что он изображает, и что человеческий разум не в состоянии принять его заблуждений! Попробуйте-ка втолковать г-ну Дега, что в изобразительном искусстве существует пара-тройка принципов, имя которым — рисунок, цвет, проработка линии, замысел, — он рассмеется вам в лицо и обзовет вас реакционером. Попробуйте объяснить г-ну Ренуару, что женский торс не может состоять из нагромождения бесформенных кусков плоти, покрытых лиловато-зелеными пятнами, обычно характерными для трупа в последней стадии разложения! В группе есть и женщина, как, впрочем, в любой знаменитой банде. Зовут ее Берта Моризо, и за ней очень любопытно наблюдать со стороны, ибо женская грация удивительным образом сочетается в ней с расстройством ума и бредовыми идеями. И всю эту кучу безобразия выставляют на всеобщее обозрение, нисколько не заботясь о возможных роковых последствиях. Вчера на улице Ле-Пелетье задержали какого-то несчастного: покинув выставочный зал, он покусал нескольких прохожих…

Я лично знаком с некоторыми из этих несносных импрессионистов. Все они очаровательные молодые люди, искренне убежденные в своей правоте и воображающие, что нашли собственный путь в искусстве. Общение с ними вызывает такую же скорбь, какую я испытал недавно, поглядев в Бисетре на беднягу сумасшедшего. Зажав в левой руке лопату, он упер один ее конец себе в подбородок наподобие скрипки и водил по ней палкой, словно смычком, уверяя окружающих, что исполняет „Венецианский карнавал“ — вещь, которая, по его словам, принесла ему бешеный успех среди знатоков. Следовало бы поставить этого виртуоза перед входом на выставку — тогда балаган на улице Ле-Пелетье обрел бы полную завершенность».

Читатель, очевидно, заметил, что едкое перо Вольфа не коснулось Моне. Но стоит ли этому радоваться?

Впрочем, свою долю критики он сполна получил от графика Берталля, время от времени печатавшего статьи в «Су-ар». Так, в

номере от 15 апреля читаем: «Как нам стало известно, на улице Ле-Пелетье открылась психиатрическая лечебница, своего рода филиал клиники доктора Бланша. Принимают сюда в основном художников.

Безумие их неопасно: они просто макают кисти в самые кричащие и не совместимые друг с другом краски и водят, как бог на душу положит, ими по белому холсту, чтобы затем, не считаясь с затратами, заключить готовый труд в великолепную раму.

Вот, например, г-н Моне, которого в ряды импрессионалистов привело почти полное совпадение его имени с именем г-на Мане. Г-н Моне прекрасно знает, что не бывает деревьев того ярко-желтого оттенка, какими он изобразил их на своем „Ручье в Аржантее“. Он понимает, что „Дорога в Эпинее под снегопадом“ никогда в действительности не могла выглядеть, как шерстяной коврик, сотканный из белых, синих и зеленых нитей. Его не надо убеждать в том, что „Речной берег в Аржантее“ не может походить на пестрое вязанье шерстью и хлопком. Но это не помешало ему именно подобным образом представить нам свое впечатление… Зрители посмотрели, посмеялись и… пожелали узнать имя автора. И теперь они запомнят, что господина, которому пришла в голову странная идея вязаного пейзажа, зовут Моне, следовательно, г-н Моне вскоре станет так же знаменит, как и г-н Мане».

Журналиста «Ревю политик и литтерер» Шарля Биго привлекла и поразила «некая дама, причудливо закутанная в красный костюм и обмахивающаяся веером на фоне еще трех десятков японских вееров».

«Г-н Моне решил прикончить зрителя одним-единственным пистолетным выстрелом, и это ему удалось! Г-н Моне не счел нужным выписывать лицо женщины, ибо он из тех, кто презирает лепную форму, зато он наградил свою модель самыми выразительными трупными оттенками…»

Женщиной с лицом «трупного оттенка» была знаменитая «Японка», проданная на аукционе Друо 14 апреля следующего года за 2050 франков. Это был портрет Камиллы.

Возможно, к этому времени она уже была больна. Во всяком случае, она не могла не чувствовать себя одинокой, потому что Клод все чаще надолго уезжал из Аржантея, ибо начал работать на Эрнеста Ошеде.

В 1876 году Эрнесту Ошеде шел сороковой год. На нескольких сохранившихся портретах он выглядит вполне довольным жизнью. Правая рука заложена за отворот редингота (вспоминается Наполеон), между большим и указательным

пальцами зажата сигара, черная щетка усов, густые курчавые бакенбарды (вспоминается Франц-Иосиф)… Толстяк Эрнест выглядел внушительно, как и подобает денежному мешку.

Его родители, Эдуар и Онорина, проделали тот же путь, что Аристид и Маргарита Бусико[29]. Скромный коммивояжер и простая кассирша, очень скоро они стали владельцами крупного торгового предприятия. То были времена, когда начался расцвет универсальных магазинов, и честолюбия, отваги и воображения хватало, чтобы сколотить состояние. Бусико открыл «Бон-Марше», Жюль Жалюзо основал «Прентан», Эрнест Коньяк и его супруга, мадемуазель Жей, придумали «Самаритен»… А еще появились «Повр-Дьябль», «Гань-Пети», «Дьябль буате», «Де-Маго», «Пти-Сен-Тома»… Наконец, на улице Пуасоньер, в доме номер 35, распахнул свои двери магазин Ошеде, специализировавшийся на торговле тканями.

Можно не сомневаться, что, едва достигнув сознательного возраста, Эрнест подключился к работе на семейном предприятии. Так, мы знаем, что он неоднократно выезжал в Англию и Шотландию: по всей вероятности, с целью закупки лучших сортов твида и высококачественного кашемира. Также нам известно, что он без памяти влюбился в одну молоденькую парижанку, которая была младше его на семь лет. Дочь богатых родителей, Алиса Анжелика Эмилия Ренго отличалась умом и твердым характером. Никто на свете не посмел бы сравнить ее с гризеткой.

— Я хочу на ней жениться! — объявил Эрнест своей матери. — Ее родители — богатые промышленники, у них свой завод бронзовых изделий и часов. По-моему, отличная партия!

Но деспотичной Онорине Ошеде, привыкшей смотреть на сына как на собственность, эта идея вовсе не показалась такой уж блестящей. Круг, в котором вращались Ренго, представлялся ей слишком высоким, следовательно, чужим. Зачем все это ее сыну?

— Ах, Эрнест! — сокрушалась она. — Подумай только, какое будущее ждет тебя с ней!

— Я совершеннолетний! — не сдавался сын, потерявший голову от любви. — Я уже все решил. Алиса Ренго будет моей женой.

И он действительно женился на ней. Бракосочетание состоялось 16 апреля 1863 года, в мэрии III парижского округа. Г-н и г-жа Ошеде отказались присутствовать на церемонии. Как мы помним, Камилла Донсье, выходя замуж, получила от отца в приданое 12 тысяч франков. Алисе Ренго, хотя у нее было восемь братьев и сестер, досталось от родителей 100 тысяч!

Год спустя, 18 апреля 1864 года, молодая чета Ошеде —

Ренго праздновала рождение первой дочери. Девочку назвали Мартой. За ней последовали: Бланш, появившаяся на свет 12 ноября 1865 года, Сюзанна — 29 апреля 1868 года, Жак — наконец-то сын! — 26 июля 1869 года, Жермена — 15 августа 1873 года.

За это время мать Эрнеста все же помирилась с сыном, но к невестке продолжала относиться холодно и сдержанно.

— Язык у нее подвешен, ничего не скажешь, — морщилась она, — но как же громко она говорит!

Алиса Ошеде и в самом деле была — и с годами не менялась — женщиной властной. И понижать голос не считала нужным. Вскоре Моне предстояло убедиться в этом воочию.

Между тем отец Эрнеста Ошеде отошел от дел, передав сыну управление торговым домом на улице Пуасоньер. В январе 1870 года его тесть Альфонс Ренго отдал Богу душу, оставив ему в наследство замок Роттенбург в Монжероне.

Монжерон, расположенный неподалеку от Брюнуа, где долгое время жил дед со стороны матери Клода Моне — Франсуа Леонар Обре, имел полное право именоваться настоящим замком. Оценивался он тогда в 175 тысяч франков. Если уж живешь в замке, решил Эрнест Ошеде, веди себя как подобает сеньору! И он принялся претворять это решение в жизнь, может быть, даже слишком целеустремленно. Игрок в душе, искренний любитель живописи, эстет и просто щедрый человек, он начал приобретать полотна, от которых остальные с пренебрежением отворачивались. Почему? Потому, что они ему нравились; потому, что он верил в то что искусство должно развиваться; наконец, потому, что, возможно, надеялся таким образом выгодно вложить капитал. Как бы то ни было, Эрнест Ошеде заслуживает того, чтобы мы сняли перед ним шляпу. Вместе с Золя, с Виктором Шоке — между прочим, обыкновенным таможенным инспектором, с Шарпантье, с доктором Беллио, с Дюран-Рюэлем и еще несколькими ценителями живописи он вошел в число тех, кто вопреки всем бурям и грозам, вопреки Вольфу и Леруа, позволил импрессионистам выжить.

Он покупал картины Моне. Впрочем, некоторое время спустя ему пришлось их продать. Так, 13 января 1874 года катастрофическое состояние годового баланса вынудило его расстаться с 80 полотнами! В лоте фигурировали три работы Моне. Но это не помешало ему уже в мае следующего года поддаться сердечному порыву и выложить перед Дюран-Рюэлем 800 франков — так он стал обладателем знаменитой картины «Впечатление. Восход солнца».

Январь 1876 года, и снова неутешительное состояние

делового баланса.

Эрнест попытался переговорить с матерью, не скрывавшей своего неодобрения.

— Я еще могу спасти дело, но мне нужна помощь… — сказал он.

— Начни с того, чтобы изменить свой образ жизни! — отрезала она.

— Роттенбург — вот что меня разоряет! Но Алиса и слышать не желает о том, чтобы переехать из замка!

Что греха таить, он и сам ни на миг не допускал, что ему придется расстаться с этим маленьким дворцом, в котором он закатывал изысканные вечеринки и привечал художников, чью палитру особенно ценил. Так, несмотря на преследования кредиторов в том же самом году, он пригласил к себе Мане, который приехал вместе с женой и провел в роскоши Роттенбурга 20 дней. Сразу после его отъезда настал черед Моне. Правда, тот прибыл один. Камилла так и не удостоилась права проводить каникулы в Монжероне… Ведь маленький Жан, которому исполнилось девять лет, учился в школе-пансионе Фейета в Аржантее, и, как заявил его папа, очевидно, напрочь забывший, что сам когда-то предпочитал душному классу «школу природы», пропускать занятия ему ни в коем случае не следовало!

Монжерон… Для Моне это означало уютную мастерскую, расположенную в одном из парковых павильонов, работу в качестве художника-декоратора (Эрнест заказал ему несколько панно) и… присутствие Алисы, которая неизменно ввергала художника в легкое смятение.

Еще молодая женщина (ей было 32 года), Алиса, как свидетельствуют фотографии тех лет, уже утратила стройность фигуры, что неудивительно после рождения пятерых детей. Твердый взгляд, выдающий властность натуры, и привычка слегка кривить при разговоре рот, приподнимая правый уголок верхней губы, от чего лицо приобретало оттенок ироничной суровости. Одним словом, Алиса являла собой полную противоположность худощавой и неприметной Камилле.

Клод Моне познакомился с Алисой еще до своего приезда в замок. Так, она изображена на одной из его картин, написанной весной предыдущего года. На этом полотне она прогуливается по парку Монсо, держа в одной руке зонтик от солнца — невероятная для Моне деталь! — а другой ведя за собой свою младшую дочь Жермену — последний плод любви погрязшего в долгах торговца тканями и надменной владелицы замка.

Декабрь 1876 года. Эрнест Ошеде — в Париже, где пытается во что бы то ни стало возродить свое торговое дело, для чего

основывает новое акционерное общество. Камилла по-прежнему в Аржантее, мужественно борется с голодом и холодом: нам известно, что Моне просил своего румынского друга доктора де Беллио навестить ее и оставить ей взаймы небольшую сумму в сто франков. Следовательно, Алиса, Клод и пятеро маленьких Ошеде одни проводят время в замке Роттенбурга.

И происходит то, что и должно было произойти. Дама из богатой буржуазной семьи не смогла устоять перед обаянием художника, и девять месяцев спустя на свет появился маленький Жан Пьер.

Глава 9
МИШЕЛЬ

1877 год начался неудачно. Вернувшись в Аржантей, Моне обнаружил Камиллу совершенно больной. Из-за сильного жара она даже не вставала с постели. Он пишет своему другу Беллио: «На меня обрушились новые несчастья. Мало того, что я сижу без гроша, теперь вот еще и жена заболела, серьезно заболела — местный врач даже обращался к другому доктору. Я в ужасе, ведь от меня не скрывают, что болезнь тяжелая, и мы с женой будем счастливы, если вы дадите нам совет[30]. Врачи говорят об операции, но жена ее боится. Не могу сказать вам точное название болезни, но это что-то вроде язв на матке…»

1877 год начался крайне неудачно и в денежном отношении. Пока Камилла стонала от боли на своем узком ложе, Моне, вооружившись пером и бумагой, строчил письма. «Пробегал целый день, пытаясь занять денег, но безуспешно. Утром виделся с владельцем дома и только мольбой вырвал у него обещание подождать до понедельника. Да, в бедственном положении друзья становятся редки…»

Но вот один из парадоксов, столь характерных для Моне. Адресуя Мане письмо подобного содержания, он одновременно… снимает на улице Монсе, в доме номер 17, недалеко от вокзала Сен-Лазар, так называемую гарсоньерку, в которой намерен поработать над серией картин с изображением паровых машин. Для него наступил период увлечения паровозами — этими звероподобными творениями рук человеческих, такими черными и способными производить облака пара. Отметим, впрочем, что, когда встал вопрос об арендной плате за мастерскую в квартале Сен-Лазар (куда Клод перенес большое количество своих работ, спасая их от посягательства судебных исполнителей), судьба подарила ему встречу с еще одним благородным сердцем, Гюставом Кайботом, который явился ему своего рода воскресшим Базилем — «тот же светлый и спокойный ум и та же не боящаяся никаких испытаний честность»[31]. Кайбот работал инженером в судостроительной промышленности, следовательно, был человеком обеспеченным. С Моне он познакомился на реке, когда художник работал в своей плавучей мастерской в окрестностях Аржантея. Они понравились друг другу и вскоре стали плавать вместе. Кайбот увлекался рисованием, но настоящей его страстью было садоводство. Его семья владела старым домом в Верноне, что на правом берегу Сены, недалеко от Живерни.

Итак, 1877 год стал для Моне «годом паровозов». Из-под его кисти вышла целая серия «Видов на вокзал Сен-Лазар», и покупателей на эти работы долго ждать не пришлось. Дела его, в общем-то, шли совсем неплохо. В записной книжке, куда он заносил данные о проданных картинах, под 1877 годом значится сумма в 15 197 франков и 50 сантимов. Если он и продолжал клянчить деньги где только возможно, то лишь потому, что жил на широкую ногу. Моне жил не по средствам. Жан ходил в лучшую в Аржантее школу-пансион, которой руководил республиканец Фейет, готовивший своих питомцев к поступлению в Высшую школу искусств и ремесел. Сам он любил вкусно поесть и постоянно приглашал к своему столу друзей, носил шикарные пиджаки с воротником «шевалье», сорочки из тончайшего батиста с кружевными манжетами и жабо, кожаные сапоги высшего качества… Напрасно Камилла упрашивала его быть менее расточительным.

А вот для Эрнеста Ошеде настали совсем плохие времена. Его новое торговое предприятие так и не смогло встать на ноги, и 24 августа появилось официальное сообщение о полном банкротстве.

Не лучше чувствовала себя и Алиса. Будучи на сносях, охваченная паникой, она покидает Монжерон и садится в поезд, чтобы найти прибежище у одной из своих сестер в Биаррице. Но путь до Биаррица долог, очень долог. А вагон нещадно трясет. И вот, когда состав приблизился к Атлантическим Пиренеям, несчастная женщина поняла, что у нее начинаются схватки. Но Алиса не растерялась. Все-таки она рожала уже в шестой раз. Нетрудно вообразить, как все это происходило.

— А ну-ка, господа, освободите купе! Скорее, скорее, будьте так любезны! У дамы начинаются роды, дайте же ей вздохнуть!

Таким образом свидетельство о рождении Жан Пьера (сына Клода?) было получено в мэрии Биаррица, где мальчика записали под фамилией Ошеде. Но Жан Пьер всю свою жизнь был убежден, что является отпрыском художника. В Верноне, где он провел много лет, никто из соседей не сомневался в этом родстве, тем более что Жан Пьер старательно подчеркивал свое сходство с Моне.

Кстати, о сходстве. Достаточно положить рядом портреты Жан Пьера Ошеде и Жана Моне, чтобы отпали всякие сомнения.

Итак, Эрнест окончательно разорился, Алиса родила ребенка в вагоне поезда, а Клод — Клод писал огнедышащие паровозы. Камилла плакала. Ей было плохо. Она тяжело болела какой-то женской болезнью. Известно, что кроме врачей ее посетила и некая «фабрикантша ангелов» — так в те времена именовали женщин, занимавшихся подпольными абортами. Старания этой

умелицы не увенчались успехом. Преодолевая чудовищные боли, Камилла все-таки выносила второго ребенка, сына Мишеля, который родился в марте 1878 года.

Моне написал ее портрет: она сидит в кресле, держа в правой руке букетик фиалок. Камила выглядит красивой и желанной, но бледное лицо ее полно неизбывной печали. Знала ли она о любовных приключениях своего мужа в Монжероне?

Моне покажет «Женщину с букетом фиалок» на выставке импрессионистов, которая распахнет свои двери 4 апреля. На самом деле это будут двери частной квартиры в доме номер 6 по улице Ле-Пелетье, иначе говоря, в двух шагах от галереи Дюран-Рюэля, который, правда, в этом мероприятии не участвовал.

По случаю выставки Моне вновь увиделся с Писсарро, Сезанном, Дега, Ренуаром, Сислеем, Моризо; с любезным Кайботом и еще многими верными друзьями. Выставка превратилась в настоящий Салон — публика увидела более 230 полотен.

Салон отличался размахом, но и критики его не мелочились. Журналисты по-прежнему держали наготове свое разящее перо. Импрессионизм? Какая чудная мишень! Вот, например, как отозвался о выставке инспектор департамента изобразительных искусств Роже Баллю: «Счастливые собственной плодовитостью, господа Клод Моне и Сезанн выставили первый 30, а второй — 14 полотен. Чтобы представить себе, на что они похожи, их надо видеть. Они смехотворны и жалки. Они выдают полнейшее невежество их авторов в области рисунка, композиции и колорита. Даже дети, взяв забавы ради лист бумаги и коробку красок, рисуют лучше!»

«Картины Моне производят оглушительный эффект, — вторил ему критик „Монитер юниверсель“, ознакомившийся с „Видами на вокзал Сен-Лазар“. — Автор поставил своей целью воссоздать впечатление, которое производит на пассажиров грохот прибывающих и убывающих поездов!»

Барон Гримм, печатавшийся в «Фигаро», с ним полностью согласен: «В общем и целом Клоду Моне удалось точно передать то крайне неприятное впечатление, которое производит на нас одновременный свист нескольких паровозов».

Но Моне нет дела до зубоскалов. Он продолжает работать с неослабевающим упорством. Впрочем, жить-то надо, а значит, надо продавать картины. Продавать порой за бесценок. В этом году он, например, уступил сразу несколько своих работ, так сказать, оптом, всего за сотню франков. Столько зарабатывал в неделю чиновник средней руки.

В Аржантее Камилла, которая вела домашнюю бухгалтерию, с

ужасом взирала на стремительно растущее число нулей в колонке «Долги». И в это же самое время Моне нанимает двух слуг, приглашает подвернувшегося по случаю садовника и заказывает в Нарбонне и Бордо целые партии красного вина.

Но мотовство еще никого не доводило до добра. И вот в январе 1878 года, в те самые дни, когда до Моне дошла весть о том, что его друг Курбе, за активную поддержку Парижской коммуны и участие в ниспровержении Вандомской колонны — этого символа бонапартизма — сосланный в швейцарский город Ла-Тур-де-Пельц, близ Вевея, не пережил новогодней ночи[32], ему пришлось срочно покинуть Аржантей — на самом деле едва ли не бежать из Аржантея, тайно и крадучись, словно вор.

«До 15 января я вынужден отсюда убраться, и понятия не имею, куда направиться, — писал он своему новому другу Мюреру. — Камилла чувствует себя очень плохо, и мне во что бы то ни стало нужно оплатить последний счет за аренду…»

Мюрер — друг детства художника Гийомена, «был кондитером и владельцем маленького, но процветающего ресторана. Свое заведение он украсил картинами Писсарро и Ренуара и нередко приобретал у них новые полотна, расплачиваясь обедами»[33]. Живопись Моне ему тоже нравилась. Но, поскольку Мюрер и так уже помогал Писсарро, успевшему задолжать и булочнику, и мяснику, и бакалейщику, в то время как его жена ждала четвертого ребенка, Моне решил обратиться к врачу-румыну:

«Дорогой Беллио! Мне необходимо найти какое-нибудь жилье в Париже… Здоровье Камиллы никуда не годится…» Еще один крик о помощи он адресовал славному Шоке: «Не будете ли вы так любезны взять у меня пару-тройку образцов моей мазни? Цену назначьте сами, пятьдесят франков, сорок франков, сколько сможете… Долго ждать я не могу».

Не остался без внимания и Кайбот:

«У меня нет ни гроша, и нечем заплатить даже за перевозку мебели…»

Между тем здоровье Камиллы ухудшалось.

Итак, прощай, Аржантей! Преследуемое кредиторами семейство Моне перебралось в Париж. Здесь им удалось найти неплохую квартиру, сегодня мы сказали бы F5, в доме номер 26 по Эдинбургской улице — на полпути между скромной мастерской, которую Клод по-прежнему держал на улице Монсе, и парком Монсо. Дом находился в хорошем районе, но арендная плата оказалась не намного ниже, чем за дом в Аржантее.

Эдинбургская улица находилась в центре VIII округа, в двух шагах от вокзала Сен-Лазар, столь полюбившегося кисти Моне.

Рядом была Лиссабонская улица, где находилась мэрия — именно здесь состоялась регистрация рождения Мишеля — сына Клода Моне и его супруги Камиллы Донсье. Случилось это 17 марта. Повзрослевший Мишель Моне мог с гордостью рассказывать окружающим, что свидетелями этого события были сам Эдуар Мане и композитор Эммануэль Шабрие — два старинных приятеля отца. Эммануэль Шабрие любил живопись Эдуара Мане и вскоре проникся такой же симпатией к творчеству Клода. Проникся настолько глубоко, что спустя несколько дней после рождения Мишеля, раздумывая, во что бы вложить часть денег, полученных в наследство его женой, приобрел три полотна Моне — по сто франков за каждое. Признаем, что это было более чем выгодное помещение капитала.

Действительно, у хулимых музыкантов и художников той эпохи было определенное родство душ. Дега, например, восторгался Бизе, Сен-Сансом и Дебюсси; Базиль ни за что на свете не согласился бы пропустить концерт Падлу[34]; Сезанн и Ренуар с удовольствием слушали Вагнера, а Ренуар к тому же дружил с Шабрие, который, разумеется, купил у него несколько картин.

Однажды на вечеринке у Ренуара, когда закончился ужин, Шабрие подошел к фортепиано и предложил гостям и хозяину послушать сочиненную им мелодию.

— Я только что вернулся из Испании, — сказал он, — и эта вещь так и будет называться — «Испания». В общем, слушайте.

Вечер был теплый, и все окна в доме на улице Сен-Жорж держали широко распахнутыми. Так что концерт сам собой выплеснулся на улицу. Вскоре под окнами квартиры Ренуара собралась толпа парижан. Нечаянные зрители выкрикивали в такт музыке звонкое «О-ле!», а под конец разразились громом аплодисментов.

Все это очень не понравилось мадам Ренуар, в девичестве Алисе Шариго. Захлопнув ставни, она подошла к инструменту и со стуком опустила крышку рояля.

— Это просто смешно! — недовольно проговорила она. — Любительское искусство!

Итак, в семье Моне родился сын Мишель — крепкий и здоровый мальчик. Увы, его отец остался без денег. «У меня сейчас ни гроша, — писал он в одном из писем. — Не хватает даже самого необходимого. Не могли бы вы одолжить мне еще сто франков? Если в ближайшие дни вы приедете в Париж, я смогу расплатиться с вами живописью. Этим вы окажете мне огромную услугу…» Это письмо[35] он адресовал доктору Гаше — человеку удивительному во многих отношениях. Он жил в

городке Овер-сюр-Уаз, с двумя детьми и их гувернанткой, а еще с собаками, кошками, козой, черепахами.

Гаше был гравером. Среди знатоков он пользовался репутацией мастера офорта и в отличие от Базиля серьезно и с интересом изучал медицину. Базиль подружился с ним в те времена, когда молодые художники посещали кафе Гербуа. Впоследствии Гаше с готовностью подставлял плечо Писсарро, Домье, Ренуару, Сезанну и Моне, шла ли речь о лечении тела — ему, уже тогда применявшему методы гомеопатии, порой удавалось творить настоящие чудеса, — или о поддержке духа. Он охотно принимал художников в своем большом доме в Овере и постоянно покупал у них картины, давая им тем самым средства к существованию.

«Высокий, худой, рыжеволосый, с мефистофельскими чертами лица, подвижный настолько, что это напоминало пляску святого Витта»[36], Гаше врачевал не только тело и дух, но и душу — для Ван Гога, например, он стал кем-то вроде личного психоаналитика.

Моне стучит в дверь Гаше — и тот без звука вынимает бумажник. Моне стучит в дверь Кайбота, Мане, Беллио или Шоке — и каждый из них, пусть и поморщившись немного, отсчитывает пачку банкнот, кто потоньше, кто потолще. Вот это солидарность! И поколебать ее не мог даже несносный характер Моне, который полагал, что милосердие — личное дело каждого, и не испытывал ни малейших колебаний, если подворачивалась выгодная сделка. Друзья-художники нередко упрекали его за то, что он поспешно задешево распродавал свои картины во время групповых выставок, сбивая остальным цену.

Если уж мы заговорили о выставках, скажем, что в 1878 году импрессионисты не стали устраивать показа своих работ, справедливо рассудив, что он пройдет незамеченным на фоне грандиозного мероприятия — Всемирной выставки, которую 1 мая торжественно открыл на Марсовом поле предприимчивый генерал-президент Макмагон.

Позже Гамбетта горделиво заявит по поводу этой выставки:

— Франция еще поразит мир!

Что касается Моне, то его больше всего поразило обилие национальных флагов, сине-бело-красных полотнищ. Улица Монторгей! Улица Сен-Дени! И он навсегда запечатлел их праздничный облик на холсте. И чем, как не ослеплением, объяснить поведение Эрнеста Ошеде? Полностью разорившийся, он тем не менее наскреб сотню франков, чтобы выкупить у Моне «Улицу Сен-Дени», утопающую в трепетании триколоров.

Итак, Ошеде промотал все свое состояние, а его долги

достигли двух миллионов франков. Он запустил руку и в состояние жены и даже заложил замок Роттенбург. Неудивительно, что Алиса потребовала раздела имущества, — пока еще у нее оставалось хоть какое-то имущество.

Ее беспокойство понять нетрудно. Муж-банкрот, это еще куда ни шло, но как, скажите на милость, вырастить шестерых детей, старшей из которых, Марте, только что исполнилось 14 лет, а младшему, Жан Пьеру, нет и года?

Труднее постичь мотивы, двигавшие Эрнестом Ошеде. В самом деле, он приобретает «Улицу Сен-Дени» с ее бьющим через край республиканским оптимизмом, тогда как всего несколькими днями раньше вся его коллекция по решению синдика[37] отправилась на аукцион Друо, чтобы быть проданной с молотка. Аукцион явил собой жалкое зрелище — не из-за количества полотен (их насчитывалось более сотни) и не из-за их качества (одних только работ Моне была целая дюжина), а из-за суммы, которую за них удалось выручить. По словам Дюран-Рюэля, побывавшего на аукционе, большая часть картин была представлена публике вверх ногами. Когда аукционисту указали на это, он только отмахнулся — дескать, какой стороной их ни показывай, все равно понять ничего нельзя!

Да, Эрнест Ошеде может служить образцом весьма экстравагантного коммерсанта, как Клод Моне — образцом непостоянства, во всяком случае в ту пору. Судите сами. Не успев толком распаковать вещи в квартире на Эдинбургской улице, он уже чувствует непреодолимое желание натянуть сапоги, покидать в рюкзак коробки с красками и отправиться в поход — вдохнуть деревенского воздуха, насладиться чистотой света, одним словом, набраться новых впечатлений. Может быть, его толкало вперед неосознанное стремление бежать от себя самого? Не пытаясь проводить параллели между ним и Ван Гогом, этим вечным страдальцем, современный психолог, тем не менее, наверняка поставил бы свой диагноз: этот человек испытывал внутренний разлад.

Впрочем, попробуем набросать портрет Моне, каким он стал к 38 годам. Коренастый, пышущий здоровьем, с жесткой черной бородой. Талант буквально распирает его. Он уже написал около пяти сотен картин и почти все продал. В среднем он зарабатывает 1200 франков в месяц (что соответствует примерно 80 тысячам франков 1992 года). Разумеется, ему приходится идти на некоторые траты профессионального характера, покупать краски, подрамники, холсты, но эти расходы не могли достигать таких размеров, чтобы семья вечно перебивалась с хлеба на воду. К тому же, как бы ни обстояли дела, он всегда жил на широкую

ногу — держал прислугу, не ограничивал себя ни в деликатесах, ни в хорошей одежде.

Перебравшись в скором времени в Ветей — симпатичную деревушку, расположенную на берегу Сены в департаменте Иль-де-Франс, — он практически взял на себя содержание семьи Алисы и Эрнеста.

Он твердо стоял на ногах, Клод Моне — натура цельная, хоть и не лишенная противоречий. Эгоизм уживался в нем с щедростью, а сила — со слабостью. Как сказал о нем журналист «Голуа» Монжуайе, «он одинаково легко поддавался надежде и впадал в отчаяние».

Глава 10
НИЩЕТА

В наши дни Ветей принадлежит департаменту Валь-д'Уаз. Дом, в котором жил Моне, сохранился, почти не изменившись за минувшие сто лет. Это крепкая постройка, которую видишь на выезде из деревни, справа, если двигаться к шоссе номер 913, ведущему к городу Ларош-Гюйон. Дом стоит почти у самой дороги, «прижавшись» к известковой скале, защищающей его от северо-восточного ветра. А на склоне холма, в особняке, который местные жители называли Ле-Турель — «Башенки», потому что он был построен в неоготическом стиле, жила вдова Элиот, которой и принадлежал арендованный художником дом.

На другой стороне дороги, в те времена мощенной булыжником, находился фруктовый сад (его наличие отдельно оговаривалось в договоре аренды). Пройдя через сад, можно было оказаться на берегу Сены — здесь у Моне была плавучая мастерская. Жилье обходилось художнику совсем недорого — 50 франков в месяц (не сравнить с парижскими ценами!), но его комфорт, несмотря на шесть комнат, в том числе четыре спальни, оставлял желать много лучшего — ведь под крышей дома нашли приют тринадцать человек, и почти все они жили здесь безвыездно. В общем, теснота была такая, что Моне частенько впадал в отнюдь не ангельское настроение.

Для хранения готовых работ он оставил за собой маленькую мастерскую в столице. Правда, с улицы Монсе ее пришлось перенести на улицу Вентимиль, в дом номер 20, неподалеку от площади Клиши. Ежемесячная плата за двухкомнатную квартирку составляла 35 франков.

Тринадцать человек в небольшом домишке — это восемь членов семейства Ошеде, четверо Моне и кухарка Мадлена Бландар. И это не считая кормилицы Жан Пьера и Мишеля и учительницы для старших детей, в первое время — и не такое уж короткое — обитавших здесь же. Счастье еще, что рядом с домом находился вместительный сарай, за счет которого удалось хоть немного расширить жилое пространство.

Когда позволяла погода, Моне сбегал из этого муравейника на пленэр. Работал он как каторжный. На свет появлялось полотно за полотном — церковь, дворик фермы, деревенская дорога, берег Сены, еще одна церковь… И если сегодня Ветей — одно из излюбленных туристами мест, то благодарить за это он должен мужа Камиллы, запечатлевшего его виды на

многочисленных картинах.

Помимо видов Ветея он написал также несколько портретов. Так, 31 декабря 1878 года он преподнес Алисе в подарок прелестное маленькое полотно (41x33 см) с изображением толстощекого Жан Пьера. Сегодня эта картина известна под названием «Малыш Жан».

Вряд ли этот поступок оставил равнодушной Камиллу, и, если она дала волю ревности и слезам, нам нетрудно ее понять. И Моне, желая избежать семейной драмы, спешно пишет портрет Мишеля — десятимесячного карапуза, глядящего на нас с картины с недовольным видом маленького упрямца.

В Ветее бедняжке Камилле приходилось несладко. Красноречивые взгляды, которыми, как мы подозреваем, обменивались Алиса и Клод, не позволяли ей пребывать в счастливом неведении. Она и физически чувствовала себя плохо, так и не оправившись после рождения Мишеля. Однажды в конце сентября, устав бороться с болью и огорчениями, она раздобыла бутылку крепкой настойки и сильно напилась. Эта отчаянная попытка утопить в алкоголе, может, болезнь, а может, душевную муку едва не кончилась катастрофой — она слегла на два дня, в течение которых беспрерывно бредила.

Исхудавшая, печальная, она теперь целыми днями сидела в шезлонге, стоявшем с южной стороны дома, и, кутаясь в плед, глядела на дорогу на Ларош-Гюйон. Осенью Мишеля отняли от груди — мать слишком ослабела, чтобы его кормить, к тому же у нее теперь было, как тогда говорили, «дурное молоко».

«Я страшно за нее волнуюсь, — поделился Моне со своим другом доктором Беллио. — Она снова больна, а никаких лекарств у нас нет». Врач-румын сейчас же купил у него четыре или пять полотен, благодаря чему маленькая колония в Ветее на некоторое время получила средства для существования.

Между тем Моне надеяться на улучшение финансового положения не приходилось — критика по-прежнему воспринимала импрессионистов в штыки.

Доказательством тому стала выставка 1879 года. Моне согласился участвовать в ней скрепя сердце, буквально заставив себя прислушаться к доводам рассудка. Во-первых, он не хотел выглядеть предателем в глазах товарищей по группе, а во-вторых, рассчитывал продать хотя бы несколько полотен и начать выплачивать крупный заем, предоставленный ему Мане. Но, не имея желания на целый месяц — с 10 апреля по 10 мая — ехать в Париж, чтобы лично присутствовать на выставке, проходившей в доме 28 по улице Оперы, он просто-напросто отправил три десятка картин Кайботу.

«Предоставляю вам полное право развесить их, как вам заблагорассудится, — написал он в сопроводительном письме. — Я полностью вам доверяю…»

Таким образом, полотна Моне благодаря стараниям Кайбота оказались рядом с картинами Дега, Лебура, Писсарро, Мари Кассат и других мастеров. Всего в четвертом Салоне импрессионистов приняли участие 28 художников.

Можно представить себе, с каким нетерпением ожидал этой выставки критик «Фигаро» г-н Вольф. Должно быть, он потирал руки в предвкушении — то-то будет повод посмеяться!

И, как всегда, мишенью его насмешек стал Клод Моне:

«Он выставил на Салоне около 30 пейзажей, похоже, написанных за один день. Теперь можно сказать с уверенностью: он стал таким ничтожеством, что уже никогда не поднимется…»

Но по-настоящему сокрушительный удар Моне получил несколькими неделями позже, когда узнал, что даже Золя — его друг Золя! — разделяет мнение Вольфа. «Боюсь, — сказал он в интервью журналисту „Посланца Европы“ в Санкт-Петербурге, — что Моне, работая слишком торопливо, исчерпал себя. Он довольствуется приблизительным и не изучает природу с той страстью, которая отличает подлинного творца…» Это было уже слишком!

В результате для Клода Моне — в искусстве мастера самой тонкой и нежной палитры, а в жизни — образца твердокаменной неуступчивости — наступила черная полоса. Он впал в тяжелейшую депрессию. Жизнь не удалась, все потеряло смысл. Самое ужасное, что у него пропала всякая охота работать. Изредка он обращался с письмами к друзьям и кредиторам, но с единственной целью — чтобы просить их потерпеть еще. Ярким тому свидетельством служит письмо от 14 мая 1879 года, отправленное из Ветея Мане — его любимому другу Мане.

«…Предпочитаю прямо признаться вам, — говорится в этом письме, — что в настоящий момент не имею ни малейшей возможности выслать вам хоть какую-то сумму денег. Я нахожусь в чудовищно стесненных обстоятельствах, неприятностей по горло, а та мелочь, что удалось за последнее время заработать, вся целиком ушла на лекарства и врачей, потому что жена и младший ребенок без конца болеют… Так что я совершенно уничтожен, подавлен, о живописи и думать не могу без содрогания, потому что понимаю: мне теперь до конца дней своих суждено прозябать в нищете, не имея никакой надежды на успех…»

Он не просто потерял интерес к работе. Случалось, что он собственными руками уничтожал готовые картины. Мы знаем это

совершенно точно благодаря одному из писем Кайбота:

«Дорогой друг! Я только что получил два ваших холста, но они оба изодраны. Уж не вы ли это над ними учинили? Простите, но я отдал оба в реставрацию…»

Впоследствии Моне нередко будет поступать аналогичным образом, правда, не от отчаяния, а из-за недовольства собой, что всегда вызывало у него вспышки яростного гнева.

Можно не говорить, что в подобных обстоятельствах атмосфера в доме в Ветее вряд ли отличалась жизнерадостностью. Моне пребывал в самом мрачном расположении духа и обижался на каждый взгляд, каждое брошенное вскользь слово; Камилла страдала от боли, время от времени оглашая стонами весь дом; пятеро старших детей — пятнадцатилетняя Марта, четырнадцатилетняя Бланш, одиннадцатилетние Сюзанна и Жан и десятилетний Жак — крутились у взрослых под ногами и затевали шумные игры, а трое младших — шестилетняя Жермена, двухлетний Жан Пьер и годовалый Мишель — вечно хныкали и ныли. Хорошо еще, что с ними была Алиса — женщина с твердым характером, не привыкшая сгибаться под ударами судьбы. Она следила за порядком в доме, а вскоре взяла на себя и обязанности поварихи, ибо кухарка, устав ждать обещанной платы, отказалась от места и… вышла замуж за соседского парня. Алиса умела делать все и с легкостью меняла роли кормилицы, учительницы музыки или арифметики, а по ночам, что вполне вероятно, превращалась в пылкую возлюбленную и дарила художнику утешение в его горестях. По счастью, Эрнест появлялся в Ветее все реже и реже. Большую часть времени он проводил в Париже, где мать сняла ему однокомнатную квартиру. На жизнь он теперь зарабатывал — если это можно назвать заработком — тем, что сочинял коротенькие заметки для пары-тройки газетенок, специализировавшихся на торговле произведениями искусства.

Именно в эти дни до бывшего богача наконец дошло, что отношения, сложившиеся между Алисой и Клодом, давно вышли за грань чисто дружеских. Впрочем, Алиса никогда не отказывала себе в удовольствии лишний раз подчеркнуть, что во всех случившихся несчастьях виноват только он, Эрнест. Кто, как не он, довел семью до катастрофы? Или он уже забыл, к какой жизни она привыкла в Роттенбурге?

Даниель Вильденштейн, внимательно изучивший письма Алисы Эрнесту[38], отмечает, что ни в одном из них ни разу не встречается ни одного ласкового слова. Никаких вам «милый» — отныне Эрнест имеет право лишь на обращение «дорогой друг».

«Что же, — пишет она в одном из таких писем, — я принимаю

твое решение окончательно бросить меня. Если ты сумеешь преуспеть, тем лучше». Чуть ниже она добавляет: «Помимо заботы о детях и бесконечных занятий с ними музыкой, все мое время поглощает страшная болезнь г-жи Моне».

На самом деле подлинным «отцом семейства» в эти нелегкие годы была именно она, Алиса, и только на ней держался весь дом.

Не склонная к сантиментам, порой излишне суровая — как еще она поддалась обаянию Моне?! — Алиса, воспитанная в строгом религиозном духе, не могла не понимать, что дни Камиллы сочтены, и делала все возможное, чтобы помочь несчастной переносить мучительную боль. Если состояние больной того требовало, она всю ночь сидела у ее постели.

А состояние Камиллы требовало этого все чаще.

Болезнь, начавшаяся еще до рождения Мишеля, теперь прогрессировала устрашающими темпами.

Гинеколог, которому мы описали симптомы, определил, что, скорее всего, у нее была злокачественная опухоль матки.

В июне 1879 года г-жа Элиотт — владелица дома в Ветее и ближайшая соседка семейства Моне (напомним, что она жила совсем неподалеку, в «Башенках») — тоже тяжело заболела. Навещать ее приезжал доктор Тиши, и Алиса поспешила воспользоваться его визитами, чтобы получить хоть какие-то рецепты для Камиллы. Увы, этот врач, практиковавший в Ларош-Гюйоне, мог констатировать лишь одно: сделать ничего нельзя. Лечение? Только сильные обезболивающие.

Может быть, поместить Камиллу в больницу? В Мант или, скажем, в центральный госпиталь Вернона-сюр-Сен? Последнее заведение, рассчитанное на 277 коек, считалось тогда самым современным на весь район. Да, но где взять денег на оплату больничного счета?..

— Г-жа Моне не получала должного ухода, — заявил художник Леон Пелтье, живший тогда в Ветее.

Впрочем, что мог знать этот славный человек, пусть и разбиравшийся в живописи, о той страшной болезни, что пожирала внутренности несчастной и еще не старой Камиллы?

Открытие радия состоялось лишь 20 лет спустя. Для лечения некоторых начальных форм рака тогда применяли низкочастотные токи высокого напряжения, но и эта методика делала лишь первые робкие шаги. Между тем Камилла болела давно, и заболевание успело перейти в последнюю стадию. К августу метастазы поразили и пищеварительную систему. Перепуганный Моне писал доктору Беллио:

«У нее уже не осталось сил не только ходить, но и стоять.

Мало того, она уже не может принимать никакой пищи, хотя голод испытывает. Нам приходится постоянно дежурить у ее постели, ловя ее малейшее желание в надежде уменьшить ее страдания. Самое печальное, что мы не в состоянии исполнять все ее минутные капризы, потому что у нас совсем нет денег. Вот уже месяц как я не пишу, потому что у меня закончились краски. Но все это не имеет никакого значения. Что меня по-настоящему ужасает, так это вид моей несчастной жены, из которой уходит жизнь, а тяжелее всего — видеть ее мучения и понимать, что ты не в силах ничем ей помочь. Кровотечения у нее прекратились, но она теряет много жидкости; похоже, язва у нее зажила, но метрит и диспепсия[39] продолжаются. Живот вздут, ноги опухли, часто отекает лицо. И при этом постоянная рвота, от которой она задыхается. Она совершенно обессилела, и я не представляю, как она все это переносит. Если вы можете по моему описанию дать нам какой-нибудь совет, мы будем вам бесконечно признательны и исполним все досконально. Но я также обращаюсь, дорогой г-н Беллио, и к щедрости вашего кошелька. Лишняя сотня франков позволит мне купить холсты и краски, отсутствие которых не дает мне работать…»

Лето в Ветее клонилось к осени. Небеса опускались все ниже. По утрам над Сеной плыл легкий туман. Дети проводили время в саду. Марта и Бланш собирали созревшие плоды, а Сюзанна с Жаком рвали траву одуванчиков — ими кормили кроликов (Моне обожал рагу из кролика). Малышка Жермена, в простом крестьянском платьице, носила сухие хлебные корки в курятник — еще один источник пропитания для многочисленного и вечно голодного семейства.

Алиса теперь ни на минуту не отходила от постели Камиллы. Ночь прошла очень плохо. Они посоветовались с Клодом и решили: пора вызывать деревенского кюре, аббата Амори. На календаре значилось 31 августа.

Ждать священника долго не пришлось — его дом находился неподалеку от жилища умирающей. Он пришел принять последнее причастие, но для него нашлось и еще одно важное дело. Алиса, которая явно задавала тон в семье, потребовала, чтобы Клод и Камилла, в свое время не сочетавшиеся церковным браком, заключили союз перед Господом. Тогда им останется лишь ожидать христианской кончины.

В церковном архиве прихода Ветей хранится запись о том, что 31 августа 1879 года аббат Амори «обвенчал Клода Оскара Моне и находящуюся при смерти Камиллу Леонию Донсье». После этого он мог приступить к соборованию. Психологический эффект этого таинства широко известен. Даже самые тяжелые

больные после него чувствуют облегчение.

И в самом деле, Камилле вроде бы стало чуть лучше. Правда, невероятная слабость не давала ей даже разлепить веки, но хотя бы она перестала плакать. Новый приступ, страшнее всех предыдущих, случился утром 3 сентября. Священный елей больше не действовал. Камилла выла от боли и призывала смерть. Смерть, которая настигла «Даму в зеленом», «Женщину в саду», «Японку», «Камиллу с собачкой» в Ветее в пятницу 5 сентября, в половине одиннадцатого утра.

«Несчастная страшно страдала, ее агония была долгой и ужасной, и она до последней минуты сохраняла ясность сознания. У меня сердце разрывалось, глядя, как она прощается с детьми», — писала Алиса[40] свекрови. Трудно отделаться от ощущения необычайности всей этой ситуации. Ведь в конечном счете Камилла скончалась на руках соперницы! Маловероятно, что она не догадывалась о тайной связи своего мужа с Алисой, и, как знать, может быть, ей не раз приходилось быть свидетельницей сцен, не предназначенных для посторонних глаз.

Сборами покойной — Камилле было 32 года — в последний путь занялась она же, Алиса. Моне тем временем вооружился гусиным пером — инструментом, которым он владел в совершенстве, — чтобы написать письмо доктору де Беллио. В нем он просил друга оказать ему еще одну, очередную, любезность — срочно посетить ломбард, выкупить любимый медальон Камиллы и как можно скорее прислать его в Ветей. Он хотел бы, поясняет автор письма, надеть это украшение ей на шею — пусть она унесет его с собой в могилу.

В последующие часы Моне полностью утратил контроль над собой. Его охватило лихорадочное возбуждение, которому он был не в силах противостоять.

…Известно, что историк Мишле, потерявший первую жену, через три месяца после похорон заставил выкопать тело, чтобы взглянуть на нее еще раз. Еще раньше нечто подобное совершил Дантон. Через неделю после погребения возлюбленной он раскопал могилу, извлек уже начавшее разлагаться обезображенное тело и стал «покрывать его страстными поцелуями, не желая отдавать червям». Нет, Моне не дошел до подобного безумия, но не смог устоять перед болезненным желанием принести в комнату умершей мольберт и запечатлеть на холсте (размером 90x68 см) ее безжизненные черты.

Позже во время одной из бесед с Клемансо он пытался оправдаться:

— Я вдруг осознал, что стою, уставившись на ее висок, и машинально ищу переход живого цвета в мертвый… Синий,

желтый, серый, не знаю какой еще… Вот до чего я докатился. Все это происходило помимо меня, автоматически. Сначала шок и дрожь от созерцания этого цвета, а потом чистый рефлекс, бессознательное стремление делать то, что я привык делать всю свою жизнь…

Неудивительно, что это полотно, сегодня выставленное в Зале для игры в мяч, долгое время оставалось недоступным широкой публике.

Да, Моне повел себя как истинный художник, изучающий оттенки фиолетового, характерные для трупа, и превращающий лицо умершей в розовато-лиловую симфонию, но кисть его двигалась нервно, мазок местами ложился грубо, и мы не можем отделаться от мысли, что во всем этом было что-то от некрофилии.

Для организации похорон обратились в благотворительную организацию. Люди, работавшие в ней, входили в Братство милосердия и представляли собой добровольных гробовщиков. Согласно исторической традиции они носили яркие и пестрые одежды — в давнем прошлом, когда члены Братства занимались погребением умерших от чумы, их необычный наряд служил прохожим предупреждением: держись от нас подальше, не то заразишься. С той же целью каждый из них имел при себе «трещотку» — несложный инструмент, заставлявший непрерывно тренькать колокольчики, настроенные на две ноты — соль и ля. Членов Братства во все времена отличали личная отвага и благородство.

В воскресенье 7 сентября, около двух часов пополудни, погребальная процессия с прахом Камиллы медленно двигалась в сторону небольшого местного кладбища. Всего несколько сотен метров, отделявших погост от владения г-жи Элиотт. Кладбище располагалось на склоне невысокого холма, но добровольные помощники, несшие гроб, нисколько не запыхались, поднимаясь наверх, — бедняжка Камилла перед смертью совсем истаяла. В самом конце аллеи, тянувшейся вдоль кладбищенской ограды, их ждала вырытая в земле могила. Ни надгробия, ни памятника… Аббат Амори прочитал заупокойную молитву.

Пройдет немного времени, и могила Камиллы Донсье зарастет сорной травой, которую никто на свете не позаботится вырвать… Впрочем, нет. Мадлена Бландар — бывшая кухарка, а позже жена штукатура Огюста Ловре, навещая могилы родных, будет иногда заглядывать и сюда, к «бедняжечке госпоже Моне». Но все равно чугунная ограда вскоре покроется ржавчиной, а затем и вовсе рухнет. И тогда уже ничто не напомнит здесь о Камилле.

Заросли чертополоха да пара хилых елочек, выросших неизвестно как, — вот и все, что от нее осталось. Бедная Камилла!

Хорошо еще, что на могилах ее соседей по вечности пышно разрослась лаванда. И в ветреные дни душистые ветки ласково склоняются над ней, даря последнее утешение…

Глава 11
ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Признаемся, мы немного сгустили краски. Все то время, что семья продолжала жить в Ветее, Марта, Бланш и Сюзанна («большие девочки», как называли их дома) регулярно заглядывали на кладбище и приносили упокоившейся Камилле букетики цветов. Весной 1881 года они посадили на ее могиле фиалки.

Но до прихода этой весны еще надо было пережить кошмарную зиму 1879/80 года. Мороз стоял жестокий. В тот год, как и в 1709, 1768, 1776, 1789-м, а также в 1859 и 1877 годах, Сена от самого истока в Лангре до устья покрылась толстым слоем льда. В такие редкие по суровости зимы ртутный столбик термометра мог за одну ночь упасть так резко, что река замерзала буквально за несколько часов, а плавающие по ней суда едва успевали добраться до гавани.

8 декабря 1879 года на Ветей обрушился снегопад. Толщина снегового покрова достигла 40 сантиметров! 10 декабря один из соседей, некий буржуа из Вернона, отметил, что температура упала до минус 25 градусов. Он же записал в своем дневнике, что «река[41] гонит кривые льдины».

Нетрудно представить себе, во что превратилась жизнь семейства Моне-Ошеде в заснеженном Ветее. Дороги сделались непроходимыми. Клод больше не мог уезжать в Париж, чтобы продать очередную картину. С едой стало совсем худо. А тут еще детвора дружно заболела ангиной и — этого еще не хватало! — вдруг объявился недовольный Эрнест. Выбрал время, ничего не скажешь! Но если он и надеялся привести Алису в смущение, то просчитался.

Она уже прочно вошла в роль хозяйки дома. И Эрнест не имел к этому дому никакого отношения!

Правда, перед соседями Клод и Алиса старались соблюдать внешние приличия. Редкие посещения еще давали Эрнесту право считаться «настоящим мужем». При посторонних Алиса обращалась к Моне исключительно на «вы» и называла его «месье»; он отвечал ей тем же. Но на самом деле вся эта комедия мало кого вводила в заблуждение.

Эрнест умолял ее:

— Возвращайся ко мне!

— А что мы без него станем делать? — сухо отвечала она. — Что мы будем есть? Чем топить дом? — И добавляла: — Да, у нас

мало денег, но он хотя бы работает!

Что касается Эрнеста, то он, долгие годы живший в роскоши и праздности, судя по всему, так и не осознал до конца, что полностью разорен и погряз в долгах. Если мать иногда давала ему какие-то деньги, он тратил их мгновенно, не задумываясь о том, что будет дальше.

Его донимали кредиторы. Кое-кто из них даже заявлялся в Ветей с требованием немедленно вернуть деньги и угрозами. Однажды, когда в столовой находилась только Марта, один такой заимодавец ворвался в дом и обратился к испуганной девочке:

— Господин Ошеде дома? Или мадам? Я хочу их видеть!

— Мама наверху, — пролепетала та. — Сейчас я ее позову…

— Сегодня я не в состоянии уплатить вам ничего, сударь, — спокойно объяснила вызванная дочерью Алиса, — потому что у меня ничего нет.

— Ах так! Ну вы обо мне еще услышите! И гораздо раньше, чем думаете! — побелев от ярости, крикнул тот.

И, бросившись к стоящему рядом пианино, схватил вазу с роскошным букетом цветов, которые так любил Моне, и грохнул ею прямо по клавишам.

— Нам потом пришлось ремонтировать инструмент, — гораздо позже с улыбкой вспоминала Марта.

Конец года в Ветее ознаменовался не только холодом, но и голодом. Хуже того: перед ними замаячила угроза выселения. Слишком уж они затянули с арендной платой за дом. Значит, надо писать! Надо продавать, и как можно быстрее! В списке покупателей фигурируют все те же имена — Беллио, певец Фор, Кайбот, Шоке. Верные поклонники. В доме теперь не осталось даже постельного белья — хозяин прачечной наложил «арест» на сданные в стирку простыни и не собирался их возвращать, пока не будут оплачены все счета.

Бакалейщик отказал в кредите. В сочельник 24 декабря 1879 года дети даже не стали выставлять свои стоптанные башмаки перед камином. Они понимали, что подарков ждать неоткуда. Камин, правда, еще топился, но лишь благодаря Алисе, которая лично заготавливала для него дрова. В отличие от хрупкой и слабенькой Камиллы она была женщиной сильной и крепкой. И умело орудовала пилой и топором.

— Видите, как хорошо, — шутливо говорил ей местный лесник. — Одними и теми же дровами вы греетесь дважды!

И Алиса щедрой рукой швыряла в ненасытный огонь все новые поленья. Еще бы, мороз на улице стоял страшенный. Достаточно сказать, что теперь ничего не стоило пешком добраться из Ветея до расположенного на противоположном

берегу Лавакура, настолько прочный лед сковал Сену.

Моне использовал зимнюю погоду по-своему и написал небольшой цикл картин под общим названием «Снегопад».

Но вот настала ночь с 4 на 5 января. На протяжении трех-четырех последних дней стояла оттепель. И даже шел дождь, поэтому снег, как говорят жители гор, превратился в «суп».

Часы показывали пять утра. Вдруг раздался стук — кто-то колотил в ставни первого этажа. До обитателей дома донесся испуганный женский голос:

— Господин Моне! Господин Моне! Скорее! Идите сюда! Конец света!

Моне сразу узнал голос Мадлены, бывшей кухарки, а теперь просто соседки. Выскочив на улицу, он ничего не увидел. Зато он услышал. Со стороны реки доносился грохот, словно взвыли трубы Апокалипсиса. Грохот все нарастал. Пересиливая его, с левого берега, из Лавакура, доносились отчаянные вопли людей. Это был ледоход. Сена взломала свою ледяную тюрьму.

Из-за резкого потепления вода подо льдом пришла в движение, закипела, словно лава. Лед пошел трещинами. Огромные глыбы с адским грохотом неслись по реке. Но ее русло оказалось для этого слишком узким, и вот вода выплеснулась на берег, сметая на своем пути рыбацкие хижины и лодки, заливая поля и сады и заставляя насмерть перепуганных фермеров спасаться бегством.

— Это конец света, господин Моне! Это конец света! — всхлипывала Мадлена.

К семи часам утра, когда забрезжили первые лучи рассвета, понемногу стал вырисовываться масштаб разрушений. Люди взирали на результаты бедствия и считали погибших. Ибо без жертв не обошлось.

Ну а Моне уже стоял за мольбертом и, забыв обо всем на свете, писал льдины на берегу Лавакура. Впоследствии им суждено было послужить сюжетом почти двух десятков картин.

«У нас тут, дорогой господин Беллио, случился ужасный ледоход, — писал он в следующий четверг. — Я попытался кое-что из этого сделать, что и покажу вам в свой следующий приезд».

К разочарованию жителей деревни, уставших дрожать от холода, оттепель продлилась недолго. Глыбы льда, загромоздившие берега реки, не спешили таять. Действительно, листая местные газеты той поры, убеждаешься, что столбик термометра снова резко упал. Так, 24 января Т. Бутль, издатель газеты, выходившей в Верноне-сюр-Сен, то есть в четырех лье ниже по течению от Ветея, отмечал, что в тот день мороз достиг минус 13 градусов.

24 января! В тот холодный день парижская газета «Голуа» опубликовала статью, призванную разгорячить воображение читателей. Статья, выдержанная в жанре «объявления», вышла за подписью «Весь Париж» и явно имела целью внести раздор в лагерь импрессионистов. Как мы вскоре убедимся, писака, накропавший этот опус, располагал достоверной информацией. Итак, он сообщал — не без иронии, что Моне отказался участвовать в выставке своей группы, зато, не боясь обвинений в предательстве, согласился показать свои работы на Салоне во Дворце промышленности.

«Импрессионистская школа имеет честь сообщить вам о тяжелой утрате, понесенной ею в лице г-на Клода Моне — одного из признанных мэтров направления.

Панихида по г-ну Клоду Моне состоится 1 мая в 10 часов утра, на следующий день после открытия вернисажа, в церкви Дворца промышленности, в Салоне г-на Кабанеля. Просьба ко всем желающим воздержаться от появления на церемонии. De Profundis[42].

От имени главы школы г-на Дега: преемник покойного г-н Раффаэлли; мисс Кассат; г-н Кайбот; г-н Писсарро; г-н Луи Форен; г-н Бракмон; г-н Руар — бывшие друзья, бывшие ученики и бывшие соратники». Продолжение статьи выдержано в обманчиво сочувственном тоне: «Сорок лет; черные, спускающиеся на лоб волосы; густая борода; небольшая фетровая шляпа коричневого цвета, небрежно сдвинутая на затылок; неизменная трубка в зубах — таков портрет Клода Моне, выдающегося импрессиониста, в ближайшие дни намеренного дезертировать из дружественного лагеря». Читая дальше, мы понимаем, что в качестве информатора автор использовал кого-то из близкого окружения художника: «В настоящее время он живет в компании разорившегося мецената, который, собственно говоря, и разорился-то — какая любезность с его стороны! — приобретая по сногсшибательным ценам импрессионистские полотна недоучившихся художников, изгнанных из серьезных мастерских. Отныне, когда его любовь к искусству волей-неволей приобрела характер платонической, этот господин влачит свои дни в мастерской Моне, который его кормит, одевает, дает ему кров и… терпит его общество».

Реакция Моне не заставила себя ждать, что вполне объяснимо. Выбрав из своего арсенала самое остро отточенное гусиное перо, он пишет редактору «Голуа» крайне сухое письмо, в котором требует поместить в газете опровержение. Однако газета ограничилась тем, что в номере от 29 января опубликовала

коротенькую заметку: «Г-н Клод Моне возмущен статьей, в которой наш сотрудник представил г-на Ошеде живущим на средства художника-импрессиониста, и обращается к нам с просьбой опровергнуть это заявление. Что мы и делаем».

Но в том, что касалось «предательства» затворника из Ветея, писака из «Голуа» нисколько не погрешил против истины. Пятая выставка импрессионистов действительно прошла с 1 по 30 апреля на улице Пирамид, и в ней приняли участие около 20 художников, в том числе Дега, Гоген, Кайбот, Гийомен, Лебур, Писсарро, Берта Моризо. Но Моне мы среди них не найдем! В эти дни он спешно заканчивал отделку двух полотен, которые намеревался выставить на официальном Салоне — разумеется, при условии, что жюри их примет. Речь шла о «Лавакуре» и «Льдинах».

Слишком холодные — так оценило жюри «Льдины» Моне. Правда, второе полотно все же получило его одобрение, несмотря на то, что под картиной значилось имя «беспокойного Моне», художника, имевшего репутацию «любителя распалять страсти».

30 апреля Клод на вернисаже не появился. Во-первых, он в очередной раз сидел совсем без денег, а во-вторых, всерьез опасался, что перед ним и в самом деле разыграют комедию с «похоронами», о которой писали газеты.

Когда он все-таки пришел на Салон, то обнаружил, что его «Лавакур» висит в 15-м зале, то есть возле самого входа, где ни один посетитель не задерживается, да к тому же под самым потолком, где картину просто не разглядеть. Впрочем, кое-кто ее все же разглядел. А именно маркиз де Шенневьер, бывший директор Школы изящных искусств, который в своем отчете о выставке, заказанном «Газет», написал: «Пронизанная светом атмосфера „Лавакура“ превращает все соседствующие с ним пейзажи, вывешенные в этом же зале, в темные пятна».

Напомним, что в те времена не существовало осветительных приборов направленного действия, которыми сегодня оснащают выставочные залы, и картина, висящая в темном углу, действительно казалась черным пятном — если, конечно, не светилась собственным светом.

Итак, всего одно полотно на Салоне? Но Моне не спешил расстраиваться по этому поводу. У него возник грандиозный план — организовать первую персональную выставку. Инициаторами этого замысла выступили три человека: издатель Флобера, Мопассана и Золя Жорж Шарпантье, недавно выпустивший первый номер иллюстрированной газеты «Ви модерн»; главный редактор этого издания Эмиль Бержера; наконец, критик Теодор Дюре, опубликовавший несколько брошюр, посвященных

импрессионизму, и восхищавшийся творчеством Моне. Справедливости ради к их числу следует прибавить и четвертого, этим четвертым был Ренуар. Ведь это именно он познакомил Клода с Шарпантье и его женой Маргаритой, хозяйкой известного в артистических кругах Салона на улице Гренель, в доме номер 11. Она принимала у себя всех тех, о ком говорил Париж, начиная с писателей, которых издавал ее муж, и заканчивая политиками и художниками. Особенно она выделяла Ренуара. Впрочем, стоило ей познакомиться с Моне, как она стала и его горячей поклонницей.

Выставка открылась 7 июня в небольшой галерее на Итальянском бульваре, в доме номер 7 — там же, где помещалась редакция газеты, руководимой Бержера. Моне отобрал для нее 18 работ, в том числе «Льдины» (она же «Ледоход»), отвергнутые Дворцом промышленности. Еще один повод показать, что он чихал на мнение седобородых старцев из жюри! Составление каталога взял на себя Дюре. «Клод Моне, — говорится в нем, — это художник, который после Коро сумел привнести в искусство пейзажа больше всех новизны и оригинальности. Если классифицировать художников по степени их самобытности и непредсказуемости, то мы без колебаний отдадим Моне место одного из мэтров…»

22 июня Моне получил от Маргариты Шарпантье письмо следующего содержания:

«Милостивый государь! Я знаю, что мой муж горячо желает иметь вашу большую картину „Ледоход“, и мне хотелось бы преподнести ему ее в подарок, приобретя на собственные средства. Я терпеть не могу торговаться, особенно с человеком вашего таланта, но я не в состоянии уплатить за нее две тысячи франков. Поскольку вы ее еще не продали, может быть, вы согласитесь на мои условия: полторы тысячи франков, выплаченные в три приема?»

Позвольте, позвольте, уж не сон ли это? До сих пор Моне предлагал будущим покупателям свои работы за двести, сто, а то и за пятьдесят франков. И вдруг — две тысячи! И даже с учетом уступки г-же Шарпантье «Ледоход», написанный на берегу одного из рукавов Сены, станет его первой картиной, проданной так дорого.

Стоит ли говорить, что эти полторы тысячи франков пришлись как нельзя более кстати?

Во-первых, потому, что в узком кругу ценителей живописи немедленно разнеслась весть о том, что Моне начал высоко котироваться. Во-вторых, потому, что Алиса смогла оплатить несколько самых срочных счетов.

И вот, вернувшись в Ветей, он пишет Шарпантье: «На днях ко мне заявился, потрясая гербовой бумагой, один давний кредитор. Я предложил ему в уплату те 500 франков, что вы должны передать мне в апреле. Если для вас это не имеет особого значения, хочу попросить вас, когда к вам придет некий г-н Латурт и скажет, что он от меня, будьте добры выдать ему эти самые 500 франков…»

Нам кажется, что он слишком небрежно обращается со своими друзьями? Что ж, таков его характер!

Написал он и Дюре: «Я много и успешно работаю… В один из ближайших дней собираюсь кое-что отправить вам в память о выставке, в устройстве которой вы приняли столь доблестное участие…»

Значит, он все же умел быть благодарным.

Неужели его черная полоса наконец-то подошла к концу? Увы, очень скоро ему пришлось на собственном опыте убедиться, что нет пророка в своем отечестве. Один из его родственников, Поль Эжен Лекадр, пригласил его участвовать в августовском Салоне живописи, организованном муниципальным обществом друзей искусства в Гавре. Он согласился и послал на выставку три свои картины. У местной публики они вызвали только раздражение и насмешку. Возможно, жители Гавра, не забывшие те времена, когда он подписывал свои работы как Оскар Моне, так и не простили ему измены жанру карикатуры.

Журналист по имени Сок даже выпустил в него свою отравленную стрелу, так отозвавшись о картине «Грушевое дерево в цвету»:

«Это теперь называется весна? Я бы скорее сказал, что это суп „прентаньер“!»

Лето близилось к концу, а Клод по-прежнему жил в Нормандии. Вместе с братом Леоном, составившим ему компанию, он отправился писать этюды в Птит-Даль — небольшую живописную деревушку, расположенную на морском побережье, в области Ко. Впоследствии он часто будет сюда возвращаться. Оттуда — назад, в Ветей, к Алисе и детям и… к очередным кредиторам.

«Дорогой Беллио! Мне только что передали ваше письмо с переводом на 300 франков. Успеваю только сказать вам спасибо, потому что почта уже уходит…»[43] Значит, денежные проблемы не исчезли, и он по-прежнему нуждается в поддержке друзей. На Эрнеста надежды мало — его положение нисколько не улучшилось. С огромным трудом ему удалось найти место редактора журнала «Ар де ля мод», но после подготовки первого же номера его немедленно уволили. После смерти матери Эжени

Онорины, прожившей 67 лет, он получил неплохое наследство, но этих денег все равно не хватило, чтобы расплатиться с долгами. При этом Эрнест Ошеде так и не смирился с потерей Алисы. Почему она его бросила? Понять этого он так и не смог.

И продолжал засыпать ее письмами, в которых звучал все тот же навязчивый мотив: «Вернись!»

Глава 12
ПАПА МОНЕ

Наступил 1881 год — год, в который обществу удалось наконец отстоять свое право на свободу прессы. Моне стал заядлым читателем газет. Вскоре он подпишется на «Ленкс» (редакция располагалась на улице Лафонтена) и «Ли ту» (бульвар Монмартр). Эти два издания, подобно «Аргусу прессы», не только освещали подробнейшим образом все происходящее в мире изобразительных искусств, но и высылали подписчикам вырезки.

Именно в 1881 году Верлен опубликовал свою «Мудрость», а Ибсен — своих «Призраков»; Роден закончил работу над «Мыслителем», Ренуар написал знаменитый «Завтрак лодочников». В США Томас Эдисон счастливо потирал руки: лампа накаливания, над которой он трудился все последнее время, выдержала тысячу часов беспрерывной работы. Благодаря изобретателю художники очень скоро смогут продолжать писать картины и по окончании светового дня. Конечно, существовало и газовое освещение, но оно слишком деформировало краски. Что касается Моне, то он так никогда и не поддастся соблазну писать при электрическом освещении. Он всегда жил, повинуясь солнечному ритму. Вот что рассказывает о нем Саш***а*** Гитри: «Зимой и летом он вставал вместе с солнцем. Спать он ложился так же вместе с ним. Он никогда не закрывал окон своей спальни ни ставнями, ни занавесками, так что будили его первые лучи солнца. Поднявшись, он съедал поджаренную сосиску, выпивал стакан белого вина, закуривал сигарету и отправлялся работать. Когда солнце скрывалось за горизонтом, он ужинал и шел спать. Он часто повторял: если солнце спит, что мне еще делать?»

Впрочем, не будем забегать вперед, ибо в 1881 году Саш***а*** Гитри — один из друзей Моне — еще не появился на свет. Он родится лишь четыре года спустя; за три месяца — день в день — до кончины Виктора Гюго.

В Ветее 1881 год начался неудачно. Моне поранил руку — не то посадил занозу, не то подхватил ногтоеду, не то порезался ножом, которым резал холсты, не то ушибся. Как бы там ни было, рана воспалилась, и Клод почувствовал себя инвалидом. Вот что он пишет 2 февраля Дюре:

«Вот уже больше месяца я не в состоянии работать из-за больного пальца. Вы и вообразить себе не можете, до чего это некстати. Я совершенно без гроша и хочу просить вас выдать мне авансом сотню франков. Тем самым вы окажете мне неоценимую

услугу…»

Но начавшийся 1881 год принес и хорошую новость. Моне получил письмо от Поля Дюран-Рюэля. Торговец картинами был краток: «Хотелось бы с вами встретиться».

Дюран-Рюэль к этому времени существенно поправил свои дела. Он пережил период «тощих коров», и теперь, в основном благодаря поддержке Жюля Федера — знаменитого директора не менее знаменитого банка «Юньон женераль» — его «коровы» постепенно делались такими же упитанными, какими их любил изображать на своих полотнах незабвенный Труайон. Надо сказать, что в те времена, когда в Париже существовало не больше десятка художественных галерей[44], Поль Дюран-Рюэль вполне заслуженно пользовался репутацией гениального предпринимателя. Именно он изобрел систему фиктивных продаж. На аукционе Друо, например, когда он хотел подороже продать хорошую картину, он усаживал среди публики своего человека — на профессиональном жаргоне их называют «баронами», — и тот взвинчивал цену. Таким образом в 1868 году ему удалось продать «Убийство епископа Льежского» Делакруа за астрономическую сумму в 46 тысяч франков!

Мы помним, что он уже приобрел немало работ Моне — тогда художник даже поверил на время, что фортуна наконец-то почтила его мастерскую своим присутствием, чем и объясняется его более чем расточительный образ жизни.

«Договорились, — написал он в ответном письме. — Жду вас в своей мастерской на улице Вентимиль».

Расходы по содержанию этой парижской мастерской в те годы нес щедрый Кайбот.

Торговец, явившись на встречу, испытал настоящее потрясение. Он немедленно купил у Моне 15 полотен, предложив за них 4500 франков.

— В среднем получается по 300 франков за картину, — быстро подсчитал Моне. — Неплохо!

С этой суммой в кармане он без промедления отправился в Нормандию. Ему не терпелось взяться за работу. Разве не убедила его жизнь, что лучше всего продаются марины? Гренваль, Ипор, Фекан, Птит-Даль… Он пишет. Прибрежные скалы, волнующееся море, закаты солнца, лодки на воде… Он пишет без устали.

В начале апреля он возвращается в Ветей и успевает к семейному празднику — дню рождения Марты, старшей дочери Алисы и Эрнеста. Ей исполнилось 17 лет. Увы, Эрнест не соизволил почтить торжество своим присутствием, чем очень огорчил Марту. «Она тяжело переживала разлуку с отцом, — отмечает Даниель Вильденштейн[45], — а смутная догадка об

истинных взаимоотношениях взрослых причиняла ей новые страдания. Марта так никогда и не смогла решиться, обращаясь к художнику, говорить „папа Моне“, как это с легкостью делали ее младшие братья и сестры». Полотна, привезенные из Нормандии, сейчас же отправились к Дюран-Рюэлю, охотно их купившему.

Значит, все шло хорошо.

Нет, не все. Утром 15 мая, несмотря на то, что в окно ярко светило солнце, обещая порадовать всем многоцветьем весны, Моне не смог оторвать голову от подушки. Его знобило и трясло. Смерили температуру — жар. Вообще валяться в постели он не любил, не находя в этом никакого удовольствия, и заставить его лежать днем могла только действительно серьезная болезнь. Так случилось в 1862 году, когда он перенес брюшной тиф, и затем в 1866 году, когда некий англичанин-спортсмен, упражняясь в метании диска в парке Шайи, попал этим снарядом ему в ногу. Что же приключилось на этот раз? Долго искать ответа на этот вопрос не пришлось. Он просто переутомился. Он ведь не только писал в два раза лучше, чем большинство его коллег по искусству, — он писал в два раза больше, чем любой из них! А последние месяцы оказались особенно плодотворными. Так неужели же он не заслужил немного отдыха? И он погрузился в блаженный сон, оберегаемый заботливой и милой Алисой.

Милая, добрая Алиса… Впрочем, как сказать. По мере того как г-жа Ошеде набирала вес — в буквальном смысле слова, как о том свидетельствуют фотоснимки тех лет, — она постепенно превращалась в своего рода «черную вдову», становилась нетерпимой и агрессивной. На Моне она теперь глядела как на свою собственность, и недалек уже был тот день, когда он и шагу не сможет ступить без ее позволения. Если он хотя бы на несколько дней уезжал — разумеется, работать, — она требовала, чтобы он каждый день писал ей по письму. И не она ли сожгла все платья, все фотографии, все личные бумаги Камиллы? Она хотела безраздельно владеть своим «любимым Клодом», навсегда вычеркнув из жизни его прошлое.

Справедливость требует воздать ей должное. К Жану и Мишелю она относилась как родная мать. Дети Камиллы, дети Эрнеста — какая разница? Дети есть дети, и они нуждаются в заботе и любви. Летом семья отпраздновала первое причастие Жака. Осенью состоялись крестины Мишеля.

А Моне отдыхал. Он мог себе это позволить. В этом году он не намеревался выставляться ни с группой импрессионистов, ни на официальном Салоне. Значит ли это, что он решил почить на свежесрезанных лаврах? Это маловероятно, учитывая, что до

материального благополучия ему было еще далеко.

В июле почта принесла письмо на официальном голубом бланке: арендная плата за дом за последние полгода не внесена.

«В случае, если задолженность не будет немедленно погашена, вы будете принудительно выселены…»

Эту угрозу он воспринял с олимпийским спокойствием. Мало ему угрожали? Кроме того, ему уже давно надоело прозябание в Ветее.

В письме к Золя, который тогда жил в Медане, он просит навести для него справки:

«Скажите, нет ли в Пуасси или поблизости приличной школы-пансиона, куда я мог бы за приемлемую цену определить для продолжения учебы своего сына Жана?»

Пуасси представлял собой небольшой городок и центр исторической области Пенсре. Сена протекала чуть ли не у самого порога виллы Сен-Луи, куда в декабре и перебрался Моне. Население городка составляло тогда около пяти тысяч жителей, так что его с равным успехом можно было причислить и к крупным селам. Тем не менее для двух старших мальчиков — Жана и Жака — здесь нашелся лицей, а для девочек — школа при монастыре.

Оплатил переезд Дюран-Рюэль. Моне рассчитывал получить кое-что и от задолжавшего ему Эрнеста, но муж Алисы окончательно утратил платежеспособность. Кроме того, идея переезда не нашла у него одобрения.

— Если ты уедешь с ним в Пуасси, знай, что меня ты больше не увидишь! — заявил он.

— Мы и в Ветее видели тебя нечасто.

— Ах так? Ну тогда можешь передать господину Моне: пусть поставит крест на тех трех тысячах восьмидесяти шести франках, что я ему должен!

«В Ветее, — как тонко подметил Даниель Вильденштейн[46], — Алиса оставалась с Клодом под крышей дома, в выборе которого принимал участие и Эрнест. Тот факт, что после смерти Камиллы она взяла на себя заботу о детях Моне, служил ей оправданием и позволял спасти видимость приличий в глазах родственников и соседей. Но последовать за ним в Пуасси означало пойти на открытый скандал, что не могло не потрясти главных действующих лиц этой внутрисемейной буржуазной драмы».

Итак, запутанные личные взаимоотношения и непрекращающиеся финансовые проблемы, вот что ждало Моне в Пуасси. К тому же скоро выяснилось, что город ему не нравится. И он принимает неожиданное решение отправиться в свою

любимую Нормандию. Один.

«Выдайте мне авансом хоть сколько-нибудь, — пишет он Дюран-Рюэлю в январе 1882 года. — Я еду работать в Дьеп, и мне надо подыскать там себе пансион».

Пуасси не сумел его очаровать. Между тем по сравнению с домом в Ветее новое жилище представлялось очень удобным. Никакой тесноты, никакой толкотни. Три этажа! Каждому члену семьи нашлась здесь отдельная комната.

Но для поездки в Нормандию требовались деньги. Увы, 20 января — в тот самый день, когда Моне обратился к своему «галерейщику» за помощью, тот узнал, что стоит на грани банкротства.

Мы уже упоминали, что Дюран-Рюэль получил крупный аванс от одного из ценителей живописи, человека по имени Жюль Федер. Но беда заключалась в том, что банк «Юньон женераль», которым руководил означенный Жюль Федер, 2 февраля был объявлен финансово несостоятельным. Банк пал жертвой кризиса сбыта и безработицы, свирепствовавшей тогда по всей Европе, но также и жертвой правительственной политики, направленной на защиту интересов крупного еврейского капитала, тогда как «Юньон женераль», к своему несчастью, находился в руках католической партии. В этих чрезвычайных обстоятельствах Федер и его партнер Бонту прибегли к малодостойным методам — скупали на бирже собственные акции, бросив на это дело все наличные ресурсы, пока те не истощились.

Крах банка «Юньон женераль» означал не только серьезные затруднения для Дюран-Рюэля, из которых вытекало, что Моне снова вступает в полосу финансовой нестабильности. Он также означал разорение тысяч мелких вкладчиков и стал одной из главных причин последовавшей затем волны подъема антисемитизма, достигшей пика в Панамской афере и деле Дрейфуса.

Банк лопнул? На Моне это известие не произвело ровным счетом никакого впечатления. Это проблема Дюран-Рюэля, вот он пусть ею и занимается. Каждому свое.

В субботу 4 февраля он прибыл в Дьеп и устроился в отеле «Виктория», расположенном на набережной Генриха IV. Это был первоклассный отель. Проживание с пансионом обходилось здесь в 20 франков ежедневно! Едва разобрав багаж, Моне немедленно хватается… нет, не за кисти. За перо. Отныне так будет всегда. Куда бы он ни отправился работать, отовсюду он будет писать Алисе письма — она так пожелала. Биографы должны быть ей за это признательны. Еще бы, какой источник информации! С другой стороны, нельзя не посочувствовать художнику. Подумать только,

каждый божий день, закончив работу, он, вместо того чтобы отдыхать, садился за письменный стол и сочинял послание за посланием своей Дульцинее. Ибо Алиса не довольствовалась коротенькими записками, а требовала подробного отчета о каждом проведенном вдали от нее дне.

Прошло всего несколько дней, и Моне с неудовольствием заметил — Дьеп ему тоже не нравится.

«Я чувствую себя здесь слишком в городе, — сообщает он в одном из писем, каждое из которых начинается с удивительного обращения „Уважаемая сударыня!“ — Смотрю на все, но ничего не получаю…»

В тот же самый день, 6 февраля, он пишет и Дюран-Рюэлю:

«Если бы вы смогли выслать мне мои 500 франков, то оказали бы мне большую услугу, поскольку я приехал сюда практически без денег…»

Бедный художник! Он еще не знает, что Федер арестован и заключен под стражу, вследствие чего резко пошатнулось и положение его благодетеля. Его долг составлял миллион франков — гигантская сумма! Чтобы получить о ней представление, соответствующее сегодняшнему дню, достаточно умножить число на шесть[47]. Но дело было не только в долгах. Собратья по цеху и смертельные враги Дюран-Рюэля плели против него настоящий заговор. Они надеялись воспользоваться неблагоприятной для того ситуацией, чтобы обвинить его в торговле поддельными шедеврами. Кроме того, они собирались выбросить на аукцион Друо большое количество полотен импрессионистов, чтобы сбить цены и окончательно раздавить конкурента.

У них ничего не вышло.

Воскресенье, 5 февраля. Решительно, Дьеп — слишком шумный город. Да и писать здесь, кроме утопающих в вечернем тумане порта да церкви Святого Иакова, нечего.

И Моне направляется к деревушке Пурвиль, расположенной в устье реки Си. Чтобы попасть сюда, необходимо пересечь деревянный мост, предназначенный исключительно для пешеходов. И вот его взору открылась деревня — полтора-два десятка рыбацких хижин, скучившихся вокруг разрушенной церкви и каменного креста. Обычный турист не найдет здесь ничего интересного. И это еще слабо сказано, если верить справочнику[48] тех лет. «С одной стороны громоздятся груды речной гальки, не дающие морю подступить к самым домам; с другой — раскинулась приветливая долина. Слева высятся прекрасные буки, серебристые ивы и гордые тополя, здесь же журчит ручей; справа — несколько дубов, чьи истерзанные ветром

стволы клонятся до самой земли, а листья сохнут и желтеют, так и не успев зазеленеть; повсюду видны унылые кучи серых булыжников. Вот вам и весь Пурвиль».

«Гид купальщика. Дьеп и его окрестности» высказался еще более категорично: «Пурвиль — это само уныние. Жалкая горстка домишек, притиснутых к склону холма, поросшего утесником и вереском. В центре — развалины церкви, немые свидетели запустения в святом месте. Река Си, на которую везде приятно глядеть, здесь не вызывает ничего кроме тоски. Зажатая между двумя утесами, речка теряется в скоплениях гальки, перекрывающей ей течение и заставляющей разливаться зловонной лужей. Наблюдать за ее полной печали агонией остается лишь редким таможенникам; деревенские жители предпочли отодвинуть свои хижины подальше, лишь бы не видеть бесславного конца реки…»

Пурвиль вечно покрыт туманом. Значит, Пурвиль — это то, что нужно Моне. Тем более что, каким бы невероятным это ни казалось, на западной оконечности пляжа есть казино, а при нем — гостиница с рестораном, о чем сообщает вывеска «Знаменитые галеты»[49].

Клиент в феврале? Вот уж удача так удача! Такого единодушного мнения придерживались владельцы заведения Эжени и Поль Граф. Повезло и клиенту — все внимание хозяев безраздельно принадлежало ему одному, и притом всего за шесть франков в день!

Моне счел, что этот уголок области Ко полон очарования. Здесь он прожил до апреля, работая как одержимый. Летом он приехал сюда снова, уже с Алисой и детьми. Скалы Пурвиля и соседней деревушки Варанжвиль вдохновили его на создание почти сотни полотен.

Первые из них появились на седьмой выставке импрессионистов, теперь именовавшейся Выставкой независимых художников. На его участии в ней настоял Дюран-Рюэль. Моне согласился. Поворчал, но согласился. Действительно, с его стороны было бы черной неблагодарностью отказать торговцу в поддержке, когда тот в ней так нуждался.

На сей раз выставка состоялась на улице Сент-Оноре и проходила с 1 по 31 марта. Если верить каталогу, свои картины выставили девять художников. Помимо Моне, находим в их числе его друга Кайбота, милейшего Ренуара, Писсарро, Сислея, Гогена, Гийомена, Виньона и неустрашимую Берту Моризо. Все участники с нетерпением ожидали выхода первых газет с отчетом о выставке. Что напишут о них на сей раз? Чего будет больше — ненависти и издевки или сочувствия и восторгов?

В итоге оказалось всего понемногу. Хватало и хулителей, и почитателей. Не было только равнодушных. А ведь всего два года назад публика реагировала однозначно отрицательно!

Итак, что писали самые твердолобые и непримиримые противники нового направления? В газете «Сьекль», например, некий критик, вспоминая увиденный натюрморт, рассуждал так: «Мало убить зайца. Чтобы приготовить из него рагу, нужен еще подходящий соус». Более воинственно звучал голос автора статьи, опубликованной в газете «Эвенман»: «Счастье еще, что все эти с позволения сказать художники, страдающие дальтонизмом, избрали для себя путь служения искусству. А что, если бы им вздумалось поступить служащими на железную дорогу?» Впрочем, его злобная ирония являла собой банальный плагиат. Двумя годами раньше писатель и эссеист Жорис Карл Гюисман, один из учеников Золя и автор книги «Парижские наброски», так отозвался о картинах импрессионистов:

«Ну что же, достаточно сказать, что большинство этих художников страдает навязчивой идеей верности одному какому-нибудь цвету. Один видит всю природу в бледно-голубом цвете и превращает реку в лохань с мыльной водой; другой помешался на фиолетовом: земля, небо, вода, люди — что бы он ни писал, все у него отдает сиренью или баклажаном; наконец, третьи, коих большинство, словно вознамерились подтвердить идеи, высказанные доктором Шарко по поводу нарушений в восприятии цвета, которые он отмечал у многих пациентов-истериков в клинике „Саль-петриер“, а также у многочисленных больных с расстройством нервной системы»[50].

«Не понимаю я Моне, — сокрушался Жорж Васи в номере газеты „Жиль Блаз“ от 2 марта 1882 года. — Ну разве могут море и скалы быть цвета смородины?»

«Все это просто отвратительно!» — негодовал Шарль Флор в газете «Насьональ».

«Глупости! — не соглашался с ним критик „Патри“. — Лично я считаю, что эффект перспективы в работах г-на Моне просто великолепен».

«Боже мой, ну конечно! — вторил ему Эрнест Шено в „Пари журналь“. — Я глаз не мог оторвать от этих восхитительных марин, на которых впервые в жизни увидел столь точно воспроизведенную иллюзию того, что море „дышит“; увидел, как переливается волна, откатываясь от берега; как сине-зеленый цвет глубинных вод переходит в фиолетовый оттенок на песчаном мелководье…»

Но никакие критики, ни самые сердитые, ни самые доброжелательные, не могли удержать Моне в Париже. Он

попросил Дюран-Рюэля выслать две-три сотни франков Алисе, вынужденной одной справляться в Пуасси с домашними проблемами, а сам сел в первый же поезд, направлявшийся в Дьеп, откуда двинулся в Пурвиль, Птит-Айи и Варанжвиль. Его ждало здесь слишком много дел. Билет от Парижа до Дьепа стоил тогда 27 франков 60 сантимов за поездку в первом классе, 22 франка 75 сантимов — во втором и 16 франков в третьем. Моне путешествовал в первом классе.

Просмотрев сделанные ранее наброски, он остался ими недоволен. Счистил все, что поддавалось очистке, остальное изрезал и выбросил. И взялся за кисти. Наконец-то! 15 марта[51] он пишет Алисе: «Я в общем-то доволен, вот только очень устал. Вчера не на шутку перепугался. Меня ужалила в левую руку какая-то мошка. Рука сейчас же раздулась, да так сильно, что я боялся, что от боли не смогу работать. Сегодня к вечеру стало немного полегче, хотя опухоль все еще не спала… Прощайте, милостивая сударыня, поцелуйте от меня всех детей и передайте дружеский привет Марте. Думаю о вас беспрестанно. До скорой встречи. Ваш Клод Моне».

Стоит ли говорить, что одних «беспрестанных дум» Алисе было мало? Ее больше всего волновало, чем она накормит свою ораву, а дети в этом возрасте, как известно, едят за четверых…

«В каждом вашем письме я угадываю упрек, — сокрушается Моне[52]. — Понимаю, как тяжело вам справляться со всеми хлопотами, и злюсь на самого себя. Особенно боюсь, что вы начнете сердиться на меня за то, что я веду здесь такую прекрасную жизнь… Мне не терпится добиться нужных результатов и вернуться к вам, чтобы взять на себя свою долю забот. Но вы ведь знаете, что все мои усилия направлены на одну-единственную цель — обеспечить вам хоть немного покоя. Огромное спасибо за ласку и внимание, какими вы окружаете моего маленького Мими… От Дюрана пока никаких известий. Уж не знаю, к худу это или к добру».

Устав от неопределенности, он отправляет Дюран-Рюэлю письмо: «Надеюсь, вам удалось выслать небольшую сумму в Пуасси. Что касается меня (sic!), то, если у вас к 29-му нашлась бы для меня тысячефранковая купюра, вы тем самым оказали бы мне большую услугу, поскольку приближается конец месяца, а у меня здесь немалые расходы. Полагаю, мое присутствие на закрытии выставки необязательно…»

Как тем временем обстояли дела в Пуасси? Скажем прямо, не блестяще. Марта кашляла, Жак простудился, Жан Пьер, Алисин «малыш», серьезно заболел, да и остальные дети чувствовали себя более или менее потерянными. Хозяйка дома по-прежнему

мужественно отбивалась от настойчивых кредиторов, наседавших на нее со всех сторон. Убедившись, что Клод один не в состоянии обеспечить семью необходимым, она решила призвать на помощь Эрнеста:

«Ты, должно быть, помнишь, что у меня еще в Ветее остались значительные долги. Ничего удивительного, что я не могу с ними расплатиться; моей ежегодной ренты в 680 франков для этого явно недостаточно. Поэтому я обращаюсь к тебе и прошу помочь с содержанием детей и уплатой прежних долгов»[53].

Но «дама из Пуасси» страдала не только от обилия забот. Ее терзала ревность. Еще бы, ее ненаглядный Клод уехал в Нормандию и пропал на долгие недели! А вдруг он там не один? А вдруг ему повстречалась какая-нибудь нормандка, и он разлюбил ее, Алису?

Клод, как мог, старался ее успокоить. Свидетельством тому все его письма той поры, в каждом из которых встречаются пассажи наподобие следующих: «Если б вы только знали, как часто я думаю о вас», «Мысли о том, что вам так плохо, приводят меня в отчаяние», «Ваше письмо донельзя расстроило меня, и, уверяю вас, я постараюсь вернуться как можно скорее…»

Глава 13
ВЕРНОН

Итак, Алиса бедствовала, едва сводя концы с концами. Как-то раз ее навестил Эрнест. Увы, с собой у него оказалось всего сто франков, которые он ей и оставил, после чего поспешно отбыл из Пуасси. Он категорически не желал встречаться с Моне, сообщившим о своем скором приезде. Эрнест, на наш взгляд, повел себя более чем странно. Если он действительно любил Алису так сильно, как утверждал, почему он не настаивал на своих правах? Почему не «осадил» виллу Сен-Луи? Почему не дождался соперника, чтобы вынудить его на серьезное выяснение отношений? Пожалуй, придется признать, что Эрнест был трусоват. Но тот же упрек мы можем в равной мере адресовать и Клоду. В сложившейся ситуации он, подобно Фейдо[54], также показал себя не с лучшей стороны и всячески старался снять со своих плеч груз ответственности. Решительно, единственным настоящим мужчиной в этой семье оставалась Алиса!

Зато с Дюран-Рюэлем все уладилось как нельзя лучше. Он выкупил у Моне 23 написанные в Нормандии картины, уплатив за все про все 8800 франков[55]. Правда, художнику досталась лишь примерно половина этой суммы, поскольку остальное он получил раньше в виде авансов. И практически все деньги ушли на уплату долгов. Парижскую мастерскую на улице Вентимиль ему пришлось оставить — Кайбот объявил, что более не в состоянии оплачивать ее аренду. В это же время Моне решил уехать из Пуасси, где чувствовал себя неуютно, и вернуться в полюбившийся ему Пурвиль. Настало лето, а значит, ничто теперь не мешало ему взять с собой Алису и весь выводок детей. Настоящие каникулы, радовались они. Семейство намеревалось поселиться на вилле «Жюльетта», в прелестном домишке, стоявшем на берегу речки Си. Переезд назначили на субботу 17 июня.

«У меня сохранилось множество детских воспоминаний о днях, проведенных в Пурвиле, — рассказывал позже Жан Пьер Ошеде[56] (Алисиному „малышу“ исполнилось уже пять лет). — Какими вкусными и красивыми были галеты папаши Поля — местного кондитера, — и как аппетитно выглядели они на натюрморте Моне. И какой ласковый был щенок грифона у мамаши Поль — между прочим, именно его она держит на коленях на портрете кисти Моне, где он кажется совершенно живым, хитрющим, но в то же время послушным».

Тот же Жан Пьер вспоминает, что в Пурвиле его старшая сестра Бланш впервые попробовала заняться живописью — чтобы делать то же, что папа Моне, который не замедлил обнаружить, что девушка не лишена таланта.

А вот в своем собственном таланте он в этот период начал сомневаться. Лето в Пурвиле, в кругу семьи, на которое возлагалось столько надежд, не принесло ему удовольствия. Все шло не так. Погода никак не желала устанавливаться, зато встала острая необходимость срочно погасить долг пятнадцатилетней давности (2200 франков!). Алису без конца донимал своими приставаниями Эрнест, а сам художник попросту устал. Все чаще его одолевали приступы мрачного раздражения.

— Все, пора с этим кончать! — вскричал он однажды в припадке ярости, изрезав в клочья несколько картин.

К счастью, десятки других уцелели. Ибо, несмотря на дурное настроение, он работал плодотворно как никогда. Результат — целый цикл картин с изображением церкви в Варанжвиле, стоящей на вершине скалы. В деревне об этой церкви рассказывали такую легенду. Якобы однажды жители, утомившись каждый раз ради церковной службы карабкаться на кручу, решили разобрать церковь и сложить из тех же материалов другую, посреди деревни. Но покровитель алтаря святой Валерий так любил открывавшийся из храма вид на море, что не успели крестьяне разрушить церковь, как он восстановил ее на прежнем месте всего за одну ночь! И Моне влюбился в церковь не меньше святого.

К этому же времени относится и превосходный цикл работ, запечатлевших скромный домик местного таможенника. В истории Пурвиля этот таможенник играл значительную роль. «Он принял на себя наследие Церкви и Империи, — пишет анонимный автор в путеводителе XIX века, — и стражем стал на часах. Ему принадлежит право взимать пошлины за морской промысел, дороги и мосты, как и за обломки разрушенных во время крушения кораблей. Но все обилие почестей и привилегий не способно разлучить его с глубокой тоской, поселившейся здесь вместе с ним. Как часто взор его туманится при виде этого огромного моря, чей далекий горизонт лишь изредка оживляют черные точки парусов; при виде этих утесов, изъеденных временем и волнами, этих скал, выступающих из вод морских в Айи подобно акульим зубам, и этих нескончаемых груд гальки, которые океан без устали катает по берегу с шумом, напоминающим звон цепей…»[57]

Глядя на картины Моне, мы и в самом деле словно слышим этот шум и представляем себе, как его кисть ложилась на холст,

разбиваясь об него, как разбиваются волны о скалистые утесы Айи.

Приближался октябрь. У детей начинался учебный год, а значит, пришла пора расстаться с виллой «Жюльетта» и возвращаться в Пуасси — город, который так и не смог расположить к себе Моне.

— Наверное, я расторгну договор, — объявил он Алисе. — А пока проедусь по побережью Сены. Сколько там красивых городов! Неужели мы не найдем себе подходящий дом?

И он уехал, не взяв с собой ни мольберта, ни красок, ни холстов. Цель поездки можно выразить одним словом: разведка.

Подробности этого путешествия нам неизвестны. Единственное, в чем можно быть уверенными, это то, что двигался он вниз по течению Сены, если считать от Пуасси. Река словно притягивала его к себе, и особенно влекли его места, близкие к устью, к берегам Ла-Манша. Выкроил ли он во время этого паломничества пару часов, чтобы заглянуть в Ветей и если не помолиться, ибо в Бога не верил, то хотя бы просто преклонить голову на могиле бедной Камиллы? Нам хочется верить, что так и было. Но Алисе, разумеется, он не обмолвился об этом ни словом.

Возможно, он побывал в Рольбуазе, куда в скором времени приедут работать художники Максимильен Люс и Вейе; проехал через Боньер и Глотон, где много лет назад якобы пытался утопиться; заглянул в Бенкур… Добрался ли он до Вернона? Мы полагаем, что да, и скоро читатель поймет, почему.

Однако вернулся он ни с чем.

Между тем, его поджидали хорошие новости. Дюран-Рюэль купил 26 полотен с видами Пурвиля. Гонорар художника составил 11 тысяч франков![58]

Эту радость слегка омрачило письмо, пришедшее из Руана от брата Леона.

«Если помнишь, я одолжил тебе тысячу пятьсот франков, — писал тот. — Не думаешь ли ты, что пора мне их вернуть? Говорят, теперь твои картины хорошо продаются…»

Но Моне лишь недовольно пробурчал:

— Успеется…

В декабре 1882 года Сена вышла из берегов. Половодье достигло редкого для тех мест размаха. Даже дом на бульваре Сены[59], занимаемый семейством и расположенный на возвышении, оказался со всех сторон окружен грязной водой. Нет, решительно, Пуасси — не то место, где Моне хотел бы жить.

Не вселяла в него оптимизма и экономическая ситуация в стране. В период кризиса первыми его жертвами, как всегда, стали люди творческих профессий, в том числе и Моне. Между

тем умер Гамбетта, и франко-британские разногласия, причиной которых служил Египет, усилились. Германия, Австрия и Италия подписали Тройственный союз. На бумаге он выглядел чисто оборонительным альянсом, однако все понимали, что в действительности он направлен против Франции. Газеты выходили под все более тревожными заголовками. Перспектива новой войны с Пруссией становилась все более реальной — к вящей радости реваншиста Поля Деруледа, только что основавшего Лигу патриотов.

Что касается Клемансо — Моне на некоторое время потерял его из виду, но продолжал внимательно следить за его политической карьерой, — тот возглавил радикальное крыло и стал грозой министров.

— Европа кишит солдатами, — обращался Клемансо к народу. — Все чего-то ждут. Могущественные державы стремятся сохранить свободу действия, но мы должны стремиться к сохранению свободы Франции!

«Чертовски напористый тип!» — думал о нем Моне.

В четверг 22 января 1883 года, в то самое время, когда Клемансо схватился в Палате со своим главным соперником Жюлем Ферри, Моне принял решение завязать свой собственный бой — с волнами в Этрета.

Этрета… Он уже приезжал сюда работать — летом и осенью 1868 года. Тогда только что родился малыш Жан, и он привез с собой сына и Камиллу, еще не вполне оправившуюся после родов. Теперь он приехал один. Писать виды Этрета он мог только в одиночестве.

«Вытянутый в форме полумесяца, маленький городок со своими белыми скалами, белым песком и синим морем спокойно раскинулся под солнцем, — написал о нем Мопассан[60]. — На обоих концах полумесяца расположилось по порту: справа маленький, слева большой, словно в спокойную водную гладь ступила, с одной стороны, чья-то карликовая ножка, а с другой — ножища великана; пик, почти такой же высокий, как прибрежный утес, широкий внизу и тонкий вверху, возносит в небеса свою острую иглу…»

Стоит хотя бы раз побывать в Этрета, чтобы понять, почему этот город так манил и продолжает манить к себе художников — и кисти, и пера. Восемнадцатилетний Мопассан (он был моложе Моне на 10 лет) познакомился здесь с Курбе. «В просторной голой комнате, — пишет Мопассан[61], — крупный, жирный и грязный человек кухонным ножом наносил пластины белой краски на большой голый холст. Время от времени он подходил к окну и, прижав лицо к стеклу, смотрел на разыгравшуюся снаружи бурю».

Иногда писатель захаживал на постоялый двор «Шомьер де Дольмансе», служивший тогда приютом тощему поэту, сочинявшему странные романтические стихи и откликавшемуся на имя Суинберна. «Вечно опьяненный извращенной магией поэзии», он спал со своей обезьяной. В 1883 году Мопассан поселился в шале, которое выстроил для себя на дороге Крикето. Это был небольшой уютный домик, по совету соседки, белокурой Эрмины Леконт из Нуйи, названный «Гийет»[62], хотя сам писатель предпочел бы для него имя «дом Телье». Моне и Мопассан иногда встречались в Этрета, о чем свидетельствует статья, опубликованная нормандским романистом в газете «Жиль Блаз» 28 сентября 1886 года. «…Я часто сопровождал Клода Моне в его поисках впечатлений, — говорится в ней. — На самом деле он больше напоминал охотника, чем художника. Следом за ним шагали дети, несшие холсты — пять-шесть холстов, изображающих один и тот же сюжет, но запечатленный в разное время суток и при разном освещении. По мере того как менялись небеса, он поочередно брал то одно то другое полотно, чтобы затем перейти к следующему. Он вглядывался в пятна света и тени, выжидал, подстерегая нужное мгновение, а потом вдруг словно ловил солнечный луч или проплывающее облако и несколькими быстрыми движениями кисти наносил их на холст, не думая об условностях и презирая все фальшивое. Однажды мне удалось подсмотреть, как он поймал переливающийся отблеск света, упавшего на белую скалу, и тотчас же зафиксировал его в виде нескольких мазков желтого оттенка, удивительным образом передающих этот неуловимый эффект ослепительного свечения. В другой раз он словно набрал ладони ливня, обрушившегося на море, и плеснул его потоки на полотно. Он писал дождь, только дождь и больше ничего, и за его пеленой лишь угадывались очертания волн, утесов и неба…»

Поистине бесценное свидетельство!

«Мопассан — человек очень приятный и интересный», — отзывался о писателе Моне.

Этрета… Его бухточки, его порты, его шпиль, его волны уже привлекли к себе внимание Делакруа, Будена, Изабея, Йонкинда и Курбе. Уже после Моне сюда будут приезжать на этюды Синьяк, Валлотон, Болдини, Марке, Дюфи, Матисс, Фриц, Громер, а также Жорж Брак. Последний — история любит такие шутки — приходился сыном штукатуру из Аржантея, который когда-то работал в доме Моне и столкнулся с большими проблемами, когда пришло время получать по счету… Этрета! В 1909 году писатель из Руана Морис Леблан вообразил, что его главный пик вполне может быть полым внутри, и превратил его в пещеру Али-

Бабы, обжитую Арсеном Люпеном. Так на свет появился один из романов, которые позже стали называть бестселлерами.

Что касается живописных «бестселлеров» Моне, то с ними в этот раз дело обстояло не столь блестяще. Покидая 21 февраля Этрета, он увозил с собой лишь несколько незаконченных полотен. Причина? Плохая погода и обилие забот. Придется доводить их до ума в мастерской. Впрочем, с этого времени он стал довольно часто работать по такой схеме. Что же до забот… Из письма, присланного Алисой в гостиницу «Бланке», где он остановился, он узнал, что Эрнест перебрался жить в Ветей и устроился на постоялом дворе вдовы Оже-Довель. Отсюда отвергнутому мужу было легче вести осаду бывшей супруги.

— Я настаиваю, чтобы мы снова начали жить вместе! — не унимался он. — Мне не хватает моих детей!

Моне ходил по нормандским пляжам, но в сердце его росла тревога. Сохранилось три письма, три подлинных документа, опубликованных Даниелем Вильденштейном в его капитальном труде[63], позволяющих нам понять, до какой степени беспокойства дошел в эту пору художник. В первом из них, датированном 18 февраля, он пишет:

«Сегодня не мог набраться смелости и начать работать. Ни разу так и не открыл коробку с красками. Весь день провел во власти всепоглощающей тоски. Дети, наверное, рады, что снова видят отца…»

На следующий день — такое письмо:

«Вот уже несколько дней, как я едва не схожу с ума. Я чувствую, что люблю вас гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем мне самому казалось… Я сижу и плачу. Неужели мне придется привыкать к мысли жить без вас, моя дорогая, моя несчастная любовь?»

Зная взрывной характер Моне, мы не можем не поразиться таким строкам, завершающим письмо, настолько они проникнуты нежностью:

«Я вас люблю. Мне пока можно говорить вам об этом, верно?»

Наконец, 20 февраля, сообщая о своем скором приезде, он делает такое признание:

«Я считаю совершенно невозможным для нас с вами существовать порознь. Но мне прежде всего необходимо знать, что решили вы сами. После этого я тоже приму решение. Истина заключается в том, что мне плохо. Одна только мысль о разлуке с вами ввергает меня в безумие. До завтра. Люблю вас. Целую тысячу раз».

Наверное, Алиса, читая эти письма, чувствовала себя на седьмом небе. Откровенно говоря, ей совсем не хотелось

возвращаться к мужу и отцу своих детей. Напротив, она не могла не радоваться тому, что пробудила нежность в дикарском сердце Моне и наконец вырвала у него так долго ожидаемое признание в любви. Будущее ее нисколько не пугало. Да, у Клода полно долгов, но ведь его картины теперь начали высоко цениться. А вот с Эрнестом ее ждет не жизнь, а жалкое прозябание. У одного впереди осуществление самых смелых мечтаний. У другого — печальные воспоминания о потерянном Роттенбурге.

Не успел Моне спокойно вздохнуть в объятиях Алисы, как в дом заявился Дюран-Рюэль.

— Вы готовы к выставке? Открытие назначено на 28-е…

— На свежие работы не рассчитывайте. В Этрета не удалось завершить ни одной картины…

Таким образом, на выставке, открывшейся в среду 28 февраля в новой галерее Поля Дюран-Рюэля на бульваре Мадлен, в доме номер 9, публика не увидела ни пика Этрета, ни его величественных скал. Зато видами Варанжвиля и Пурвиля она могла насладиться сполна!

Пресса, однако, в очередной раз встретила его работы в штыки. Это уже никого не удивляло.

Хуже было другое. Выставку посетило ничтожное число зрителей.

— Полный провал! — констатировал Моне, обращаясь к своему торговцу. И, ни в коем случае не желая, чтобы его заподозрили в чувствительности — это он-то, в глубине души столь ранимый, — спокойно добавил: — Отныне я вообще перестаю обращать внимание на то, что пишут газеты!

Тут он погрешил против истины, поскольку хорошо известно, что он продолжал читать их все и подчеркивал синим или красным карандашом те статьи, в которых упоминалось его имя. Если же ему не хватало на это времени, то по его поручению газеты просматривала Бланш. В свои 18 лет она уже целиком и полностью была предана делу, которым занимался «папа Моне».

А Моне пребывал в самом мрачном расположении духа. Он взъелся на Дюран-Рюэля, обвинив его в провале выставки. Что это за освещение? Половина картин висела в темных углах! Приступы раздражения одолевали его все чаще. Да еще этот чертов Пуасси! Нет, этот город явно действует ему на нервы!

Казалось бы, чего проще? Не возобновлять договор об аренде виллы Сен-Луи, и дело с концом! Так-то оно так, но этот шаг означал бы, что 15 апреля вся многочисленная орда Моне-Ошеде очутится на улице.

В начале апреля, устав пережевывать одни и те же мысли и не находя сюжетов, достойных кисти, он объявляет Алисе:

— Я уезжаю! Опять на разведку. Я во что бы то ни стало должен найти для нас подходящий дом, а главное — в подходящем месте!

И он снова берет в руки свой посох странника.

Путешествие начинается с железнодорожной линии Париж — Руан, бесперебойно действовавшей на протяжении вот уже 40 лет.

Вернуйе, Ле-Мюро, Обержанвиль, Мант, Росни-сюр-Сен, Боньер, Жефос, Пор-Вийе… Все эти населенные пункты он успел обследовать во время своей предыдущей вылазки. На сей раз он решил добраться до Вернона. 6 апреля он сообщает Дюран-Рюэлю: «Еду в Вернон».

В 1883 году Вернон представлял собой маленький, но живописный городок с населением в 6700 человек. Здесь имелись: собственная «телеграфная контора с полным набором услуг»; три хороших врача — доктор Ватье, доктор Тома и доктор Девиньвель; старый театр; новая больница; восхитительный собор, выстроенный в старинном стиле, и несколько приличных школ. Еще имелись артиллерийский парк и парк военных экипажей, но на них Моне не обратил внимания — мы уже знаем, что милитаристские струны в его душе молчали. Но главное, здесь была Сена — ЕГО Сена! Он понял, что ему здесь нравится.

А потом случилось чудо. В двух сотнях метров от церкви Богоматери, в самом конце узенькой средневековой улочки, носившей название Порт-де-л'О, он увидел большой дом, глядевший окнами прямо на реку. Это высокое здание XVIII века отличалось идеальными пропорциями, и от него так и веяло аристократизмом. Крытое черепицей, кое-где украшенное традиционным нормандским декором, которое в архитектуре известно как фахверковая стена… И — окна, окна… А значит — свет. Он живо представил себя сидящим в гостиной. Никаких преград между ним и рекой. Чуть воображения — и можно думать, что плывешь по волнам прямо в кресле…

Северный фасад смотрел на каменный мост. С южной стороны находился просторный парк, прорезанный неширокой тополиной аллеей. Полностью прикрытая сверху густой листвой, аллея напоминала монастырский свод. Не случайно тот, кто построил этот дом, и вправду был святым. Дому досталось в наследство его имя — он и сегодня называется домом Пантиевра.

Герцог Пантиеврский, он же Людовик Жан Мари де Бурбон, приходился внуком Людовику XIV и дедом Луи Филиппу. Он и был последним владетельным сеньором Вернона. Доброта его вошла в пословицу. Так, историкам он известен под именем «князя бедных». При его жизни дом служил чем-то вроде городской ратуши. Здесь же он охотно принимал родственников и

друзей. В числе прочих сюда часто приезжала принцесса де Ламбаль[64] — близкая подруга Марии Антуанетты, чье имя навсегда связано с ужасными событиями сентября 1792 года, когда пролились реки человеческой крови. Герцогу она доводилась невесткой.

Герцог и герцогиня де Шуазель, г-н де Рике, граф де Гараман, Амедей де Дюфор, герцог де Дюра, баснописец Жан Батист Флориан и многие, многие другие! Каждый из них в то или иное время проходил через ворота благородных очертаний, ведущих к дому Пантиевра. Именно этот дом и решил снять Моне.

Он влюбился в него с первого взгляда. Он знал, что дом столетия стоял здесь и ждал его. И он явился на свидание. Художник пришел на встречу с домом королей.

«Я весь в предотъездных хлопотах, — писал он Дюран-Рюэлю в письме от 15 апреля. — Мы едем в Вернон»[65].

Увы, любовь с первого взгляда осталась платонической и не смогла преодолеть реальные препоны, так и не давшие Клоду Моне поселиться в доме Бурбона-Пантиевра. Арендная плата оказалась непомерно высокой или дом вообще не сдавался? Этого мы не знаем. Зато нам известно, что его образ навсегда врезался в сердце художника. Он писал его множество раз, глядя на него с правого берега, где устраивался с мольбертом в тени фонарной башни собора Нотр-Дам…

Глава 14
ЖИВЕРНИ

«Живерни, через Вернон, в Эре» — этот адрес вскоре появился на почтовой бумаге Моне. Действительно, в то время о существовании деревни знали только жители города. Это сегодня ситуация выглядит диаметрально противоположной: лишь благодаря деревне Живерни весь мир узнал о соседнем городке Вернон. И случилось это после того, как в один из апрельских дней 1883 года, с разочарованием убедившись, что снять «дом Пантиевра» не представляется возможным, Клод Моне отправился исследовать окрестности города, прошел узкой тропинкой, вившейся меж холмов по правому берегу Сены, и через четыре-пять километров попал в место, совершенно его очаровавшее.

На что походила деревня Живерни в 1883 году? Общая площадь — 647 гектаров, население — 340 человек. Но существовала она давно, а местный приход был основан святой Радегондой[66] еще во времена Меровингов.

Говорят также, что еще до святой Радегонды — королевы франков и супруги Клотаря I, в Живерни останавливался Юлий Цезарь. Якобы он провел здесь ночь вместе со своим легионом. Ничего невозможного в этой гипотезе нет, поскольку в верховьях Сены, буквально в двух шагах от Жи-верни, сохранились следы римского лагеря. Это так называемый «лагерь Мортания», разбитый наемниками-маврами, которых диктатор вербовал в свое войско.

«Название, на мой взгляд, происходит от галло-римского имени Габриниак (Gabriniacus), которое, в свою очередь, происходит от Габриния (вариант — Каприний) и дало рождение таким топонимам, как Шеверни (расположенному в департаменте Луар-и-Шер) и Шевреньи (департамент Эн)», — объясняет Франсуа де Борпер[67].

Чем могла похвастать деревня Живерни? Школой смешанного обучения на 48 учеников; отделением благотворительного общества; пятью кабачками. Здесь также проходила железная дорога с кривыми ответвлениями узкоколеек, обслуживавших деревни, расположенные между Жизором и Паси-сюр-Эр. Здесь протекала речка Эпта, перед впадением в Сену распадающаяся на два рукава. На правом берегу Сены громоздились залитые солнцем холмы, на которых выращивали виноград, — похожие есть в Пиренеях; слева открывался вид на поросшие лесом тенистые склоны, вечно покрытые туманом. Туманом, который

так любил Моне.

По вечерам Живерни окутывался «ароматом, поднимавшимся словно из огромной курительницы»[68].

И, как по мановению волшебной палочки, именно здесь нашелся большой дом, поджидавший новых жильцов. Нам нетрудно вообразить себе, как Моне входит в один из местных кабачков, где завсегдатаи проводят вечера за игрой в домино, — может, это было заведение Боди, может, «Лягушатник», а может, и кафе «Прессуар»…

— Вы не знаете, в деревне большой дом не сдается? — обращается он к присутствующим.

— Сдается! — тут же слышит он в ответ. — Считай, малый, повезло тебе. Слыхал я, папаша Сенжо спит и видит, как бы пристроить свою хоромину! Запомнил? Сенжо! Так ты ступай прямо к нему, ступай! Луи Сенжо, не перепутай…

Человеком, давшим чужаку столь обстоятельный ответ, вполне мог оказаться папаша Парфе, «преуморительный персонаж, никогда не снимавший длинного синего халата и цилиндра, но не блестящего, а сильно потертого»; или «старичок по прозвищу Долговязый Коротышка — у него, и вправду, длинный торс сидел на удивительно коротеньких ножках»[69], или Леопольд Шевалье — охотник, обожавший рассказывать каждому встречному про то, как в 1870 году, служа во франтирерах, он уложил «своего улана».

Семейство Сенжо проживало в Живерни испокон веков и пользовалось всеобщим уважением.

Итак, Моне отправился разыскивать его главу, Луи Жозефа, владельца дома. Договорились они быстро. К счастью для художника — начни Луи Сенжо выяснять кредитоспособность будущего жильца, сделка вряд ли бы состоялась. Крестьяне из Живерни охотно ссужали деньги взаймы, но уж, конечно, не всякому встречному, а только тем, кого считали богатым.

…В начале 1970-х годов я, вооружившись диктофоном, обходил дома по улицам Ламсикур, Жюиф, Шмен-дю-Руа или Коломбье, записывая воспоминания бывших прачки или садовника, старой кухарки или местного торговца, иначе говоря, совершал обход Живерни в поисках бесценных свидетельств тех людей, которые лично знали Моне. Так я оказался в доме некоего земледельца, рекомендованного мне соседями по той причине, что он, дескать, «много чего знает».

Славный малый в тот день, видно, встал не с той ноги. Чуть приоткрыв дверь на мой стук, он недовольно выслушал меня и в ответ не проговорил, а пролаял:

— Идите вы со своим Моне куда подальше! Осточертело!

В 1971 году, «дом Моне» еще не принимал посетителей.

Что же должен думать этот сердитый крестьянин, если он, конечно, еще жив, сегодня, когда по «его земле» с утра до ночи снуют сотни автомобилей, в которых прибывают все новые любители импрессионизма — из Франции и Наварры, из США и других стран, в том числе и из Японии?..

Дом, принадлежавший Сенжо и расположенный в местечке под названием Прессуар, сразу показался художнику подходящим. Большой, на восемь жилых комнат, с просторной ригой (будет где устроить мастерскую!), мансардами, подвалом, дровяным сараем и еще несколькими хозяйственными постройками. Он и выглядел совсем недурно — покрытые розовой штукатуркой стены, серые ставни… Про прилегающий к дому земельный участок и говорить нечего! Почти гектар, окруженный крепким забором.

— По рукам!

29 апреля рабочие, нанятые Дюран-Рюэлем, уже сгружали с подвод домашний скарб Моне. Клод приехал вместе с ними, прихватив с собой «некоторых из детей». Алису с остальными ждали на следующий день. Правда, отпраздновать новоселье — подвесить, по французскому обычаю, крюк над огнем в низеньком камине столовой — не удалось. Глава семейства торопился в Париж.

— Я получил телеграмму из Парижа о том, что умер Мане — рассказывал он впоследствии знаменитому торговцу произведениями искусства Амбруазу Воллару. — Если я не ошибаюсь, телеграмма пришла в первое воскресенье, которое я проводил в новом доме. Мане умер во сне…

На следующий день, 1 мая, Моне пишет Дюран-Рюэлю:

«Срочно вышлите мне денег почтовым переводом, чтобы я мог получить его в Верноне. Мне обязательно надо завтра же быть в Париже, чтобы успеть получить траурный фрак, потому что я должен стоять у гроба. Я заказал его портному с улицы Капуцинов. Не могли бы вы оказать мне услугу и зайти к нему, чтобы убедиться, что все будет готово в четверг утром?»

Все-таки Моне временами позволял себе ошеломляющие вольности! К крупнейшему парижскому торговцу картинами он обращается как к собственному камердинеру!

Как мы видим, своей привычки к роскоши он так и не оставил. Фрак для похорон он шьет себе не у кого-нибудь, а у одного из лучших парижских портных. В данном случае речь шла об известном заведении «Од и Рики», которым владели два шотландца. Платит за все Дюран-Рюэль. Но он не жалуется, потому что верит в Моне. И знает, возможно, лучше, чем кто бы

то ни было, что в конце концов гений его подопечного оправдает любые затраты.

Правда, и ему временами случалось высказывать недовольство. Нет, Моне исправно и в срок пересылал ему обещанное количество картин, но ведь на них еще требовалось найти покупателя! Между тем состояние экономики в стране оставляло желать много лучшего. Манифестации, банкротства и забастовки следовали одна за другой. Кому верить, с кем иметь дело? Не говоря уже о лопнувшем банке «Юньон женераль», крах которого попортил ему немало крови. Увы, как говорится, беда никогда не приходит одна. В это трудное время на горизонте Дюран-Рюэля возник конкурент, да не просто конкурент, а человек, грозивший задвинуть его в тень и увести из его конюшни лучших жеребцов. Разве сможет Моне устоять перед призывом этого поразительного человека, которого звали Жорж Пети?

Почему поразительного? Прежде всего потому, что он вообще не разбирался в живописи. Но при этом обладал редкостным деловым чутьем. На улице Сез, в доме номер 8, он открыл галерею, не имевшую ничего общего с традиционными заведениями подобного рода. Здесь царила атмосфера изысканной роскоши и уюта. Клиент желает присесть, чтобы рассмотреть понравившуюся картину? К его услугам — великолепные клубные кресла, которыми заставлен Салон. Ибо торговый зал являл собой именно шикарный Салон, оформленный по последнему слову моды, в котором вели беседы парижские денди, вдовствующие герцогини и прочие ценители искусства. Благодаря Пети любой вернисаж превращался в праздник, на который стремился попасть весь Париж, на котором блистали знаменитости — Коклен-Каде и Сара Бернар, Камиль Гру и Вьей-Пикар, графиня Греффюль[70]… Все они спешили сюда, и шампанское лилось рекой.

Разумеется, Жорж Пети быстро обзавелся врагами. Ничего удивительного, ведь он преуспевал. Рене Жемпель, еще один торговец произведениями искусства, назвал его «хитрым жирным котом, думающим только об удовольствиях». Неодобрительно отзывался о нем и Золя, считавший Пети «спекулянтом и делягой, которому глубоко плевать на хорошую живопись».

Что касается хитрости, то ее Пети действительно было не занимать. Именно ему пришла в голову гениальная идея обойти все те места, где бывал Коро, посетить каждый уголок, где тот работал. Он знал, что художник, вечно сидевший без денег, часто расплачивался с трактирщиками и хозяевами постоялых дворов своими картинами. Ему повезло. Неподалеку от Фонтенбло он разыскал некую зеленщицу, которой Коро, задолжавший 400

франков, оставил в уплату два великолепных полотна. Еще один придуманный им мастерский прием назывался «каскадной продажей». Он применил его к «Колокольному звону» Милле. Каждый раз, когда картина выставлялась на аукцион, Пети обязательно приобретал ее, а потом, предлагая очередному клиенту, снова и снова взвинчивал цену. Таким путем ему удалось довести цену «Звона» до 800 тысяч франков! В это же время Моне радовался, если продавал очередную картину за 800 франков. До материального благополучия семейству, перебравшемуся в Живерни, было еще далеко.

Новый дом требовал больших хлопот. Распределить комнаты — Алиса и Клод имели отдельные спальни; разбить огородик — нельзя же без свежих овощей; починить загородку у курятника; подыскать удобный причал для лодки — он нашелся на Крапивном острове, в устье Эпты; вычистить ригу — здесь художник будет в плохую погоду дорабатывать начатые картины; наконец, посадить цветы — первые цветы Живерни!

— Чего-чего? Цветы сажаешь? — недоумевали местные жители, заглядывая на участок Моне, и крутили пальцем у виска. — Чего ты с них получишь-то? Ну и чудной народ эти городские…

В начале ноября Моне уже смог отправить Дюран-Рюэлю первую партию картин, написанных на новом месте. Это «Пейзаж в Вийе близ Вернона», «Дом у старого моста в Верноне» (в наши дни этот дом, ставший туристской достопримечательностью, известен как Старая мельница), «Вид на церковь в Верноне» (на переднем плане — благородный дом Пантиевра) и другие.

Связь Моне с Дюран-Рюэлем в эту пору еще оставалась достаточно прочной. Мы можем судить об этом хотя бы по тому, что в своей риге в Живерни, переоборудованной под мастерскую, он работал над тремя десятками небольших полотен, на которых были изображены цветочные букеты — эти полотна предназначались для украшения парадной гостиной в доме Дюран-Рюэля, который жил тогда на Римской улице.

Живерни, 31 декабря 1883 года. Моне только что вернулся из кратковременной поездки на Лазурный Берег, тогда более известный как Ривьера. Вместе со своим другом Ренуаром он изучал южные пейзажи. Но накануне Новою года семейство собралось дома в полном составе. Правда, без Эрнеста.

В 1883 году Моне исполнилось 43 года. Жить ему оставалось еще ровно столько же. Он уже написал около тысячи картин. Похоронил Мане. В тот же самый год в Венеции, во дворце Вендрамина на Большом канале, умер Вагнер. В Лондоне

скончался Карл Маркс.

Что принесет с собой наступающий 1884 год? Префект департамента Сены г-н Пубель издаст указ об установке на улицах «баков для домашнего мусора»[71]; Ницше опубликует «Так говорит Заратустра»; Курбе[72] высадится на Формозе; уроженец Нормандии Деламар-Дебутвиль создаст первый в мире автомобиль на четырехтактном бензиновом двигателе; Тиссандье поднимет в воздух первый дирижабль с электромотором; ученые откроют бациллу пневмококка… Одним словом, конец XIX столетия ознаменуется бурными событиями.

Одним из них станет восстановление разрешения на развод, вопреки активному сопротивлению католической Церкви. Воспользуется ли Алиса Ошеде новым законом, чтобы внести ясность в свое двусмысленное положение? Нет, не воспользуется. Законная жена разорившегося Эрнеста была ревностной католичкой.

Ну а Моне готовился создать в 1884 году около 70 полотен.

17 января он снова уезжает из дома. Путь его лежит в Италию. На душе у него спокойно — быт в Живерни более или менее налажен, появления Эрнеста не ожидается, денег Алисе должно хватить, ну а дети… Дети пусть учатся! Жана (Моне) и Жака (Ошеде) определили в пансион Дюбуа в Верноне. Этот самый Дюбуа имел степень лиценциата филологии и с гордостью носил знак отличия, полученный за успехи в народном просвещении. Естественные науки ученикам преподавал г-н Превост; английскому и латыни учил г-н Клеман де Могра. Немецким с ними занимался г-н Шпиц, а рисованием — Жюльен Дево, лауреат Школы изящных искусств, милый человек и неплохой художник классического направления, ни бельмеса не смысливший в импрессионизме.

Девочек — Марту, Сюзанну, Жермену и Бланш — устроили в пансион при монастыре Провидения, которым руководила мать Каролина. Самые младшие, Жан Пьер и Мишель, ходили в деревенскую начальную школу — ею руководил Огюст Селье, по воскресеньям превращавшийся в певчего хора церкви Святой Радегонды. Заметим, что Вальдек-Руссо, «папаша Комб» и Аристид Бриан еще не успели добиться отделения Церкви от государства.

Итак, Моне отправился за южными впечатлениями и красками Средиземноморья. Между тем он никогда не питал склонности к кричащим тонам. Гораздо больше ему нравились размытые, слегка подернутые туманной дымкой оттенки, которыми так богаты окрестности Этрета, Гавра и берега Эпты… На протяжении трех месяцев — столько продлится его

путешествие — он именно об этом будет писать Алисе.

«Чувствую себя препаршиво, — читаем в одном из писем. — Никак не получается ухватить колорит этой страны. Временами меня охватывает какой-то страх — ощущение, прежде мне неведомое. Здесь нужна палитра, состоящая из бриллиантов и прочих драгоценностей…»

Зато, стоит погоде «нахмуриться», он оживает:

«Сегодня много работал. День стоял ненастный, все вокруг стало синим…»

Поначалу безжалостный южный свет приводил его в исступление:

«Это слишком ново для меня. Я не в состоянии довести до конца ни одной работы…»

Но постепенно глаз привыкал к непривычному освещению:

«Вот уже неделю нет солнца. Ужас! Как работать в такой темноте?..»

«Портом приписки» стала для него Бордигера. Отсюда совсем недалеко до Франции. Каких-нибудь 20 километров — и вы в Ментоне.

Городок тогда состоял как бы из двух частей. Его жители — около двух тысяч человек — селились кто на возвышенности, в так называемом «старом городе», кто в рыбацком поселке Борго Марина. Но для тех и других главным источником дохода уже тогда были туристы.

«Здесь все сплошь немцы да англичане. Французы за границу не суются. До чего же кошмарный у немцев язык!»

При всем при том устроился Моне в английском пансионе!

Бордигера расположена в Лигурии, на берегу Генуэзского залива. В 1884 году сюда уже провели железную дорогу, по которой и приехал художник. В то время Бордигера считалась столицей пальмового дерева. И Моне писал пальмы. Он написал их десятки. Надо сказать, здешние пальмы заметно отличаются от растущих в других местах. Вместо того чтобы вольготно раскинуть свои ветви, они устремляют их, собранные в тугие пучки, высоко в небо. И в Вербное воскресенье именно в Бордигере рвут пальмовые ветви для украшения римских церквей. Сия привилегия досталась городу в далеком 1586 году, и никто ее не отменял. Впрочем, эта история заслуживает отдельного рассказа.

В те давние времена папа Сикст V пожелал, чтобы перед базиликой Святого Петра установили обелиск, до того украшавший цирк Нерона. Поскольку дело было деликатное, папа, как человек, не лишенный суеверий, издал строгий приказ: всем, кто примет участие в переносе памятника, хранить гробовое

молчание. И рабочие послушно исполнили обет. Все, кроме одного.

Обелиск уже водрузили на новое место. Оставалось сдвинуть его совсем чуть-чуть, чтобы он прочно встал на многоугольное основание, когда веревки, удерживавшие каменную глыбу, натянулись так сильно, что стало ясно: они вот-вот лопнут.

— Воды! Скорее! Поливайте веревки! — закричал один из рабочих, крепыш из Бордигеры, нарушив тем самым предписанный обет молчания.

Рабочие быстро смочили веревки водой, и они выдержали вес обелиска.

Нечего и говорить, что папа не собирался карать ослушника. Более того, он оказал ему особую милость.

— Проси, чего хочешь! — сказал он рабочему.

— Ваше святейшество, — пробормотал крепыш, — если бы вы только видели, какие красивые пальмы растут у меня, на моей земле в Бордигере! Ветки у них собираются в пучки, и их не жжет палящее солнце, поэтому они так и хранят свой белый цвет — цвет чистоты, символ нашей святой Церкви! Если бы вы дали на то свое соизволение, я мог бы каждый год продавать эти ветви римским храмам в Вербное воскресенье…

И папа Сикст V одарил спасителя обелиска высокой привилегией. Надо полагать, у того оказалось немало отпрысков и наследников, поскольку вскоре в Бордигере пальмовый промысел расцвел пышным цветом. А вместе с ним и сами пальмы, которыми три столетия спустя восхищался приехавший из Франции художник.

Читая переписку Клода с Алисой, относящуюся ко времени его пребывания в Бордигере (она опубликована Даниелем Вильденштейном[73], заслуживающим самой горячей нашей благодарности), невозможно не заметить, что Моне — как бы ни восхищался он местными пальмами — был подвержен резкой смене настроения, переходя от восторгов к черной тоске.

Он познакомился с английскими художниками, весьма сносно говорившими по-французски. Они подвернулись ему под руку в один из «плохих» моментов, и он провел с ними несколько дней. Однажды, когда над долиной Нерви сияло солнце, Моне добрел до деревушки Кампороссо, и картина, над которой он здесь работал, «получилась сама собой» — тогда его охватило чувство, что он способен горы свернуть. Потом попытался запечатлеть на фоне моря апельсиновые и лимонные деревья, и поняв, что не успевает — свет уходит! — сильно разозлился: это не живопись, а мазня!

Новости из Живерни его не слишком радовали. Алиса писала,

что скучает без него, Дюран-Рюэль задерживал высылку денег, опять на пороге замаячила зловещая тень судебного исполнителя, да еще дети заболели. Удрученный, он пишет в ответном письме:

«Больше не пишу, а вместо этого просто слоняюсь без дела, как какой-нибудь рантье. Будьте ко мне милосердны, не пишите мне больше таких огорчительных писем. Мне нечего сказать вам в утешение, раз вы ни во что уже не верите и все вам безразлично…»

Но не проходит и дня, как его настроение меняется:

«Истратил все привезенные холсты. Работа продвигается хорошо. Мне не терпится вернуться домой и заняться садом вместе с Малышом и Мими. Я далеко от вас, но чувствую, что люблю вас больше, чем когда бы то ни было. Как бы мне хотелось послать вам хоть немножко здешнего солнца! Жду в ответ доброго и ласкового письма…»

А потом — снова тоска и отчаяние:

«Совсем одолели головные боли, да и погода никуда не годится. Руки опускаются… Проклинаю Дюрана… Нынче вечером у меня ужасная хандра. Просмотрел первые этюды — по-моему, они ужасны…»

Его настроение немного улучшилось 5 февраля, когда по рекомендации Эрнеста Ошеде он познакомился с супружеской четой Морено, владевшей прелестной усадьбой с садом — именно таким, какие ему особенно нравились. Он назвал этот сад «земным раем» и с удовольствием приходил сюда писать. Чувство одиночества ненадолго отступило. Вот только зачем он, поддавшись слабости, написал Алисе, что нашел прелестным не только сад, но и госпожу Морено? В приступе ревности хозяйка дома в Живерни — несчастная! — в клочки изорвала письмо из Бордигеры.

Ее можно понять. Простуженные дети, холод и вечное ненастье в заброшенной деревне на берегу Эпты. А в это время Моне, как она полагала, греется под солнцем Средиземноморья и прогуливается под пальмами с другой!

Тон ее писем становился все более угрожающим. Она заговорила о разрыве и поспешила сообщить Клоду, что 19 февраля в Живерни приезжает Эрнест, чтобы поздравить ее с сорокалетием. Нетрудно представить себе его реакцию на это известие:

«Не стану скрывать, ваше письмо меня сильно расстроило. Я бы предпочел быть дома, чтобы точно знать, что там у вас происходит…»

Глава 15
ЯНКИ

Моне все это не на шутку встревожило, мало того — разозлило. Он засобирался во Францию. В субботу 5 апреля он столкнулся на границе с новыми неприятностями. Итальянские таможенники категорически отказались пропустить его багаж — ящики, доверху заполненные готовыми холстами.

— Это абсолютно невозможно, сударь! — сказали ему. — Вы должны представить бумагу, заверенную Итальянской академией художеств. Откуда нам знать, где вы взяли все эти картины? И не забудьте составить их подробный перечень!

Проклятье! Целый день псу под хвост!

Впрочем, писать все равно было нельзя — дождь лил как из ведра.

К вечеру воскресенья он уже устраивался на ночлег в Ментоне, в гостинице «Принц Уэльский». Ни больше ни меньше!

Здесь, в гостинице, он написал Дюран-Рюэлю:

«Вышлите с ответным письмом 200 франков. Таможенные расходы обошлись мне в кругленькую сумму!»

В Ментоне он не задержался. Набросал на скорую руку три этюда под названием «Мыс Мартен», которыми остался чрезвычайно доволен, и в среду 15 апреля в 11.20 сел в экспресс, следовавший во Францию.

Наконец-то он в Живерни! Наконец-то с Алисой!

И с ходу погружается в заботы. Папаша Сенжо требует срочно внести плату за дом. К Дюран-Рюэлю летит письмо:

«Милостивый государь! Убедительно прошу вас…»

К сожалению, дражайший Дюран-Рюэль и сам переживал трудные времена.

«Милостивый государь! Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой. Мне необходимо срочно заплатить за пансион Дюбуа, иначе дети не смогут в начале учебного года приступить к занятиям. Учитывая, что вы владеете эксклюзивным правом на мои произведения, я рассчитываю на вашу помощь…»

«Постарайтесь тщательнее отделывать свои работы, — читает он в ответном письме. — Возможно, то обстоятельство, что они недостаточно „вылизаны“, и мешает мне успешно ими торговать».

Зная ранимость Моне, мы не удивимся, что подобный «совет» мог сыграть роль фитиля, поднесенного к пороховой бочке. Однако внешне раздражение художника пока никак не проявилось. Правда, в его мозгу постепенно зрела мысль о том,

что, пожалуй, следует поближе познакомиться с Жоржем Пети…

В конце 1884 года Моне встретился с писателем Октавом Мирбо, который в тот момент вынашивал замысел напечатать в газете «Франс» цикл статей под общим названием «Заметки об искусстве». Особенно его интересовало творчество живописца, поселившегося в Живерни. Эта встреча положила начало искренней дружбе между мастером пера и мастером кисти. Мирбо регулярно появлялся в окрестностях Живерни, где снимал себе жилье, — то в местечке Брей-Лю, на берегу Эпты, то в монастыре Магдалины, на берегу Сены, в усадьбе, принадлежавшей баронессе Тенар, вдове знаменитого химика, изобретателя перекиси водорода.

Октав Мирбо не боялся никого и ничего. Его жизненное кредо гласило: «В любых обстоятельствах я готов слепо защищать бедного против богатого, пьяницу против зануды, больного против болезни и жизнь против смерти». Он без колебаний принял сторону Моне.

«Клод Моне, — писал он, — больше, чем кто бы ни то было, подвергся оскорбительному осмеянию. Его называли выдающимся мазилкой; если я не ошибаюсь, какой-то критик даже возопил, что творить подобные безобразия способен лишь коммунар! Странно еще, что он не потребовал подвергнуть его творчество суду военного трибунала! А ведь именно Моне сумел запечатлеть на своих холстах мимолетность и неуловимость самой природы».

Также Мирбо любил Ван Гога. Это он первым приобрел «Ирисы» и «Подсолнухи».

Моне и Мирбо… «Эти две природные стихии просто не могли не понять друг друга, — отмечает Марта де Фель. — Их объединял общий вкус к величию простых вещей.

— Видите ли, Моне, — рассуждал Мирбо, — и искусство, и литература, это все ерунда. Существует только земля! Вот смотрю я на комочек этой земли и готов часами его созерцать, задыхаясь от восторга. А гумус! Я люблю гумус, как другие любят свою жену! Я не боюсь им запачкаться, потому что в куче перегноя вижу красоту форм и красок, которым она способна дать рождение. Как же мелко искусство в сравнении с этим! И как оно фальшиво, как жалко…»

Зимой 1885 года земля в Живерни ослепляла белизной. Стояли холода, выпало много снега. Моне потирал руки — больше от удовольствия. Ах, какие пейзажи! За работу, скорее, пока снег не растаял. Слава Богу, морозная погода продержалась достаточно долго, и он успел написать восемь картин. Довольный Моне спешит поделиться своей радостью с Дюран-Рюэлем:

«Работал по уши в снегу! Вышлите 300 франков, мы совсем на

мели…»

Он любил снег. Любил настолько, что в свое время специально поехал работать в Норвегию.

Зато задержки Дюран-Рюэля с высылкой денег ему совсем не нравились. И, когда Жорж Пети предложил ему принять участие в устраиваемой им международной выставке, он ответил согласием. Открытие вернисажа состоялось 15 мая. Моне фигурировал в экспозиции наряду с девятнадцатью другими художниками. «Весьма пестрая компания, — отмечал Жеффруа. — Кроме мастера из Живерни группу импрессионистов представлял только Раффаэлли». Стены роскошной галереи на улице Сез украсили 10 полотен Моне. Само собой разумеется, Альбер Вольф был тут как тут — охотник в засаде. Но, о чудо! — опасный (к его мнению прислушивались слишком многие) критикан сменил гнев на милость!

«Да, Клоду Моне действительно удается с поразительной достоверностью передавать неуловимую прелесть пейзажа…» — признавал он в своей статье в «Фигаро».

Значит, и у Вольфа наконец-то открылись глаза. Что ж, как тонко подметил Поль Валери (этому будущему другу Дега в 1885 году исполнилось 15 лет), «только устрицы сидят взаперти в своих раковинах!»

Что касается Дюран-Рюэля, то он не собирался сдаваться без борьбы и терять художников, со многими из которых к тому же поддерживал теплые дружеские отношения. Французский рынок не оправдывает надежд? Ну так что ж, значит, надо завоевывать новые — голландский, бельгийский и даже — почему бы нет? — американский!

«Мне совершенно не хочется снабжать своими картинами этих янки!» — ворчливо протестовал он. Моне пребывал тогда в мрачном расположении духа; его мучили «зубная боль и невралгия».

Жорж Пети все тянул и тянул с выплатой денег за картину, купленную во время международной выставки, что также не способствовало улучшению настроения.

Наконец, свою лепту в обрушившиеся на него неприятности внес и Жан, которому уже исполнилось 18 лет. Он очень плохо закончил учебный год и с треском провалил экзамен, сдавать который ездил в Руан.

Последней каплей стал визит некоего Нивара — багетного мастера из Парижа. Тот требовал срочно оплатить счета за услуги, оказываемые с 1875 года, в размере 2450 франков, и пригрозил в противном случае передать дело в суд и добиться описи имущества.

— Ладить с ним было нелегко, — вспоминает о Моне Зелия Пикар[74], в последние годы жизни художника в Живерни служившая в доме прачкой. — Хорошо еще, что сама я с ним сталкивалась редко, а в основном имела дело с госпожой Бланш, которой шила платья. Его я видела больше издали, когда он шел через сад к пруду. Он вечно на всех ворчал, такой уж сварливый характер! Вот, например, я даже не могу сказать, какие у него были зубы — я ни разу не видела, чтобы он улыбнулся!

— Совершенно верно, — подтверждает это Жан Пьер Ошеде[75]. — Порой на него накатывали приступы дурного настроения, и жизнь тогда становилась невыносимой. Он мог уйти к себе в комнату, и мы не видели его целый день, а то и два. За столом все сидели молча, боясь пошевелиться, и тишину нарушал только стук вилок о тарелки…

К счастью, подобные периоды длились недолго.

— Если он радовался тому, что очередная картина удалась, — продолжает Жан Пьер Ошеде, — то к обеду выходил, распевая во все горло арию тореадора из «Кармен». Или сочинял на тот же мотив что-нибудь вроде: «Все за стол! Все за стол! Жареные голуби хороши, пока горячи!»

— Все-таки он был человеком очень милым, — делится своими воспоминаниями г-жа Тибу[76]. — Моя мать работала у них в доме, гладила белье. Господину Моне она гладила сорочки с жабо, знаете, такие, с кружевными манжетами… Помню, когда она в первый раз взяла меня с собой, мне тогда было лет десять, она мне сказала: «На цветы можешь смотреть сколько хочешь, но чтоб ни до чего не дотрагиваться, поняла? Хозяин будет сердиться». И вот стою я в саду, рот разинула от всей этой красоты, ну, прямо в рай попала, и вдруг слышу за спиной строгий голос: «Тоже любишь цветы, малышка? Это хорошо!» Ох и испугалась же я! Оглядываюсь и вижу: он стоит на пороге дома, в белой блузе, в большой фетровой шляпе, надвинутой на лоб… Видно, понял, что мне стало страшно, и улыбнулся — широко-широко. Как будто прощения просил…

Осень Моне провел в Этрета, где с ним случилось неприятное происшествие: его сильно окатило приливной волной, так что он стоял, прижавшись спиной к прибрежной скале, бессильно наблюдая, как вода заливает холсты, краски и мольберт. Вообще этот сезон выдался крайне неудачным, и в его завершение он объявил, что «переходит к Жоржу Пети». А как же Дюран-Рюэль, помогавший художнику выживать на протяжении последних пяти лет? Никак. Его трудности.

«Полагаю, вам ясна степень моего недовольства», — с лаконичным достоинством сообщил он художнику. «Я, конечно,

понимаю, — отвечал тот[77], — ваше негативное отношение к Пети, но, скажите на милость, с какой стати мне-то делать из него врага, ведь лично мне он не сделал ничего дурного, напротив, стараясь заставить своих клиентов признать меня, он сделал мне большое благо, и это неоспоримо…»

Впрочем, полностью сжигать за собой мосты он не торопился, а потому несколькими днями позже написал еще одно письмо, в котором сообщал:

«Скоро привезу вам дюжину полотен с видами Живерни и Этрета…»

Завершала это послание довольно-таки дерзкая приписка:

«К концу года рассчитываю получить от вас две тысячи франков, которые мне необходимы, так как я планирую расширить мастерскую…»

Ремонтные работы, направленные не столько на то, чтобы увеличить площадь помещения, но главным образом на то, чтобы сделать его более удобным и светлым, в частности за счет большого застекленного окна, прорубленного в северо-западной стене, закончились 17 января.

«Мастерская готова к работе, — пишет Моне Дюран-Рюэлю. — Срочно нужны деньги для уплаты рабочим».

В ответ — молчание.

21 января — новое письмо, исполненное тревоги:

«У меня крупные неприятности. Срочно нужно как минимум тысячу франков. Если вы в состоянии мне их предоставить, сообщите об этом немедленно, только не заставляйте меня ждать понапрасну. Если вы не имеете такой возможности, скажите об этом прямо, я найду их в другом месте»[78].

Попахивает шантажом, не так ли?

Торговец, отнюдь не глупый человек, понял намек. «В другом месте» — так сказал Моне. Уж не у Пети ли? Дюран-Рюэль быстро проанализировал ситуацию. Если его протеже задолжает конкуренту с улицы Сез, тот его от себя уже не отпустит! И он оплачивает все счета — и каменщика, и плотника, и стекольщика.

В феврале Моне снова уезжает в Этрета, где его ждет дорогой его сердцу холодный свет последних зимних дней. Впрочем, на сей раз его гонит в дорогу не столько желание работать, сколько совсем другие соображения. Просто жизнь в Живерни сделалась невыносимой. Виновница этого — Марта Ошеде, которая теперь превратилась в молодую двадцатидвухлетнюю и глубоко несчастную женщину. Марта так и не смогла смириться с разрывом родителей. С человеком, которого ее братья и сестры охотно называли «папой Моне», она не нашла общего языка. Но более всего ее ранили слухи и сплетни, циркулировавшие по

деревне. Действительно, обитатели Живерни с удовольствием перемывали косточки «чудной семейке». Не исключено также, что Марту постигло собственное любовное разочарование, которое она тяжело переживала. Может быть, она мечтала выйти замуж? Но кто же возьмет в жены девушку, чья мать сожительствует с художником? По всей вероятности, похожие невеселые мысли бродили и в голове восемнадцатилетней Сюзанны. Одна только Бланш — ей исполнился 21 год — не ощущала никаких неудобств из-за двусмысленного положения семьи. Во-первых, она искренне восхищалась талантом Клода, сама любила живопись и писать, а во-вторых, успела подружиться с Жаном, который был младше ее на два года.

Зато Эрнест быстро осознал, что нашел в лице Марты своего человека во вражьем стане, и всячески поощрял дочь культивировать в матери чувство вины. И в начале февраля 1886 года измученная, задерганная, уставшая от всей этой неразберихи Алиса сдалась. Нам нетрудно вообразить себе семейную сцену, которую она закатила Клоду. Должно быть, она кричала, что больше так не может, что ей стыдно причинять горе собственным детям, что у нее больше нет сил терпеть косые взгляды соседей… В общем, ей очень жаль, но…

Моне в ответ громко хлопнул дверью. И уехал в Этрета, надеясь, что любимые скалы вернут ему умиротворение.

Он просчитался.

20 февраля, сразу по приезде, он хватается не за кисти, а за перо. И принимается писать. Он пишет письмо за письмом, заполняя лист за листом своим красивым почерком. Адресат у всех посланий один — его возлюбленная в Живерни. Эта волнующая переписка была опубликована Даниелем Вильденштейном в 1979 году[79]. За какую-нибудь неделю Моне написал более трехсот строк. Вот некоторые из них:

«Беспрестанно думаю о вас и о двух наших малышах, таких хорошеньких, таких милых… Простите меня за все то зло, которое я, не желая того, вам причинил, пожалейте меня, потому что я болен, и поймите, что я вас люблю. Вы требуете, чтобы я хорошенько поразмыслил и принял решение. Увы, именно это и приводит меня в нынешнее мое состояние. Сколько бы я ни думал, сколько бы ни взвешивал все за и против, я не в силах примириться с мыслью о том, что мы с вами расстанемся. Думаю о детях, которых вы так любите и которые так любят вас, но не могу не видеть и того, что нас разделяет и будет по-прежнему разделять в этой жизни, — а я-то верил, что она будет тихой и спокойной… Поверьте, я глубоко несчастен, мне очень плохо, все валится у меня из рук. Художник во мне умер, а все, что

осталось, — это больной мозг. Напрасно вы говорите, что, привыкнув к разлуке с вами, я снова обрету кураж. Это не так! Сегодня провел ужасную ночь, совсем не спал и все думал, думал о вас…»

Его письма свидетельствуют о неподдельном горе. В нескольких скупых словах он набрасывает скорбную картину постигшего его крушения надежд.

«Вы настоятельно требуете, чтобы я принял какое-то решение, но я могу сказать вам лишь одно: как и вы, я и мысли не допускаю о том, чтобы с вами расстаться. Ваша настойчивость свидетельствует о вашей силе и смелости. У меня нет ни того ни другого. Поэтому решайте сами, а я приму любой исход, даже если для меня он будет смертельным. Только не верьте, что разлука с вами станет для меня спасением и я опять обрету мужество. Нет, я слишком хорошо понимаю, что проиграл в любом случае. Наша совместная жизнь разладилась навсегда, а жить без вас я не могу. Говорю вам это без всяких задних мыслей. Что из того, что причина болезни мне известна, если я не нахожу против нее лекарства — просто потому, что его не существует…»

«В своем письме от воскресенья вы так ясно обрисовали наше с вами положение. Разве я не понимаю, что значит для вас счастье и жизненный успех ваших дочерей? И, как вы совершенно справедливо указываете, я не имею никакого права делить с вами ваши радости. В этом-то все и дело. Мне запрещено видеться с вами, гордиться вами — это все не про меня. Что ж, я знал это все давно, еще в начале нашей любви, и возразить мне вам нечего, только все же после стольких лет, что мы прожили с вами бок о бок, согласиться с этим нелегко…»

«Вы одна можете решить, что делать. Вы-то сможете пережить разлуку, найдя утешение в нежности и счастье ваших дочерей. Значит, вам и решать…»

«Не могу пообещать вам, что вернусь в веселом настроении. Я слишком много выстрадал за это время, и характер мой от этого ничуть не улучшился. Не прогоняйте меня. Я сейчас больше нуждаюсь в заботе, чем в упреках. Прежний Моне умер, я чувствую это, и, если ему и случится когда-нибудь воскреснуть, произойдет это еще не скоро…»

Однако Моне оказался настоящим фениксом.

Некоторое время спустя он вернулся в Живерни. Начиналась весна, и жизнь худо-бедно потекла по наезженной колее. Впрочем, дела пошли скорее хорошо, в основном благодаря Бланш, его любимице, которая платила ему полной взаимностью. Бланш как никто умела разрядить атмосферу в доме, порой становившуюся невыносимой. Если он шел на Сену или бродил по лугам в

поисках сюжета для очередной картины, она сопровождала его, помогала нести холсты и мольберт. Когда он начинал работать, она пристраивалась неподалеку и тоже писала. В конце дня Моне внимательно смотрел ее наброски, давал ей советы, подбадривал. Это «чувство локтя» между Бланш и «папой Моне» сохранится навсегда.

В апреле Моне получил письмо от барона Этурнеля де Констана.

«Я восхищен тем, что вы делаете, — писал тот. — Приглашаю вас приехать на несколько дней ко мне в Голландию — я работаю секретарем французской делегации в Гааге. Приезжайте! В это время года на полях цветут тюльпаны. Они не могут вам не понравиться!»

Голландия! Моне хорошо ее помнил. 15 лет назад, спасаясь от Франко-прусской войны, он практически бежал в эту страну, где написал более двадцати картин. Тогда с ним была Камилла. Теперь, вечером 27 апреля, он в одиночестве стоял на платформе Северного вокзала и поджидал ночной поезд. Уезжал он на 11 дней. И за пятью картинами.

«Эти цветочные поля так прекрасны, — делился он впечатлением со своим другом Теодором Дюре, — но бедного художника, не способного передать все богатство красок ограниченными средствами своей палитры, они могут свести с ума!»

Из Гааги он пишет не только Дюре, но и Жозефу Дюран-Рюэлю. А вот Алиса за это время не получила от него ни одного письма. Судя по всему, холодок между ними так и не растаял. Жозефу — сыну Поля Дюран-Рюэля — он писал по той простой причине, что отца в Париже не было. Он отправился за океан — в США.

На пароход, идущий в Нью-Йорк, он сел еще 13 марта. С собой он увозил 310 полотен импрессионистов. В их числе — около 40 картин Моне.

— Моя живопись поехала к дикарям, — вздыхал Клод. — Видно, мне на роду написано помереть неудачником…

Через месяц после прибытия Дюран-Рюэль открыл в нью-йоркской «Американ арт гэллериз», что на Мэдисон-сквер, выставку под названием «Живопись маслом и пастелью парижских импрессионистов».

Следует отметить, что зерна, брошенные Дюран-Рюэлем, упали на удобренную почву. Благодарить за это следует тех немногих американских художников, которые работали во Франции, — Уистлера, Джона Сарджента и, конечно, Мэри Кассат, дочь банкира из Питтсбурга. Она прекрасно знала все high

society[80] Нового Света, близко дружила с финансистом Хевмейером — человеком, с равным азартом ворочавшим долларами и украшавшим стены своего дома картинами. У него уже висело несколько работ Дега, с которым Мэри поддерживала особенно тесные отношения. Кстати сказать, Дега уже приезжал работать в Новый Орлеан.

«It's wonderful!»[81] — воскликнул Хевмейер, одним махом закупивший четыре десятка полотен.

— Я тоже покупаю! — встрепенулся Уайтмор.

— А я куплю больше, чем вы оба вместе взятые! — не растерялся Стилмен.

Одним словом, вскоре все самые толстые сигары Нью-Йорка прохаживались по выставочному залу. Поль Дюран-Рюэль выиграл. Он завоевал Соединенные Штаты и сам сумел остаться на плаву. Мало того, мистер Хевмейер сделал ему деловое предложение:

— Я готов вложить значительный капитал в развитие вашего бизнеса здесь, у нас…

Пусть Жорж Пети в Париже трепещет!

— Если бы я умер в шестьдесят лет, — признавался позже Дюран, — то не оставил бы после себя ничего кроме долгов. Я был бы банкротом, сидящим на куче сокровищ.

Жорж Пети, впрочем, и не думал трепетать. Он пошел в контрнаступление.

15 июня он открыл у себя на улице Сез пятую международную выставку живописи и скульптуры. Моне предложил 13 работ — виды Этрета, виды Живерни, цветущие поля тюльпанов, мыс Мартен…

«Море Моне напоминает какое-то волшебное озеро!» — захлебывался восторгом Альбер Вольф, покоренный окончательно и бесповоротно. «Г-н Моне не похож ни на одного другого художника», — отмечал в газете «Рапель» Шарль фремин.

А Феликс Фенеон, которого заворожил стог сена на одном из лугов в Живерни, поспешил высказаться в одному ему присущей манере:

«„Стог сена“: на лугу, граница которого обозначена рядом перистых деревьев, синяя женщина и табачного цвета ребенок, прислоненные спинами к эллипсоидальной куче, на глазах обесцвечиваются»…[82]

На Салон Пети забрел и Буден. Взглянув на работы своего бывшего протеже, он не сдержал восклицания:

— Вот молодец парень! Ничего не боится! После его колорита ни на что другое и смотреть не захочешь!

Давно ли юный карикатурист Оскар Моне вывешивал свои

опусы рядом с его собственными картинами в витрине гаврской лавчонки? Теперь Буден не сомневался: Моне вырос в большого мастера.

К удовольствию от благожелательной критики добавилось и нечто более существенное — 12 из 13 выставленных картин нашли покупателя. Гонорар Моне составил 15 100 франков![83]

Одна из двенадцати отправившихся к коллекционерам картин — поле тюльпанов — нашла себе прибежище в стенах особняка, принадлежавшего двадцатилетней ценительнице искусства, которую звали Виннаретта Синджер. Эта молоденькая, но уже очень богатая американка приходилась родной дочерью могущественному фабриканту швейных машин. Первым браком она вышла замуж за графа Луи де Сей-Монбельяра, а в 1893 году стала принцессой де Полиньяк — благодаря второму мужу, принцу Эдмону, человеку тонкого ума, во всяком случае, если верить Марселю Прусту, под псевдонимом Горацио поведавшему нам о нем в газете «Фигаро» 6 сентября 1903 года: «Еще до женитьбы принц Эдмон, посетив художественную галерею[84], положил глаз на шедевр Клода Моне, озаглавленный „Поле тюльпанов близ Гаарлема“. Увы, рассказывал он, мне оставалось только кусать от досады губы — полотно перехватила какая-то американка. Как же я ее проклинал! Несколько лет спустя я женился на этой американке, и картина стала моей».

Глава 16
ГЮСТАВ

Деньги, полученные от Жоржа Пети, пришлись как нельзя более кстати. Клод не только расплатился с парой-тройкой старых долгов, но и приобрел в собственность клочок земли на берегу Сены, точнее говоря, на Крапивном острове, в устье Эпты, примерно в километре от розового дома с серыми ставнями.

«До того времени, — вспоминает Жан Пьер Ошеде[85], — мы никогда не могли быть спокойными за свои лодки. Несколько раз, придя на берег, мы не могли найти нашу норвежку[86], — ветка ивы, к которой мы ее привязывали цепью, могла сломаться, и тогда лодка уплывала по течению. Приходилось отправляться на поиски, и порой мы обнаруживали беглянку только возле шлюзов Пор-Мора!»

На купленном участке соорудили сарай для хранения яликов, весел и рыбацкого снаряжения. В те годы в смешанных водах Эпты и Сены ловились великолепные щуки. По утрам мальчики отправлялись на рыбалку, стараясь перещеголять друг друга уловом. Для плавучей мастерской построили солидный док.

Именно здесь, на Крапивном острове, Моне написал две картины с одним названием — «Женщина с зонтиком»[87].

— Я присутствовал при этом, — рассказывает Жан Пьер, — и сохранил незабываемые впечатления. Слушайте, как было дело. Моне возвращался домой после дня работы. Он шагал вдоль насыпи, на которой стояла моя сестра Сюзанна. Завидев ее силуэт, выделявшийся на фоне неба, Моне воскликнул:

— Вылитая Камилла в Аржантее! Завтра придем сюда, ты мне будешь позировать.

И действительно, на следующий день Моне поставил Сюзанну в нужную ему позу и строго-настрого запретил девушке шевелиться. Моне писал быстро, но все-таки не настолько быстро, чтобы закончить набросок за считаные минуты. Очень скоро Сюзанна почувствовала, что ей дурно, но продолжала стоять неподвижно, боясь нарушить приказание. В конце концов она в глубоком обмороке рухнула в траву.

Насколько мы можем судить по сохранившимся семейным фотоснимкам, Сюзанна была самой хорошенькой из дочерей Ошеде.

— Отдохни! — милостиво разрешил Моне. — Завтра продолжим.

Во время следующего сеанса модель вела себя образцово,

чего нельзя сказать о художнике. Недовольный результатом, он настолько разъярился на самого себя, что со всей силы ткнул ногой в холст. К счастью, полотно удалось восстановить, ликвидировав перерезавший его зловещий «шрам», и сегодня даже самый проницательный зритель, остановившись в Лувре, в Зале для игры в мяч, ни за что не угадает, которая из двух выставленных здесь «Женщин с зонтиком» пострадала от яростного удара сапога.

Здоровье Алисы заметно пошатнулось. У нее начались проблемы с почками. Она сильно располнела и все чаще чувствовала гнетущую усталость.

— Поезжайте на воды, в Форж-лез-О, — посоветовал ей врач. — Вам сразу станет лучше.

Водолечебница в Форже пользовалась высокой репутацией еще с XVII века. Впрочем, она остается такой и поныне. Слава об этом курорте пошла с тех времен, когда сюда приезжал «освежить внутренности» Людовик XIII. Его супруга Анна Австрийская выпила бессчетное количество стаканов здешней воды в надежде излечить бесплодие, а Ришелье лечился от заболевания мочевого пузыря. До сих пор в Форже бьют три источника, которые называются Источник короля, Источник королевы и Кардинальский источник. Сен-Симон, мадам де Севинье, Бюффон, Мариво, Бенжамен Констан, мадам де Сталь, Флобер, Жюль Ферри и многие, многие другие знаменитые желудки поглотили здесь десятки литров богатой содержанием железа воды. Мы уже не говорим о целых толпах несчастных женщин, утративших всякую надежду обзавестись потомством! Самое интересное, что пребывание на курорте действительно часто помогало. Удрученные до слез по приезде, бесплодные супруги спустя известный срок издавали торжествующий клич: «Победа!» и… объясняли успех целебными свойствами воды. При этом никому почему-то не приходило в голову, что самоотверженные жены целыми пинтами глотали ее в отсутствие своих мужей, так что не исключено, что «лечение», которое они сами себе назначали, носило более естественный и далеко не такой мучительный характер…

Впрочем, к Алисе все это не имело никакого отношения. Седьмой ребенок, и в ее возрасте? Это было бы слишком. И хотя «дорогой Клод» отнюдь не собирался безвылазно просидеть весь август в Форже, в отеле «Парк», где поселилась Алиса, он мог за нее не опасаться. Она не относилась к числу женщин, легко теряющих голову, да и, честно говоря, сама в значительной степени утратила способность кружить голову мужчинам. Что касается его, то он вполне мог бы в свою очередь отправиться на

воды в Брей, расположенный в сотне километров от Живерни. Ему это никак не повредило бы — в свои 46 лет он также начал заметно обрастать жирком.

Но все пошло не так, как задумывалось. Прибыв 27 августа в Форж, чтобы забрать Алису и вместе с ней вернуться домой, 4 сентября он покидает этот курорт «чертовски простуженным». И прекрасный план самому полечиться целебной водой — практически у истоков Эпты — уже не кажется ему таким заманчивым.

«Я ничего не сделал в этом ужасном месте!» — сокрушается он.

Но стоило ему вновь оказаться в Живерни и немного прийти в себя, как его снова тянет в дорогу. Ему не сидится на месте. Алиса громко выражает свое недовольство, но он не обращает на ее ворчание никакого внимания. Чемодан уже уложен. На сей раз его путь лежит в Бретань.

«Приезжайте к нам в Нуармутье, — давно зазывал его Мирбо. — Вашему ужасающему таланту найдутся здесь достойные собеседники — пейзажи. Ждем вас с нетерпением. Приезжайте!»

Очень хорошо, вот только работать Моне предпочитает в одиночестве.

«Я заеду навестить вас», — сообщает он Мирбо.

И… едет в другую сторону. Вместо Нуармутье — в Киберон, а оттуда — в Бель-Иль-ан-мер. Здесь он задержится на долгих два месяца. «Восхитительные виды этой земли, полей, деревень, домов, тропинок, ветряных мельниц, застывших между небом и водой словно на рельефном рисунке географической карты; сползший к самому морю кусок земли, напоминающий чудесный плот, одним своим концом, покатым и засыпанным песком, склонившийся к континенту, а вторым, оконтуренным по краю высокими и плотными скалами, повернутый к океану, будто в любую минуту готовый пуститься в открытое море». Это поэтичное описание принадлежит журналисту, имя которого — Жеффруа — нам уже не раз встречалось. Одновременно с Моне он также приехал в Кервилауэн, что близ Бангора, где на мысу Талю стоит знаменитый маяк. Вот уж поистине, мир тесен. Художник и писатель, очутившись в Бель-Иле, вся площадь которого составляла тогда 8961 гектар, не могли не столкнуться нос к носу. Впрочем, предоставим слово Жеффруа[88]: «Я отправился в отпуск в Бель-Иль, намереваясь попутно собрать материал для книги об Огюсте Бланки, которую собирался писать[89]. В основном меня интересовали подробности его тюремного заключения и последовавшего затем неудавшегося

побега. В деревне Кервилауэн мне показали точное место, где происходили все эти драматические события. Буквально в нескольких метрах располагался порт Гульфар, где беглец рассчитывал сесть на одно из судов. Сюда же приходил писать и Клод Моне. Ничего удивительного, что мы с ним оказались постояльцами одной и той же гостиницы, расположенной у подножия маяка, которую содержало семейство Марек. Так и вышло, что в самый вечер своего приезда я, погруженный мыслями в судьбу Бланки, увидел вдруг на пороге скромной гостиничной залы Клода Моне — живого и здорового, еще нестарого, — то, что называется, во цвете лет. Я узнал его не сразу, едва не приняв за одного из лоцманов, которые любили проводить здесь вечера. Он вошел в сапогах, простой одежде и плотном головном уборе — самый подходящий наряд для работы на ветру и под дождем.

„Там сейчас один художник“ — еще раньше услышал я от кого-то. Но, поскольку в Бретани в то время работало много художников, встреча с одним из них в этом глухом, малонаселенном краю меня в принципе нисколько бы не удивила. И я, устав за целый день ходьбы, спокойно устроился в ожидании ужина за угловым столиком. Откуда было мне знать, что я случайно занял место, облюбованное для себя художником? Но вот он вошел — вязаная фуфайка на крепком теле, берет, растрепанная борода — и замер на пороге, устремив на меня пронзительный взгляд светившихся недовольным блеском глаз. Я, конечно, сразу понял: его рассердило мое появление, ведь я невольно нарушил его одиночество, но, поскольку мне предстояло провести здесь целый месяц, да и он, судя по всему, уезжать не собирался, я решил, что пора переходить к боевым действиям — в смысле, попытаться завязать разговор.

— Вы художник, не так ли? — обратился я к нему после приветствия.

— Да. Художник.

— И вы, очевидно, готовитесь здесь к очередному Салону?

Колючие глаза снова пронзили меня.

— Нет, я больше не выставляюсь на Салонах. А вы что, тоже художник?

— Нет-нет, что вы! Я всего лишь журналист, правда, пишу статьи об искусстве. Я работаю в одной газете, но вы ее, наверное, не знаете…

— Что за газета?

— „Жюстис“.

— Значит, вы Гюстав Жеффруа?

— Да, это мое имя…

— Вы обо мне писали. Я посылал вам письмо с благодарностью. А сейчас благодарю вас еще раз. Меня зовут Клод Моне.

Я вскочил со стула. Меня, мальчишку, охватило чувство благоговения перед этим великим борцом в искусстве, мастерством которого я искренне восхищался. Мы пожали друг другу руки, и это рукопожатие знаменовало начало дружбы, которая установилась между нами навсегда…»

Это свидетельство о знакомстве Жеффруа и Моне, полученное, так сказать, из первых рук, можно было бы принять как достоверное, если бы сам Жеффруа не изложил в письме к своему другу граверу Фокийону несколько иную версию того же самого события. Вот она:

«Вчера ходил гулять к маяку — маяк совершенно потрясающий. Загулялся допоздна. Ужинать мы пошли в какое-то первое попавшееся бистро, не надеясь ни на что хорошее. И — о радость! — нам предлагают на выбор суп, вареное мясо, котлеты, яйца, груши, вино и сидр. Годится. Садимся за стол. Рассматриваем стоящий напротив симпатичный домик — нам сообщили, что в нем уже три недели снимает комнату какой-то художник. А вот и он сам! Суровый тип. Лицо обветренное, борода, на ногах крепкие сапоги, на плечах грубая полотняная куртка, на голове матросский берет, в уголке рта — трубка. И проницательный взгляд умных глаз. За ужином начинаю разговор о Париже, о живописи. Он спрашивает, не художник ли я. Нет, говорю, я журналист, искусствовед. Пишу для „Жюстис“.

— Так вы Жеффруа?

— Ну, в некотором роде…

— Я вам когда-то писал. Меня зовут Клод Моне.

— Три тысячи чертей! Вот это встреча!»

Наконец, существует еще один пересказ того же самого эпизода, переданный Мартой де Фель[90] со слов самого Моне: «Я остановился в гостинице, куда заглядывали только рыбаки да моряки. В первый же раз, когда пришло время обеда, хозяйка мне сказала: „У нас сегодня ничего нет кроме омара. Вы омара любите?“ Дьявольщина, люблю ли я омара! Подите-ка спросите любого парижанина, любит ли он омара! „Еще бы, хозяюшка! — отвечаю. — И готов его есть круглый год, в любых количествах!“ Мне указали на небольшой столик в углу общего зала, и начался роман с омаром. Я ел его по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, утром и вечером. В конце второй недели я взмолился о пощаде. Работал я целый день на свежем воздухе и по вечерам с удовольствием забирался в свой одинокий уголок, наблюдая в свете лампы за матросами, которые чокались стаканами и читали

по очереди „Луарский маяк“. Все шло тихо и спокойно, пока однажды вечером, вернувшись в гостиницу, я не обнаружил, что за моим столом сидит какой-то тип. Я недовольно поморщился. Уложил свое снаряжение возле стены и сел, придвинувшись к печке, продолжая поглядывать на чужака взглядом, в котором, признаюсь, никто не заприметил бы следов нежности. В конце концов он почувствовал смущение и счел нужным извиниться.

— Я вас побеспокоил…

— Гр-р-р…

— Я здесь надолго не задержусь…

— Гр-р-р…

— Вы художник?

— Гр-р-р…

— И вы, наверное, готовитесь здесь к Салону?

Тут уж я не выдержал и засмеялся.

— Нет, я не готовлюсь к Салону.

— Так что же, вы пишете для собственного удовольствия?

— Если вам угодно.

— Но вы где-нибудь выставляетесь?

— Естественно.

— А можно узнать ваше имя?

— Клод Моне.

Тут мой собеседник вскочил со стула и едва не упал мне на грудь.

— Мы же с вами давние знакомцы!

И он попросил разрешения и дальше делить со мной стол.

— С радостью! — ответил я. — Только знаете ли вы, каково здесь ежедневное меню? Омары!

— Так это же прекрасно! Я обожаю омаров!

Ничего, подумал я про себя, скоро ты их перестанешь обожать…»

Ни одного натюрморта в Бель-Иле Моне не создал. Омары и прочие обитатели моря не удостоились интереса художника. Гораздо больше влекла его живая природа, та самая природа, с которой он без устали сражался, ибо буйство стихий порой принимало угрожающие размеры. Так, однажды, когда он работал над очередной мариной, ему пришлось не только вкопать в грунт мольберт, плотно прикрепить холст к подрамнику, но и привязать палитру веревками к левой руке. Нам даже кажется, что, если сегодня мы начнем рассматривать созданные в Бель-Иле полотна — а их около тридцати, — вооружившись сильной лупой, то обязательно обнаружим на поверхности холстов мелкие песчинки, смешавшиеся с красками так, что уже невозможно отделить одного от другого. Воображение без труда нарисует

перед нами следующую картину: художник в своем клеенчатом плаще стоит на берегу перед мольбертом, не обращая внимания на свирепый ветер, и вглядывается в морскую гладь, пытаясь ухватить «невыразимый облик стихии».

С наступлением вечера он возвращался в свою комнату и там, при свете свечи, в тишине, нарушаемой лишь мышами на чердаке, писал очередное письмо Алисе. Нам известно 65 писем, отправленных из Кервилауэна в Живерни. И это не коротенькие записки! Большая их часть включает от пяти до десяти страниц, а некоторые написаны на 12 и даже 13 страницах! Да, времена, когда еще не был изобретен телефон, способны сделать счастливым любого историка! К сожалению, ответные письма Алисы не сохранились. Бывшая супруга Эрнеста Ошеде писала не реже и не меньше Клода, но он получил от нее ясный приказ уничтожить все до единого образцы ее эпистолярного творчества. Если же вдруг почта из Живерни запаздывала, Моне начинал беспокоиться:

«Радоваться мне нечему — до завтрашнего дня я остался без известий от вас. Подозреваю, что единственной причиной этой задержки стал почтальон из Живерни. Погода стоит ужасная, на море разыгралась настоящая буря, так что корабль точно не придет, и сегодня письма от вас и ждать нечего. Так что вы задолжали мне одно письмо…»

Неужели для Клода и Алисы снова настала пора страстной влюбленности? Кто знает… Во всяком случае, значительная часть переписки[91] позволяет догадываться о том, что бурные семейные сцены и не думали утихать.

«С того самого времени, как я приехал в Бель-Иль, — пишет Моне в одном из писем, — я писал вам ежедневно, не пропустив ни одного дня, но вы продолжаете осыпать меня упреками. Уверяю вас, никаких развлечений, которые помешали бы мне сделать это, здесь нет и быть не может. Почему вы мне не верите? Надеюсь, ваши нервы немного успокоились. Не представляю, что за дурное настроение заставило вас написать мне такие недобрые слова… И что за суровый тон! А если я начну отвечать вам в том же духе? И скажу, хорошо, можете делать что вам заблагорассудится… Все это отдает ссорой и предвещает новые споры. С какой радостью я думал о возвращении домой! А теперь я его боюсь! Вы обладаете странной особенностью: вам постоянно необходимо на что-то жаловаться. Я прекрасно понимаю: вам не терпится обрести свободу от меня. Но если б вы только знали, насколько безразличны мне все на свете женщины, кроме вас…»

На самом деле проблема заключалась в том, что один из них ничего не мог поделать со своим эгоизмом, а вторая — со своим

желчным, подозрительным характером.

Подружившись с Гюставом Жеффруа, «одинокий волк» Моне снова обрел способность улыбаться. Быстро проникнувшись взаимной симпатией, они отныне уже никогда не теряли друг друга из виду, регулярно встречаясь то в Крезе, то в Париже, то в Живерни, то в Лондоне. И деревушка Кервилауэн стала местом зарождения большой и продолжительной дружбы.

— Так вы знакомы с руководителем моей газеты? — однажды спросил Моне Жеффруа. — С Жоржем Клемансо? Ну, можете на меня рассчитывать! Я возобновлю ваше знакомство!

Таким образом, именно благодаря Жеффруа снова пересеклись жизненные пути Моне и Клемансо. Они не просто глубоко уважали друг друга и помогали друг другу. Их связывала крепкая, как гранит, дружба, прервать которую смогла лишь смерть одного из друзей.

Если уж мы заговорили о друзьях художника, то нельзя не упомянуть еще одного человека — Мирбо. Покидая 25 ноября Кервилауэн — «мрачный край, покоривший его сердце», — Моне отправился не домой, а в Нуармутье, где провел несколько дней в гостях у писателя. Тот, надо отдать ему должное, без конца бомбардировал художника напоминаниями: «Вы обещали!»

И Клод не устоял. Правда, всю неделю, проведенную в Ванде, на острове, где жил Мирбо, он не писал, или почти не писал. Гулял, знакомился с людьми, наслаждался пейзажами. Некоторые из них напоминали ему Голландию, другие — Средиземноморье.

«Я видел здесь места, достойные Бордигеры, — писал он. — Что за роскошная растительность! Кусты мимозы в бутонах, как будто попал в разгар лета!»

Не менее приятное впечатление произвела на него и «прекрасная Алиса» — супруга Октава Мирбо. «Очень милая, очень любезная…» — надо думать, эти эпитеты пришлись не по вкусу другой Алисе, с нетерпением поджидавшей его в Живерни.

И вот 2 декабря, в 9.30 утра, Моне наконец вышел из поезда в Верноне.

«Надеюсь, мне не придется снова, как это уже бывало не раз, почувствовать себя чужаком и непрошеным гостем, — предваряет он свое возвращение домой. — Как я рад, что скоро увижу всех вас! Все будет хорошо!»[92]

Глава 17
РОЛЛИНА

1887 год Моне безвылазно провел в Живерни. Насколько нам известно, ни одной сколько-нибудь длительной поездки на этюды он за этот год не совершил. Объяснялось его домоседство тремя причинами. Во-первых, он заканчивал работу над картинами, начатыми в Бель-Иле. Во-вторых, задумал понаблюдать за сменой времен года в своем саду на берегу Эпты. В-третьих, прислушался к словам Алисы:

— Детям очень хотелось бы, чтобы вы немного пожили с ними!

И он стал писать деревню Живерни. Он писал цветы, деревья, детей. Действительно, почти на половине из созданных за это время трех десятков полотен фигурирует младшее поколение семейства Моне-Ошеде. Вот Жан Пьер и Мишель, занятые рыбной ловлей. Вот Бланш за мольбертом, а рядом с ней Сюзанна с книгой в руках. Вот Жермена посреди луга. Вот снова Сюзанна, на сей раз с зеленым зонтиком… В том же году художник снова принял участие в международной выставке, организованной Жоржем Пети на улице Сез. Там он познакомился с Тео Ван Гогом — младшим братом Винсента, заправлявшим галереей на бульваре Монмартр. Тот купил у него «Море в Бель-Иле». Объявились и другие покупатели. Мы сказали, что он никуда не выезжал, однако в его записной книжке есть отметка о краткой вылазке в Лондон, которую он предпринял в первой половине мая. Отправился он туда по приглашению Джеймса Макнейла Уистлера — хорошего художника, работавшего бок о бок с Фантен-Латуром, Йонкиндом, Гийоменом и другими и часто посещавшего Онфлер. Моне встречался с ним на выставках. На этот раз его особенно пленил рассеянный свет, плавающий над Темзой. Он дал себе слово, что снова вернется в Лондон.

С его непоседливым характером, отступавшим только перед необходимостью подолгу стоять перед мольбертом, Моне быстро заскучал в Живерни. Семья — это, конечно, хорошо, но нельзя же забывать и о друзьях! И он зазывает их к себе.

«Приезжайте ко мне в деревню», — писал он де Беллио, Мирбо, Жеффруа, поэту Жану Ришпену, Родену и американским художникам, чье творчество высоко ценил, например, Теодору Робинсону и Джону Синджеру Сарджент. Из чего следует, что первые заокеанские туристы появились в Живерни еще в 1887 году!

Моне с большой теплотой относился к Огюсту Родену, которой платил ему полной взаимностью. Впрочем, иногда между ними происходили настоящие битвы. Оба отличались редкостным упрямством — два монолита, два непоколебимых утеса.

Но при этом они прекрасно понимали друг друга и часто подшучивали друг над другом — беззлобно и к взаимному удовольствию.

Однажды Роден приехал погостить в Живерни. Близилось время ужина, и друзья направились в столовую. В дверях Моне остановился, пропуская Родена вперед.

— Ах! Что вы, что вы! Только после вас! — воскликнул скульптор. — Разумеется, вы хозяин дома, а я гость, но меня приучили уважать старших!

Моне мгновенно подхватил предложенный тон. Продолжая указывать гостю дорогу, он провозгласил:

— Прекрасно сказано! Старших нужно уважать!

— Позвольте, позвольте… Вы что же, полагаете, что вы моложе меня?

— Э-э… Видите ли… Я, конечно, не уверен… Вы с какого года?

— С сорокового.

— И я с сорокового. А вы в каком месяце родились?

— В ноябре.

— И я в ноябре! А какого числа? Четырнадцатого!

— И я четырнадцатого!

На самом деле Роден слегка покривил душой. Крестили его действительно 14 ноября 1840 года, но родился он 12-го. Следовательно, Моне действовал совершенно правильно, пропуская его впереди себя… Впрочем, безотносительно к тому, в каком порядке они занимали свои места за столом, ели оба с завидным аппетитом. И Роден, и Моне — оба любили хорошо покушать.

«Г-н Моне ел довольно много, — вспоминает Анна Превост[93], одна из последних кухарок художника, — но ел далеко не все подряд. У него была целая куча книг по кулинарии, и он подолгу листал их, выискивая рецепт какого-нибудь блюда, которое затем просил меня приготовить. Он, например, очень любил грибы, особенно те, что г-н Мишель сам собирал в лесу. Еще он любил спаржу, только не переваренную, а полусырую».

«Салаты он предпочитал заправлять сам, — добавляет к этому Жан Пьер Ошеде[94], — но надо было видеть, как он это делает! Он насыпал в салатную ложку перец горошком, предварительно раздавленный, посыпал его крупной солью,

заливал оливковым маслом и капелькой винного уксуса так, что соус едва не переливался за края ложки, а потом щедро поливал этой смесью салат, листья которого становились черными от перца. Есть такой салат мог только сам Моне, да еще моя сестра Бланш — она любила все то, что любил он».

«За обедом он регулярно делал „нормандскую дыру“»[95], — продолжает Анна Превост.

Что еще он любил?

«Утром, за завтраком, он ел поджаренные сосиски; он ведь много физически трудился. Запивал он их добрым стаканом сансера. О да, он знал толк в винах, г-н Моне! Нам с мужем пришлось оставить службу у него, потому что детям надо было учиться и мы хотели перебраться поближе к Парижу. Я не знала, как сказать ему, что мы уходим! И решила прежде поговорить с г-жой Бланш — он звал ее Бланшеттой. Она мне сказала: „Ну хорошо, я сама сообщу Клоду эту печальную новость. Он у себя в мастерской“. Что тут началось! Он ужас как разозлился!

— Я ничего не стану дарить вам на Новый год!

— Но мы вынуждены уехать… Дети…

— Я готов увеличить вам жалованье!

— Но дети…

Тогда он смягчился.

— Я ведь так доволен вашей работой! Я всегда говорил о вас только хорошее… Ну что же, милая моя Анна, мне будет очень не хватать ваших ошпаренных каштанов…»

Вечером 13 января 1888 года Моне остановился ночевать в Тулоне. Он ехал в Антибы. В поезде класса «люкс» — к черту экономию! Впрочем, к этому времени он уже более или менее рассчитался со всеми старыми долгами, картины продавались, так что дела его обстояли неплохо. Правда, кое-кто из слуг, работавших в доме в Живерни, жаловался на задержку жалованья, но он перед отъездом поручил Алисе разобраться с этим мелким недоразумением.

Итак, он снова покинул г-жу Ошеде, детей и розовый дом и устремился навстречу Великой Синеве. Домочадцы не увидят его три с половиной месяца! Зато по возвращении он «разродится» 36 новыми полотнами! И «роды» будут крайне болезненными. Сколько раз он впадал в ярость и отчаяние, сколько раз опускал руки и снова вступал в изматывающую борьбу с безжалостным южным солнцем! Свидетельством тому — обильная переписка, адресованная «милостивой государыне».

«Ну что за несчастное занятие, эта проклятая живопись! Картина не получается… Мне плохо, у меня ничего не выходит…

Это такая чистота, такая розовая прозрачность, что малейший неверный мазок смотрится грязным пятном… Тут как будто плаваешь в голубизне, вот ужас! Я изнемог в борьбе с солнцем… А что это за солнце! Столько солнца утомляет! Я устал, я боюсь. Надо сказать честно, мой глаз теряет остроту. Линии смазываются… Мне страшно, что я опустел, кончился как художник… Я в отчаянии. Неужели мне так и суждено остаться неудачником? О проклятье, о безнадежность! Я совершенно измотан, и голова раскалывается…»

Он, конечно, сгустил краски, явно переложил черного. А черное для Моне — это не цвет!

К счастью, минуты упадка духа перемежаются периодами воодушевления. «То, что я привезу отсюда, — это сама нежность, белая, розовая, голубая, залитая волшебным светом… Я достиг того состояния, в котором каждое движение кисти глубоко осмысленно… Теперь я могу писать в любую погоду. Показал свои наброски завсегдатаям трактира. Они, конечно, не много в этом смыслят, но даже они были поражены ощущением света и духом этого края…»[96]

В феврале он покидал Живерни со спокойным сердцем. Во всяком случае, денежные заботы на время отступили. Но в первый же день мая, вернувшись домой, он обнаружил Алису в тревоге и беспокойстве. Она продолжала жаловаться ему и в письмах, но он неизменно отвечал ей одно: «Избавьте меня от перечисления ваших денежных затруднений и прочих неприятностей. Вы прекрасно знаете, что, находясь здесь, я ничем не могу вам помочь!»

Сам он, поселившись в огромной и плохо отапливаемой комнате замка Пинед, ни в чем себя не ограничивал. Что ж поделаешь, он был не из тех, кто прячет деньги в чулок.

При этом на советы Алисе он не скупился: «Не безумствуйте… Ведите себя осмотрительно… Потерпите еще немного…»

В результате, не успев еще толком распаковать привезенный из Антиб багаж, он удостоился бурной семейной сцены.

— Опять все по новой! — возмущенно кричала Алиса. — Да когда же это кончится? Господин художник едет на юг, а на меня дождем сыплются счета! От кредиторов нет покоя! Слугам не плачено!

И так далее, и тому подобное.

Признаемся, эту сцену мы вообразили, но разве не выглядит она достоверной?

Попробуем понять и Алису. Пусть она порой предстает перед нами особой малосимпатичной, но невозможно отрицать, что ей

приходилось несладко. Воспитать восьмерых детей, это что-нибудь да значит! Сегодня, столетие спустя, женщин, способных на такой подвиг, можно пересчитать по пальцам.

Кстати, что в это время поделывали дети? Они ведь успели подрасти. Старшая, Марта, превратилась в красивую двадцатичетырехлетнюю женщину. Младшему, «непоседе» Мишелю, исполнилось 10 лет. Между старшей и младшим была «очаровательная» Бланш. Ей исполнилось 23 года, она бредила живописью, намереваясь посвятить ей всю свою жизнь, и даже планировала предложить одну из своих картин на Салон.

— Если не боится получить отказ и если ей этого хочется, пусть так и сделает! — разрешил «папа Моне».

Был Жан. В 21 год он предстал перед военной комиссией и, к великому огорчению отца, питавшего крайнюю неприязнь к военной форме и пускавшегося на любые ухищрения, лишь бы избавиться от необходимости тянуть солдатскую лямку (он боялся, что его пошлют в «нездоровые места»), был признан «годным к военной службе». Были еще двадцатилетняя «прелестница Сюзанна» — прекрасная как сильфида; девятнадцатилетний Жак — «хороший мальчик», никогда не доставлявший взрослым особенных проблем; пятнадцатилетняя «лапочка Жермена», превосходно вписавшаяся в деревенскую жизнь и успевшая обзавестись многочисленными подружками; наконец, одиннадцатилетний «малыш» Жан Пьер — неразлучный дружок и верный соучастник шалостей самого младшего в семье, десятилетнего Мишеля — он же Мими, он же «бедная крошка», — обожавшего ласкаться к своей приемной матери Алисе и нежно называвшего ее Нянюшкой.

Хуже всех из них жилось старшей, «обольстительной» Марте. Замкнутая, постоянно недомогающая, она редко улыбалась и часто плакала.

— Ее надо свозить в Форж, — предложил Моне.

— Ее надо выдать замуж! — отвечала Алиса.

— А что… — задумался Моне. — Может, за кого-нибудь из этих художников-американцев? Из тех, что сейчас в Живерни? — И, помолчав немного, добавил: — Я готов на любые жертвы! Главное, пусть не отчаивается![97]

Но если Марту занимали душевные переживания, то на Моне снова свалились финансовые неурядицы. Он ждал очередной выставки, но…

«В этом году я ничего не устраиваю…» — сообщил ему Жорж Пети.

Моне эта новость привела в ярость.

— Подлец! Мошенник! — негодовал он. — Он хочет меня

разорить! Я на него в суд подам!

Катастрофа казалась неизбежной. Может, вернуться к Дюран-Рюэлю?..

— О нет! Опять попасть в лапы этой шайки! Я и так едва от них отделался!

На самом деле он не поладил с сыном Дюран-Рюэля, Шарлем, который остался за главного в галерее Лафит, пока его отец, Поль, исследовал новые возможности в США.

— В делах самое важное — полная честность! — заявил он Шарлю, после чего ушел, хлопнув дверью.

Оставался еще Тео Ван Гог и его галерея, приютившаяся в подвальчике на Монмартре. Моне успел лишь намекнуть ему о возможном сотрудничестве, как тот немедленно примчался в Живерни.

— По рукам! Сделаем так, — начал брат Винсента. — За Антибы (речь шла о десяти полотнах) я вам сразу плачу одиннадцать тысяч девятьсот франков. Но это еще не все. Вы получите пятьдесят процентов от прибыли за каждую проданную картину! Вернисаж назначен на пятнадцатое июня. Будьте к нему готовы. После Парижа я устрою вам выставку в лондонской галерее Гупиль!

Какое облегчение испытал Моне! Довольный, успокоенный, он, едва закончилась уборка летнего урожая, мог заняться этюдами. На сей раз его внимание привлекли стога. Выстроенные перед рядами итальянских тополей, эти кучи соломы знаменовали начало нового «серийного» этапа в творчестве художника. После серии «Стога» пошла серия «Тополя»…

В связи с этими тополями любопытную историю передает Рене Жемпель, автор книги «Дневник коллекционера».

Однажды Моне, явившись поутру писать деревья, остановился, охваченный ужасом: стволы были помечены красными крестами.

— Что это значит? Их что, собираются срубить? Нет, этого быть не может!

Он бросился наводить справки.

— Ну да, — подтвердил его страхи местный крестьянин. — Их покупает соседняя лесопилка…

Моне помчался к владельцу земельного участка.

— За какую сумму вы продаете тополя на берегу Эпты?

— За столько-то.

— Просите больше! Разницу я вам выплачу! Только, умоляю, дайте мне время закончить наброски!

С ума спятил, решил про себя землевладелец. Но на сделку согласился.

С Моне подобные «приключения» случались не раз.

Так, весной 1889 года, он почти три месяца — с марта по май — провел в Крезе, в гостях у Мориса Роллины. Здесь он начал работать над серией картин, запечатлевших дуб, который рос тогда в местечке Конфолан, на каменистой земле у слияния двух рукавов реки Крез. «Это старое, словно покрытое сединой, грозное в своем одиночестве дерево простирало узловатые ветви над шумно ревущим потоком, в котором яростно сталкивались воды обоих Крезов…»[98] Этот дикий уголок природы производил исполненное глубокой грусти впечатление.

Итак, в начале мая Моне явился сюда, к старому дубу, намереваясь завершить работу над набросками, сделанными в конце февраля и начале марта. И с ужасом увидел, что дуб совершенно изменил облик! Он покрылся молодой зеленой листвой…

Что же предпринял Моне? Он разыскал владельца земли, на которой росла его «модель», и обратился к нему с предложением:

— Плачу вам пятьдесят франков, если вы оборвете с дуба все листья. Он должен быть точно таким, каким я его видел зимой…

— Пятьдесят франков? — недоверчиво переспросил крестьянин. — Хм, я согласен!

В четверг 9 мая в своем ежевечернем послании Клод сообщал Алисе:

«У меня большая радость. Я получил разрешение оборвать с дуба все листья! Притащить к этому оврагу лестницы нужной высоты оказалось нелегким делом, но в конце концов все уладилось. Со вчерашнего дня над деревом трудятся двое рабочих. Ну разве не удача — написать в это время года зимний пейзаж?»

Морис Роллина![99]

Идея привезти Моне к нему в гости, в Крез, осенила Жеффруа в феврале 1889 года. Сорокатрехлетний поэт, когда-то начавший свою карьеру исполнением песен в кабаре «Черный кот», только что выпустил в свет книгу «Неврозы» — образец творчества, проникнутого самыми кладбищенскими настроениями. Жил он в полном уединении, в деревне Фреслин, что неподалеку от Крозана, довольствуясь обществом собак и Сесили — бывшей актрисы, — которую именовал своей «Мадонной»…

Дом представлял собой низкое, типично деревенское строение с окнами, прикрытыми зелеными ставнями — точно такие вскоре украсят жилище Моне в Живерни. Одним словом, это была затерянная в глуши хижина, хозяин которой радовался любым гостям и охотно сидел с ними до позднего вечера за стаканчиком вина и дружеской беседой.

Эдмон де Гонкур, хорошо знавший Роллину, оставил о нем такие воспоминания в своем дневнике: «Вьющиеся тугими кольцами волосы, немного напоминающие змей, обвивавших голову Медузы Горгоны, по-гречески красивое лицо с правильными чертами, но как будто помятое, изжеванное, а за всей этой внешностью — причудливый ум, выдающий брожение самых странных, самых мрачных и извращенных идей; одним словом, смесь крестьянина, актера и ребенка… Человек непростой, но обладающий бесспорным обаянием…»

В хозяйстве Мориса и Сесили имелась всего одна большая кровать, поэтому после долгих, за полночь, посиделок гостей при свете фонарей провожали до единственной в деревушке гостиницы, располагавшейся напротив церкви. Владела ею мамаша Баронне. Комфорт здесь предлагался весьма относительный, но какое все это имело значение, если рядом были прекрасные друзья, а окружающие пейзажи поражали «строгой и оглушительной красотой»?

О вдохновении, посетившем здесь Моне, говорит простой факт: он написал около 20 картин. Все они пронизаны удивительным светом умирающей, но никак не желающей умирать зимы. Поймать этот особый свет оказалось совсем не просто.

«Я нахожусь здесь в окружении природы, которую никак не могу ухватить, — признавался художник в письме к Жеффруа. — А река! Ну что это за река! Вода в ней то поднимается, то снова уходит; то она зеленая, то желтая, то вообще не имеет цвета, а завтра вообще может превратиться в бурный поток… Мне очень нужна дружеская поддержка, а на Роллину в этом смысле рассчитывать не приходится. Если я делюсь с ним своими затруднениями, он только вгоняет меня в еще более мрачное настроение. Живопись, по его мнению, — самое странное занятие на свете…»

Несмотря ни на что, художник и поэт вскоре стали закадычными друзьями. А уж что вытворял при виде Моне Пистолет! «Пистолетом, — рассказывает Жеффруа, — звали одну из собак Мориса. Он сразу признал Моне за своего и не отходил от него ни на шаг — с самыми благородными намерениями. Очевидно, он опасался, что художнику угрожает какая-нибудь опасность, и считал своим долгом его защищать. Каждый вечер он провожал его до дверей гостиницы, а утром появлялся там в назначенный час, ложился на коврике у порога и терпеливо поджидал дружка. Образ Моне надолго запечатлелся в собачьей памяти. Уже после его отъезда Роллина иногда обращался к своему псу с вопросом:

— А где господин Моне?

И бедный Пистолет, навострив уши, начинал кружиться на месте, подпрыгивать и жалобно тявкать, будто плакал…»

Верному Пистолету в отличие от игривого песика владельцев постоялого двора в Пурвиле не повезло — неблагодарный друг не счел нужным увековечить его облик на одном из своих полотен.

Однажды днем Моне, Жеффруа и Пистолет прогуливались в окрестностях деревни. Устав, присели отдохнуть.

— Пора двигать к дому! — через некоторое время объявил Моне. — Вечером холодает быстро…

И они пошли назад. Вдруг Жеффруа, спохватившись, воскликнул:

— Проклятье! Я потерял свой черный плащ! Наверное, забыл там, где мы сидели…

Моне обернулся и проговорил:

— Ну конечно! Вон он лежит!

— Да нет, это не плащ! Это ствол дерева…

— Что вы, Жеффруа, дорогуша! В природе такого черного цвета не бывает…

Глава 18
ЭРНЕСТ

Примерно за две недели до возвращения домой, в Живерни, Моне, все еще находившийся в деревне Фреслин, в департаменте Крез, заболел. Он простудился. Прострел в спине не давал ему разогнуться, он испытывал сильные боли. О какой работе в таком состоянии могла идти речь? На самом деле, этот крепыш ростом метр шестьдесят пять сантиметров не отличался железным здоровьем. А с возрастом все застарелые болячки давали себя знать, стоило ему промочить ноги или провести ночь в сыром помещении.

«Крез — суровый край, — пишет он Алисе. — Я растираюсь чем только можно, пью горячее, но лучше мне не становится. Не рассчитывайте, что я вернусь довольным написанными здесь холстами, — это невозможно!»

Он, как всегда, слегка преувеличивает. Просто это был очередной приступ дурного настроения. Причины тому следовало искать в болезни, плохой погоде, а также в письмах Алисы, которая считала, что он отсутствует слишком долго, и не скрывала от него своего недовольства.

«Вы не правы! — отвечал он ей. — Я задерживаюсь здесь вовсе не потому, что мне так полюбилось общество Роллины! И вообще, прекратите волноваться. Они, бесспорно, очень милые и обходительные люди, но вы прекрасно знаете, что никто кроме вас мне не нужен и не будет нужен никогда! Неужели так необходимо каждый раз перед моим возвращением затевать эти бессмысленные разговоры? Надеюсь, что это не так, но вы, со своей стороны, должны избавить меня от новых ссор. Поймите, я и без того раздражен до крайности. Почему каждый раз, стоит мне оказаться рядом с какой-нибудь женщиной, у вас возникают подобные мысли? Неужели вы до сих пор так и не разобрались во мне?»[100]

Их встреча состоялась 19 мая, в воскресенье. Должно быть, обстановка в доме не слишком способствовала проявлениям взаимной нежности, поскольку Клод задумал снять в Париже, на улице Годо-де-Моруа, небольшую квартирку. Здесь он надеялся время от времени уединяться с Алисой вдали от шумной ватаги детей.

Не успел он вдоволь налюбоваться вновь обретенными берегами Эпты, как пришло письмо от Роллины:

«…Пистолет целыми днями обнюхивает тропу, по которой вы

с ним гуляли, и регулярно наведывается с обыском к мамаше Баронне. Видел ваше дерево — вся часть кроны, обращенная к реке, покрылась новой листвой. Желаю вам доброго здоровья и успешной работы. Держите меня в курсе ваших новостей. Пистолет говорит, что мечтает пожать вам лапу. Тигренок и Сатана шлют горячий кошачий привет!»

Нет, Морис Роллина явно не оценен по достоинству французским литературоведением!

Из Живерни Моне время от времени ездит в Париж, где Жорж Пети готовится к новой выставке. Судя по всему, владелец галереи сумел восстановить добрые отношения с художником. Кроме Моне, в выставке намеревался принять участие и Огюст Роден.

Париж в те дни бурлил радостным возбуждением. Президент Карно только что торжественно открыл Всемирную выставку, посвященную столетию Французской революции. Подлинной «звездой» мероприятия стала, разумеется, «железная дама» — башня, недавно построенная инженером Эйфелем.

— Вы только взгляните на нее! — призывал зрителей автор проекта. — Она выглядит так, словно ее принес сюда ветер!

Моне воздержался от комментариев в адрес «четырехугольной металлической пирамиды с изогнутыми ребрами», вознесшей свой нос на 300 метров от земли в горделивом стремлении пронзить облака. Он осмотрел ее с задумчивым видом, но не произнес ни слова.

«Моне — молчун, — отзывался о художнике Эдмон де Гонкур, — но как красноречив взгляд его черных глаз!»

15 июня в галерее на улице Сез приступили к развешиванию картин. Благодаря поддержке друзей-коллекционеров Жоржу Пети удалось собрать около 150 полотен.

А 21 июня Клод Моне закатил ему скандал.

— Я возмущен! — гневно говорил он. — Что вы сделали с моими картинами? И поправить уже ничего нельзя! Так я и знал! Куда вы повесили мое лучшее панно? За рядом скульптур, там, где его вообще не видно! Это неслыханно! Не надейтесь на мое появление в зале! Ноги моей там не будет! Я уезжаю в Живерни!

И пробормотал себе под нос:

— Странно повел себя Роден…

Пети попытался воздействовать на скульптора:

— Э-э, милейший господин Роден! Видите ли, вашему другу Моне очень не понравилось, как мы разместили работы…

И получил в ответ:

— Плевать я хотел на Моне! Плевать я хотел на целый свет! Я занимаюсь исключительно собой![101]

Вернувшись в Живерни, в свою «башню из слоновой кости», Моне целиком отдался хлопотам об «Олимпии» Эдуара Мане. Эта картина, которую безмозглая критика называла в свое время «портретом мерзкой одалиски с желтым животом, подобранной на помойке», должна висеть в Лувре! Нельзя допустить, чтобы этот шедевр достался янки!

И он на несколько недель откладывает в сторону кисти и, вооружившись гусиным пером, нервно строчит письмо за письмом.

Его идея заключалась в том, чтобы собрать средства на покупку картины по подписке.

«Необходимо набрать 20 тысяч франков, — сообщает он всем своим друзьям, бывшим соратникам Мане. — Именно такую сумму мы должны предложить вдове».

Первый ответ пришел 14 ноября 1889 года. В конце письма стояла подпись: Антонен Пруст. Этот человек, в годы правления Гамбетты короткое время занимавший пост министра изящных искусств, теперь служил комиссаром Всемирной выставки.

«Я не сомневаюсь в том, что Мане получит свое место в Лувре, например, рядом с мастерами испанской школы, — писал он, — но благодаря пейзажам, а уж никак не „Олимпии“!»

Тем не менее он внес в подписной лист 500 франков.

«Даю тысячу франков», — отозвался доктор де Беллио.

«Тысяча за мной», — не отстал от него Руар — подлинный фанатик импрессионизма.

«Вношу тысячу франков», — поддержал их Дюре.

«Две тысячи франков», — расщедрилась Винаретта Эжени Синджер, супруга графа де Сей-Монбельяра, уже успевшая, как мы помним, обогатить свою коллекцию полем голландских тюльпанов.

И так далее, и тому подобное.

«Готов выделить триста франков», — сообщил Мирбо.

«Примите и мои 25 франков», — предложил Жеффруа, отнюдь не богач.

«У меня за душой ни гроша, — написал Роллина. — Посылаю вам лишь корзину слив, собранных во Фреслине. Они превосходны».

Справедливости ради отметим, что Роллина ухитрялся существовать на пять тысяч франков в год[102].

«Нет, я в этом не участвую, — отверг предложение Золя. — Мане должен висеть в Лувре, но это должно произойти иначе. Государство должно само признать его талант. А так это выглядит каким-то подарком и отдает групповщиной и рекламой».

Отказ Золя нисколько не обескуражил Моне. Он упорно продолжал начатую кампанию. В феврале 1889 года он пишет граверу Бракмонду:

«Вы не правы, утверждая, что я надеюсь на счастливый случай и не отдаю себе отчета в значимости предпринятого мной демарша. Я достаточно долго и серьезно занимался этим делом, чтобы знать наверняка: эти господа из Консерватории[103] почувствовали себя очень и очень неуютно. Пока речь шла о том, чтобы подарить полотно Лувру, они хранили полное спокойствие и улыбались про себя, дивясь моей наивности. Как же, у них есть свой удобненький устав, благодаря которому они имеют право отвергнуть любую картину, даже не давая себе труда провести ее обсуждение. Но полотно, переданное в дар государству, ставит вопрос о ценности Мане как художника. Разумеется, я понимаю: им достанет глупости и невежества, чтобы отвергнуть „Олимпию“, но в этом случае вся вина ляжет на них. А „Олимпия“ все равно останется достоянием государства. Картина будет храниться у одного из подписчиков, и как только ситуация изменится, обязательно найдутся люди, которые сочтут за честь выставить ее либо в Люксембургском дворце, либо в Государственном музее[104]. Главное, что это будет уже свершившийся факт — это прекрасное полотно останется у нас. Что бы сейчас ни говорили хранители „прекрасного“, им потом будет стыдно, а величие Мане от этого только возрастет. Благодарю вас за взнос в 50 франков».

Сам он пожертвовал тысячу.

«Как только ситуация изменится…» — сказал он. Ситуация изменилась в 1907 году. Участие в подписке приняли все живописцы, выставлявшиеся на Салонах, — Каролюс-Дюран, Жервекс, Бенар, Болдини, Пювис де Шаванн, Фантен-Латур, Фелисьен Роп, Теодюль Рибо. Тряхнули мошной и импрессионисты — все, кроме Берты Моризо. Почему она отказалась поддержать благое дело? Неизвестно. Помимо художников, внесли свою лепту Малларме и Гюисманс. В результате «Олимпия» попала в Люксембургский музей, часто именуемый «передней» Лувра. А в 1907 году, в правление Жоржа Клемансо, который, заняв пост президента Совета, с ходу отмел все возражения чиновников от искусства, полотно переместилось в Лувр. Моне победил.

Подписание договора о дарении картины государству состоялось 26 августа 1890 года в Верноне, на улице Альбюфера, в нотариальной конторе, принадлежавшей мэтру Гремпару. Это великолепное белое здание цело и поныне.

Пройдет еще 32 года, и Моне снова явится в ту же самую

контору — на сей раз для того, чтобы подписать акт о дарении собственного полотна музею Оранжери. Речь шла о «Декорациях» («Нимфеях»).

Но в промежутке между этими двумя событиями он придет сюда еще раз 19 ноября 1890 года. Вместе с ним к назначенному часу подтянется и Луи Сенжо, владелец дома в Живерни. И оба подпишут документ о передаче прав собственности. Несколькими днями раньше Моне сообщил эту новость Полю Дюран-Рюэлю (значит, связь между ними окончательно не прервалась):

«Вынужден просить у вас значительную сумму денег, поскольку намереваюсь купить дом, в котором сейчас живу. В противном случае мне придется покинуть Живерни, что было бы крайне огорчительно, — я убежден, что нигде больше не найду ни такого удобного жилья, ни такой прекрасной местности!»

Дюран-Рюэль не держал на него зла.

Что касается Моне, то он заключил выгодную сделку. «Землероб» Сенжо запросил с него за дом всего 22 тысячи франков[105], да при этом согласился получать плату частями, в четыре приема. Вносить деньги следовало раз в год, 1 ноября, начиная с 1891 года.

Летними днями 1890 года, когда стояла особенно хорошая погода, он на время откладывал в сторону толстое досье по делу «Олимпии» и отправлялся с Бланш бродить по деревенским полям в поисках идеального стога. Именно в этот период он начал работу над очередной большой серией полотен на один сюжет. Думаем, эта парочка стоила того, чтобы на них взглянуть! Бланш толкала перед собой тележку, в которой впритирку лежали мольберт и добрый десяток холстов. Клод вышагивал впереди, озирая окрестности. Обнаружив подходящий объект, он останавливался, запускал пятерню в бороду, поднимал голову, прикидывая, на сколько хватит солнца, отступал на шаг-другой, решительно устанавливал в рыхлую землю мольберт, раскидывал огромный матерчатый зонт из небеленого полотна, раскрывал маленькую переносную треногу, закуривал свою вечную сигарету… и наконец брал в руки длинную кисть.

— Бланш! Живо! Другой холст! — командовал он примерно через час. — Шевелись! Солнце меняется! Эту продолжу завтра в то же время…

И тут же вступал в новую схватку с солнцем, ласкающим своими лучами кучу сухой травы.

— Это фантастика! — вспоминает один из очевидцев этих сеансов. — В день он мог работать над пятнадцатью картинами! Мы можем видеть на них серый стог раннего утра, розовый шестичасовой стог, желтый одиннадцатичасовой, голубой в два

часа дня, фиолетовый — в четыре, красный в восемь вечера, и так далее.

Как-то утром произошла небольшая катастрофа. Явившись на облюбованное накануне место, чтобы закончить начатые полотна, Клод и Бланш обнаружили рядом со «своим» стогом крестьянина с вилами.

— Извиняюсь, господин Моне, — проговорил тот, — только сенцо-то убирать пора! Погода, она ждать не будет…

— Как? — не поверил Моне. — Нет, не делайте этого, умоляю!

— Оно, конечно, только ведь у нас свой интерес…

— Хорошо! Я беру у вас этот стог в аренду! Вы не прогадаете. Сколько?

Детям «городского чудака» тоже порой приходилось сталкиваться с непониманием местных жителей. Вот что рассказывает Жан Пьер Ошеде[106]: «Зима 1890–1891 года выдалась ужасно морозной, я другой такой даже и не припомню. Жители правого берега ходили в Вернон пешком, прямо по льду, забыв про мост. Болото, расположенное между Эптой и Сеной, тоже замерзло. Мне тогда было 13 лет, а Мишелю 12, и мы, схватив под мышку коньки, спешили на это замерзшее болото. Мы проводили там буквально все свободное время, бежали туда прямо из школы, а иногда катались до позднего вечера, потому что жители деревни устраивали на катке празднества. Вообще-то болото принадлежало коммуне, но на тот год его сдали в аренду одному „землеробу“. Летом он использовал его как выгон для скота, но ясно, что зимой на болоте никто не пасся — снегом, что ли, коровам питаться? Но хитрый крестьянин решил извлечь выгоду из своего временного владения. Приходим мы как-то на каток, а он останавливает нас и требует, чтобы мы ему заплатили! Иначе, говорит, не пушу кататься!»

В те самые дни, когда Жан Пьер Ошеде выяснял отношения с деревенским «рэкетиром», человек, чье имя он носил, медленно умирал в Париже. Здоровье Эрнеста, резко пошатнувшееся в ноябре 1890 года, ухудшалось с каждым днем. Достаточно взглянуть на его портрет[107] тех лет, чтобы без труда поставить диагноз: он страдал избыточным весом и гипертонией. В свои 53 года он продолжал вести тот же образ жизни, что вел в 20, правда, без своего тогдашнего состояния. Ел без ограничений, пил сколько хотелось, курил сигару за сигарой, но главное, с тех пор, как расстался с Алисой, без конца переезжал с места на место, не в состоянии где-нибудь задержаться надолго. К тому времени, о котором идет речь, он нашел очередное пристанище в

гостинице на улице Боден[108], неподалеку от его места работы. О да, Эрнест работал! Читатель, возможно, помнит о злосчастном начале его профессиональной карьеры в журнале «Ар де ля мод» — беднягу уволили по выходе первого же номера! Но это его нисколько не обескуражило. Располагая обширными связями в мире художников, он без труда нашел себе новое место и стал ведущим рубрики, посвященной живописи, в «Магазин Франсе иллюстре». Того, что он зарабатывал, хватало на жизнь, но, к сожалению, справляться со своими обязанностями ему становилось все труднее. Он сильно располнел и жестоко страдал от боли в ногах, впрочем, не придавая этому большого значения — подумаешь, ревматизм или подагра… На самом деле у него, вероятно, начинался артрит. Доктор Гаше, вызванный для консультации, выдал строгие рекомендации:

— Вам необходим полный покой. Спиртное исключить. И бросайте курить.

Странные они люди, эти врачи. Послушать их, так жить вообще вредно. К тому же об убийственной силе табака в ту пору еще даже не догадывались.

Не успев закрыть дверь за доктором Гаше, Эрнест с наслаждением закурил отличную гавану и щедрой рукой плеснул себе горькой настойки пикон.

— Вот лучшее на свете лекарство! — довольно усмехался он.

К концу февраля ему стало не до смеха. Однажды утром он с ужасом обнаружил, что не в состоянии подняться с постели. Его разбил паралич. Первая мысль — надо срочно известить Алису. Она действительно примчалась по первому зову. И немедленно организовала перевозку больного в небольшую комнату в доме на улице Лафит, предоставленную ей друзьями, — не в гостинице же ему умирать![109]

— Не уходи, не бросай меня! — молил ее Эрнест.

И она его не бросила. Они уже десять лет не жили вместе, но теперь, когда он лежал беспомощный, «раздираемый чудовищными болями», она не могла от него отвернуться. Все же в прошлом, во времена роскошных приемов в замке Роттенбург, она его искренне любила. Теперь любовь ушла, но осталась жалость. И она будет за ним ухаживать, уверенная, что Клод поймет ее и не осудит. При всем своем равнодушии к религии он не может отказать ей в праве протянуть руку помощи умирающему. И разве не она в пору их жизни в Ветее заботилась о Камилле, которая и скончалась-то у нее на руках?

Мучения Эрнеста продолжались шесть дней и ночей. Ранним утром 19 марта Алиса закрыла ему веки.

Что за жестокая ирония судьбы! Разорившийся меценат и

один из первооткрывателей Моне скончался в доме на улице Лафит — на той самой улице, где 51 год назад родился сам художник, его друг и счастливый соперник.

— Надо срочно послать к Дюран-Рюэлю, — сказал Моне Жаку, старшему сыну усопшего. — Пусть даст полторы тысячи франков. Я сам оплачу похороны.

Панихида состоялась в церкви Нотр-Дам-де-Лоретт — в ней когда-то крестили Моне!

Из Парижа прах Эрнеста перевезли в Живерни. Алиса купила место на кладбище возле старой церкви Святой Радегонды. Это был большой участок — десять квадратных метров. На могиле водрузили мраморный крест. Пройдет еще 35 лет, и под этим крестом Клод и Эрнест, разлученные жизнью и женщиной, встретятся снова, чтобы не разлучаться уже никогда.

А читатели «Фигаро» 19 марта 1891 года прочитали в газете такую заметку: «Г-н Эрнест Ошеде — один из бывших директоров торгового дома „Шевре-Оберто“, позавчера ночью скончался в результате паралича, разбившего его месяцем раньше. Г-н Ошеде, владевший огромным состоянием и прославившийся своими легендарными вечерами, составил превосходную коллекцию шедевров современной живописи. В последнее время он сотрудничал с журналом „Магазин Франсе иллюстре“. Ошеде шел пятьдесят четвертый год. В мире литературы и искусства у него остались многочисленные друзья».

Едва похоронили Эрнеста, как слегла Алиса. Сказались последствия перенесенного шока. Больше недели она не выходила из своей комнаты. Жан тоже заболел. По примеру своего отца, бывшего африканского стрелка, он с трудом мирился с необходимостью носить солдатскую форму. Правда, гарнизон, к которому его приписали, квартировал в Гавре.

«Мой сын сержант Моне, — писал бывший „почти дезертир“ лейтенант-полковнику Виталису, командующему 129-го пехотного полка, — не вполне здоров. Не могли бы вы освободить его от несения военной службы?»

К этому времени победитель в войне 1870 года Бисмарк успел выйти в отставку (это случилось в марте 1890 года), но во взглядах, которыми посматривал на Францию новый германский император молодой Вильгельм II, не было ничего от взора Химены[110]. Угроза войны по-прежнему сохранялась.

В этих обстоятельствах рассчитывать на то, что Жана Моне отпустят из армии, не приходилось. Отцу удалось лишь выбить для него двенадцатинедельный отпуск.

Через три месяца после смерти мужа Алиса, прочно взявшая в свои руки бразды правления домом в Живерни и в глубине души

вынашивавшая план сделаться его официальной хозяйкой, устроила небольшое семейное празднество в честь первого причастия Жан Пьера и Мишеля. Если отец атеист, это еще не причина, чтобы не водить детей в церковь!

Моне тем временем заканчивал работу над «Стогами». Серия оказалась настоящим успехом. У Дюран-Рюэля — все же старая любовь не ржавеет! — покупатели буквально рвали картины друг у друга из рук. За «Стогами» последует цикл «Тополя» с изображением деревьев, растущих по берегам Эпты. Их тоже моментально расхватают. В семье наконец-то появятся деньги. Горшок с похлебкой будет весело булькать на плите, и Моне сможет нанять прислугу, в том числе своего первого садовника. Уже недалек был тот день, когда он превратится во владельца ухоженного сада. У него будет работать семь садовников, стараниями которых сад, по выражению Саша Гитри, обретет облик «прекраснейшего на земле». Тот же Гитри вспоминает, как стал однажды свидетелем одной поразительной сцены. Моне созвал всех своих садовников и торжественно объявил им:

— Господа! В этом году мой сад должен быть полностью фиолетовым!

«И он таким стал!» — заключает Гитри.

Глава 19
ПРОКЛЯТИЕ!

— Когда я писал свои серии, то есть множество картин на один и тот же сюжет, случалось, что в работе у меня одновременно находилось до сотни полотен, — признавался Моне герцогу де Тревизу, навещавшему его в Живерни в 1920 году[111]. — Когда надо было найти набросок, больше всего похожий на то, что я видел вокруг себя, я принимался лихорадочно рыться в их куче, выбрав один, начинал работать, но кончалось все тем, что полностью его переделывал. А потом, окончив труд, снова перебирал наброски и вдруг замечал, что именно тот, что мне был нужен, так и лежит среди них! Ну не глупо ли!

Итак, серии. После стогов и тополей, но задолго до водяных лилий Моне без памяти влюбился в Руанский собор. Наступил февраль 1892 года. Клод совершил поездку в столицу Нормандии — какой-нибудь час пути от Живерни по железной дороге — чтобы по просьбе брата лично присутствовать при улаживании проблем с наследством их отца Адольфа. В декабре в возрасте 31 года скончалась сводная сестра Моне Мари, но их мачеха Аманда по-прежнему жила в Крикето-л'Эсневале.

— Постараюсь хотя бы забрать картины, которые я там оставил, — сказал Алисе Клод.

Сделать это удалось легко и без особых затрат. Бедняжка Аманда Моне, урожденная Ватин, никогда не читала «Аргус прессы» и понятия не имела об успехах в живописи своего пасынка. Откуда ей, в прошлом скромной служанке с улицы Пенсет, в глаза не видевшей каталога «Бенезит»[112], было знать, насколько высоко ценятся его картины! А для Моне посещение Руана стало настоящим откровением. Боже, какой собор! Он пишет Алисе:

«Погода не портится, я доволен, но, проклятье, сколько работы с этим собором! Ужас!»

Чтобы иметь возможность запечатлеть его в разное время суток и при разном освещении, он договорился с торговцем лавки модной одежды, согласившимся предоставить ему для работы комнату на втором этаже, окнами выходившую прямо на церковную паперть. Торговца звали Фернан Леви, а его жена держала бельевую лавку на улице Жюиф, в доме номер 18.

Обшитое фигурными деревянными панелями здание, занимаемое г-ном Леви, сегодня принадлежит туристическому

агентству.

«Портал в солнечный день», «Симфония в серо-розовом свете», «Портал в ненастье», «Солнечный свет на закате дня», «Коричневая гармония»… В 1892–1893 годах Моне создал около 30 картин на сюжет нормандских соборов. Большинство из них уходили к покупателям сразу же, стоило чуть подсохнуть краскам. Одну картину купил сам Руанский музей!

Но скольких мук ему это стоило! Чтобы не шокировать клиентов, Леви поставил в комнате ширму, за которой и работал художник. Но недовольного ворчания, вызванного присутствием в примерочной какого-то «странного бородача», не всегда удавалось избежать. И потом, Моне требовалось найти и другие окна! Не мог же он удовлетвориться единственным ракурсом! Все эти хлопоты вконец его измотали. 3 апреля 1892 года в письме к Алисе он признается:

«Все, я больше так не могу, я совершенно сломлен. Всю ночь сегодня снились кошмары — на меня падал собор, а я все никак не мог понять, какого он цвета — голубой, розовый или желтый…»

Возможно, Алиса имела неосторожность напомнить ему, что от Руана до Живерни не больше часа езды, и рекомендовала приехать на денек-другой домой, чтобы немного отдохнуть…

«О нет! — отвечал он. — Если я намерен работать, мне следует вести жизнь размеренную и спокойную. Спасибо тебе за то, что ты понимаешь — я здесь только ради соборов».

Жорж Клемансо — не только врач, журналист и политик, но и тонкий знаток живописи, — ознакомившись с серией руанских полотен, написал: «Если пристально вглядеться в соборы Моне, то возникает ощущение, что они написаны каким-то переливчатым строительным раствором, брошенным на холст в приступе ярости.

Но в ее дикой вспышке столько же страсти, сколько выверенного знания. Как удалось художнику, отделенному от своего полотна всего на несколько сантиметров, ухватить тот тонкий и вместе с тем точный эффект, который можно обнаружить лишь на расстоянии? Очевидно, благодаря загадочной особенности своей сетчатки [не будем забывать, что это говорит врач]. Но для меня важно одно — то, что я вижу всю эту громаду целиком, в ее державном величии и могуществе. Камень, пронизанный светом, под грузом веков остается твердым и прочным. Громада непоколебима [здесь нам уже слышится голос Отца Победы!], ее размытые туманом очертания нерушимы, лишь смягчены изменчивыми небесами; каменный цветок, наполненный живой пульсацией, подставляет поцелуям светила свои жизнерадостные изгибы и под лаской золотого луча,

пляшущего в тонкой пыли, заставляет почувствовать сладострастие бытия…»

10 июля все внимание Моне обращено уже не на собор, но всего лишь на расположенную в Живерни маленькую темную церковку XVI века, с ее круглым дверным проемом, унаследованным от эпохи римского владычества, и приземистой апсидой, характерной для архитектуры XII века. У подножия этой апсиды спал вечным сном Эрнест.

— Оскар Клод Моне, согласны ли вы взять в жены Анжелику Эмелию Алису Ренго? — раздается под гулкими сводами голос аббата Туссена.

На церемонии присутствуют четверо свидетелей: брат жениха Леон, некто Жорж Паньи — зять новобрачной, верный Кайбот и Поль Элле — симпатичный художник, друг не то Дега, не то Бонна, если не Сарджента или Уислера, человек широких взглядов и просто славный малый.

Несколько дней спустя, в той же самой компании состоится регистрация брака в мэрии. Леон Дюрдан ради такого случая наденет парадную трехцветную ленту, символизирующую французский флаг.

Нетрудно представить себе торжество новоиспеченной госпожи Моне. Любовница и сожительница, наконец-то она обрела статус законной супруги! Ее дочерям больше не придется краснеть!

Впрочем, хорошенькая Сюзанна и так перестала краснеть — с того самого дня, когда некий американский художник, встреченный в деревне, сказал ей: «I love you!»[113]

Следовательно, американские художники все-таки приезжали в Живерни!

Первым дорожку проложил Меткальф. На людей малознакомых этот гигант с густой бородой производил устрашающее впечатление. Но в душе он был настоящим поэтом. Время, свободное от занятий живописью в Парижской академии Жюлиана, он тратил на коллекционирование птичьих яиц. В Живерни он впервые попал весной. Ему не хотелось в тот же день возвращаться назад, в Париж, и он постучался в дверь местного кафе, служившего одновременно бакалейной лавкой, которое содержала г-жа Боди.

— Мамочки мои, ну и напугалась же я! — рассказывала она. — И так ему сразу и сказала, дескать, кровать у меня в доме всего одна, и в ней сплю я! А потом побыстрее закрыла дверь, чуть нос ему не прищемила. Хотела даже забаррикадироваться,

только нечем было…[114]

Через несколько дней Меткальф вернулся в деревню, да не один, а с целой шайкой вооруженных до зубов типов. Правда, шайка при ближайшем рассмотрении оказалась группой художников, в которую входили Джон Бек, Брюс, Тейлор и Уондел, а все их вооружение составляли мольберты и кисти.

— Вроде выглядели они безобидно, ну, я и уступила им свою комнату, а сама ушла ночевать к соседям, — продолжала г-жа Боди. — А они стали приезжать каждые выходные, так что нам хочешь не хочешь пришлось расширять дело. Мы с мужем приготовили для них комнаты, прикупили матрасов да подушек… Вот так наша лавочка и стала гостиницей Боди![115]

Первое существенное расширение деревенского кабачка, позволившее ему превратиться в «салун», где собирались такие «пионеры», как Теодор Робинсон, Уотсон из Сент-Луиса, Карл Беквит, Коллинз и другие, относится к 1887 году. Никакого сектантства они не исповедовали и охотно приняли в свою компанию, например, шотландца Дайса, который по вечерам играл на волынке, а остальные весело плясали, и чеха Радинского.

Если Меткальф больше всего походил на крепкого канадского лесоруба, то Теодор Батлер, напротив, не имел ничего общего с кулачным бойцом. Высокий, стройный, с аккуратно подстриженной бородкой и небольшой залысиной на лбу, всегда одетый с иголочки, он представлял собой истинного джентльмена — не хватало, пожалуй, только монокля в глазу. Больше всего на свете он любил живопись — и писал превосходно! — и катание на коньках. Скорее всего, именно здесь, на катке в Живерни, он и познакомился с самой красивой из моделей Моне — элегантной, хрупкой, приветливой Сюзанной Ошеде с ее нежным взглядом и завитыми по английской моде черными волосами, слегка нависающими надо лбом, той самой Сюзанной Ошеде, которой так шел зонтик…

— I love you.

— Каков нахал! — возмутился Моне, когда до него дошли слухи о начавшемся романе.

Он находился тогда в Руане, целиком поглощенный своими соборами, и узнал об этой истории из писем Алисы. В ответ домой полетело сердитое послание.

«Я поражен тем, что происходит в мое отсутствие! То, что нам известно об этом искателе приключений, не внушает мне никакого доверия! Вы обязаны от имени дочери отказать этому американцу — это народ, у которого нет ни документов, ни понятия о гражданском состоянии! Иметь с ними дело — все

равно что играть в лотерею! И потом, что за глупость — выходить замуж за художника, который ничего собой не представляет? Если только у них не безумная любовь, дайте ему понять, что у него нет ни малейшей надежды»[116].

Моне, отличавшийся трудным характером, на сей раз дошел до того, что угрожал продать дом в Живерни и переехать в другое место.

«Все равно, будет это продолжаться с вашего попустительства или нет, я больше не могу здесь оставаться…» — пишет он в очередном письме.

Между тем никаких оснований чувствовать себя оскорбленным у него не было. Алиса навела справки и убедилась, что мистер Батлер — вполне респектабельный господин.

На самом деле Моне просто немножко ревновал. Мог ли он относиться иначе чем с глубокой нежностью к своей любимой модели — очаровательной девушке с зонтиком? И вдруг потерять ее, отдать какому-то янки?

В конце концов именно эта нежность, скрытая за коростой внешней суровости, и победила. Пусть Сюзанна будет счастлива со своим Теодором! 20 июля 1892 года, через десять дней после собственной женитьбы, он снова вступил под своды церкви Святой Радегонды, на сей раз — во главе свадебного кортежа, гордый и неприступный как английский лорд. Он вел под руку ослабевшую от волнения Сюзанну, наряженную в белое платье.

Итак, Моне едва не рассорился вдрызг с домашними. Впрочем, ему и прежде случалось проявлять грубость, даже по отношению к старым друзьям, если, например, их присутствие в доме начинало казаться ему назойливым. Про такой характер обычно говорят — и совершенно справедливо — не сахар. Так, однажды у Камиля Писсарро — того самого, который во времена «тощих коров» порой подбрасывал Моне сотню-другую франков, — возникла проблема. Владелец дома, который тот снимал в Эраньи-на-Эпте, то есть недалеко от Живерни, решил избавиться от своей собственности, и художник счел разумным его выкупить.

«Нам бы очень хотелось сохранить за собой это пристанище, — по просьбе мужа написала Моне жена Писсарро. — Не могли бы вы одолжить нам 15 тысяч франков?»

«Пожалуйста, — ответил тот. — Только постарайтесь вернуть мне долг как можно скорее».

Но сделка по продаже дома затянулось. Моне понимал, что деньги лежат у его товарища мертвым грузом. И тогда он шлет ему такое письмо: «Вы должны написать мне долговую расписку, а потом мы обсудим условия возврата денег (на тот случай, если

один из нас вдруг окочурится)».

Шло время, но дело так и не двигалось с места. Моне раздражался все больше.

«Не стану скрывать от вас, — пишет он, — что мне пришлось буквально вывернуться наизнанку, чтобы предоставить вам эту сумму. Если вы до сих так и не приобрели дом, я бы не возражал, чтобы вы вернули мне деньги, потому что у меня самого расходов выше головы».

Чуть позже, все тем же летом 1892 года, на его горизонте возник Буден — старина Эжен, давний знакомец. Он прислал Моне коротенькое поздравление с женитьбой и в нем же высказал вполне законную просьбу:

«Мне очень хотелось бы иметь хотя бы одно ваше полотно!»

Как же реагировал на это Моне? Его ответ оказался достоин жителя Онфлера Альфонса Алле, однажды написавшего другу: «Извините за задержку с ответом, но дело в том, что, когда пришел почтальон, я работал в саду…»

И Моне пишет Будену (тоже, кстати, жителю Онфлера):

«В настоящий момент я не могу сообщить вам об отправке сувенира, о котором вы просите. В этом году я не работал, а дарить вам какую-нибудь безделицу не считаю возможным…»

И далее, все в том же ханжеском тоне:

«Вы прекрасно знаете, с какой теплотой я к вам отношусь и какую благодарность к вам испытываю. Я не забыл, что именно вы первым научили меня видеть и понимать увиденное…»

Вся эта дипломатия означала лишь одно: Буден обойдется и без картин Моне!

Он сказал, что в 1892 году не работал. На самом деле это было некоторое преувеличение, хотя справедливости ради отметим, что в год своей женитьбы он действительно не мог похвастать выдающимися творческими успехами. К счастью, наступающий новый год принес с собой именно такую зиму, какой ее любил Моне, — с трескучими морозами, с застывшей подо льдом Сеной, с обильными снегопадами, под которыми так разительно меняется освещение. Он бросает все прочие занятия, впрягает в телегу лошадь и, прихватив с собой Бланш, отправляется бродить по заиндевелым дорогам. Они добираются до Бенкура, но теперь мысли о самоубийстве[117] даже не приходят ему в голову. Во-первых, жизнь ему все-таки улыбнулась, а во-вторых, утопиться в скованной льдом реке все-таки довольно затруднительно…

Добирались они и до Пор-Вийе, откуда через мост Бенкур — не сохранившийся до наших дней, — шли в Жефос, излюбленное место зимней стоянки нормандских отрядов Агсера[118],

готовившихся к нападению на Париж. Результатом «кампании», проведенной Моне, стали: превосходная серия «Льдины» и еще одна, озаглавленная «Туманное утро», а также ряд картин, запечатлевших снегопад и ледоход на реке в изменчивом сумеречном освещении. Потом, к огорчению художника, полили дожди. Снег начал таять, и от прекрасных белых пейзажей осталось одно воспоминание. Живопись всегда была для него своего рода схваткой с безжалостным временем. Ее символом могут служить часы на Руанском соборе, похожие на огромный белый глаз, как будто специально помещенные сюда, чтобы подгонять художника: скорее, солнце уходит, солнце ждать не будет!

Итак, в середине февраля Моне снова был в Руане, поселившись в гостинице «Англетер» в номере со «стратегическим» видом на церковную паперть. Он заканчивал работу над серией картин, начатых годом раньше, и приступал к новой серии.

Новые произведения означали новые тревоги.

«Ничего не получается! — читаем в одном из писем этой поры. — Все плохо! Все просто ужасно! Я полностью опустошен. Проклятье! И они еще смеют называть меня мастером! Да что они понимают? Что во мне от мастера, кроме намерений?»[119]

Усталость художника легко объяснима. Чем, как не гениальностью, надо обладать, чтобы, подобно Моне, работать над тринадцатью, а то и четырнадцатью полотнами одновременно?

Он жил собором почти два месяца — с 16 февраля по 11 апреля. Это значит, что он провел возле него больше 50 дней — дней, заполненных, по его собственному выражению, «лихорадочной работой».

Письма, которые он писал в это время Алисе[120], для нас поистине бесценны. Так, из одного из них мы узнаем, что он нередко делил трапезу с братом Леоном, устроившимся в Девиле и работавшим на небольшом химическом предприятии, куда вскоре поступил и Жан.

«У меня складывается впечатление, — писал Клод, — что эти двое отнюдь не созданы для сотрудничества».

В другом говорится, что Жан неважно выглядит и часто жалуется на боли в животе.

«Его заперло так, что неизвестно, каким ключом открыть…»

Из той же переписки нам известно, что Марта путешествовала, а «дражайшая» Алиса мучилась болью в ноге.

«Ты должна пойти к доктору! Это надо было сделать сразу. С такими болями нельзя тянуть…»

О чем еще рассказывают эти письма? О том, что талия молодой миссис Батлер заметно округлилась; о том, что Моне приобрел петуха и курицу для своего птичника (но так и не сумел найти петуха уданской породы!); о том, что он заказал партию страсбургского паштета и давал указания, как его хранить (в холодном месте!). Наконец, они свидетельствуют о том, что он всерьез занялся разведением цветов и тратил немало усилий, разыскивая редкие сорта.

«Пусть Эжен хорошенько накроет тригридии — ближе к полнолунию возможны заморозки. Наконец-то нашел дикую редьку! Пересылаю рассаду в Вернон; проследи, чтобы ее не повредили, когда будут распаковывать. Вели Бланш заново написать этикетки. Если пойдет град, пусть Эжен опустит в теплице стекла…»

Из его писем явствует, что он устал. У него болело горло — слишком много курил! — и его мучил кашель; временами накатывало что-то вроде забытья и сердце сбоило. На левой руке у него воспалился большой палец, пораненный слишком тяжелой палитрой. И он торопился домой — заняться только что купленным участком земли перед домом. Он мечтал превратить его в сад, подсмотренный на одной из японских гравюр…

Глава 20
ГОСПОДИН ПРЕФЕКТ

«Пусть эти уроженцы Живерни катятся куда подальше, и инженеры вместе с ними! У меня от них одни неприятности! С меня довольно! Хватит! Растения можете выкинуть в реку, пусть там и растут! А участок пусть берет себе кто хочет…»[121]

Вечером 20 марта Моне, находившийся в номере руанской гостиницы, буквально кипел от ярости.

5 февраля он оформил у вернонского нотариуса г-на Леклерка акт приобретения в собственность небольшого земельного участка (площадью примерно 1300 квадратных метров), расположенного чуть ниже его сада. Он давно заглядывался на этот клочок земли, и вот наконец его желание осуществилась. Теперь ему было достаточно пересечь так называемый Королевский тракт, перебраться через узкоколейку Жизор-Паси, и он оказывался в своем владении, в месте, о котором столько мечтал.

Да и кто бы отказался стать владельцем сада, через который течет ручей? Моне ликовал. Небольшой приток Эпты действительно делал здесь петлю, пробегая по краю приобретенной художником земли. Этот игривый ручеек даст рождение не одному живописному шедевру, в этом он не сомневался.

И вдруг затея едва не сорвалась. Деревенские жители заподозрили неладное. «Кто его знает, этого художника? — шепотом судачили они. — Сажает не пойми чего, еще напустит в ручей отравы, а нам этой водой скотину поить!»

На самом деле ничего сажать в самом ручье Моне не собирался. Он хотел лишь вырыть небольшой водоем для разведения водных растений. Но, чтобы водоем не пересох, ему требуется вода! Об этом он и сообщил в письме к префекту департамента Эра, с которым сегодня можно ознакомиться в местном архиве. Он намеревался провести от ручья к водоему «небольшой открытый с обеих сторон канал, снабженный запорным устройством».

Он подчеркивал в письме, что нормальный режим ручья нисколько не пострадает, поскольку речь идет всего лишь о «небольшом временно действующем отводе», что, являясь собственником еще одного земельного участка, расположенного на левом берегу указанного водного источника, он хотел бы соорудить над ним «два небольших подвесных мостика».

«Небольшой канал», «небольшой отвод», «небольшие мостики» — все небольшое, все скромное, — чтобы вернее убедить префекта. Ценой этих «небольших» переделок он надеялся добиться поистине грандиозного эффекта.

Если, конечно, не воспротивятся жители Живерни. Но… они воспротивились. Муниципальный совет деревни, собравшийся на обсуждение «опасных планов» этого «городского чужака», вынес вердикт: отказать.

Клод разозлился не на шутку. 17 августа 1893 года он пишет новое письмо префекту[122]. Оно стоит того, чтобы привести его без купюр:

«Господин префект! Имею честь представить на ваш суд некоторые соображения относительно противодействия муниципального совета и отдельных жителей Живерни касательно двух дел, рассмотренных в связи с просьбой, которую я имел честь адресовать вам с целью получения разрешения на установку водозапорного крана на реке Эпте, предназначенного для снабжения водой водоема, каковой я полагаю использовать для разведения водных растений.

Обращаю ваше внимание на то, что под предлогом защиты общественной безопасности означенные противники в действительности преследуют совершенно иную цель, каковая заключается в стремлении чинить мне препоны в осуществлении моих замыслов, руководствуясь при этом исключительно злопыхательством, что весьма характерно для отношения деревенских жителей к частному лицу, тем более — парижанину; также довожу до вашего сведения, что число означенных противников в сравнении с общей численностью населения деревни невелико и представлено людьми, которым я либо никогда не предлагал работать у себя, либо отказался от их услуг, а именно […]. Все их действия продиктованы мелкой мстительностью и желанием нанести мне оскорбление. Надеюсь, уважаемый господин префект, что вы примете во внимание приведенные здесь соображения и решите вопрос в благоприятном для меня смысле.

Также спешу уверить вас, что разведение упомянутых водных растений отнюдь не имеет приписываемой ему важности, а служит исключительно для украшения и призвано радовать глаз, равно как и выступать в качестве сюжета для живописных полотен. Кроме того, я развожу в этом водоеме только безвредные растения — водные лилии, камыш и несколько разновидностей ирисов, которые в природном состоянии обычно растут по берегам нашей реки, а посему об отравлении речной воды не может идти и речи.

Вместе с тем, учитывая недоверчивость местных крестьян, я готов дать обязательство осуществлять смену воды в водоеме исключительно в ночные часы, когда речной водой никто не пользуется.

Надеюсь, что приведенные мной объяснения позволят вам составить верное представление о происходящем и принять благоприятное для меня решение. Прошу извинить меня за то, что обращаюсь к вам, господин префект, с подобной просьбой…»

Представляем, как волновался Моне в ожидании ответа.

Следующие десять дней прошли в дурном настроении.

И вот 27 августа, наконец, почта принесла письмо из Эвре. Префект Жюль Пуэнтю-Норес дрогнул: его ответ был — да!

Хозяин департамента, возможно, наслышанный об импрессионизме, удовлетворил просьбу художника, хотя не мог не знать, что собой представлял тесный мирок тогдашних «землеробов». Г-н Моне получил разрешение не только на установку водозапорного крана на ручье, отходящем от Эпты и имевшем статус «коммунальной собственности», но и на сооружение двух мостиков…

Счастливый Моне, в голове которого уже роились планы один заманчивее другого, мог теперь спокойно посвятить конец года работе над новыми полотнами, радостным переживаниям по поводу рождения Джеймса — первенца Сюзанны Батлер — и заботам об Алисе. Став бабушкой в 49 лет, она все чаще недомогала, причем ее недомогание, легкое поначалу, постепенно превращалось в «заболевание, внушающее серьезную тревогу». Иных подробностей о том, что с ней происходило, мы не знаем.

Зато нам точно известно, что пошатнувшееся здоровье г-жи Моне вынудило ее мужа практически весь 1894 год провести в Живерни. Никаких долгих путешествий, никаких дальних поездок на этюды. Начало 1894 года ознаменовалось сразу несколькими печальными событиями. Умер доктор де Беллио — богатейший румынский коллекционер. Умер и милейший Кайбот, который был на восемь лет моложе Моне. Накануне кончины он имел глупость завешать свою личную коллекцию, состоявшую из 67 полотен, государству. Почему глупость? Потому что ни одна из этих картин — а среди них фигурировали работы Ренуара и Писсарро, Мане и Сезанна, Сислея и Дега, не говоря уже о Моне, — из-за тупого упрямства чиновников так и не была выставлена в Люксембургском музее. О том, чтобы вывесить их в Лувре, никто даже не заикался. Чтобы убедиться в том, что святошам из Академии изящных искусств художник из Женвилье явно представлялся еретиком, достаточно прочитать статью в только что изданном тогда Всеобщем энциклопедическом словаре

Ларусса: «Согласие принять этот дар привело к бурным дебатам, в ходе которых высказывались мнения о том, что, если большинство составляющих коллекцию произведений и не позорит наши музеи, то уж никак не может считаться достойным образцом различных живописных школ».

Жан Леон Жером, который преподавал в Академии живопись и писал картины под красноречивыми названиями (например «Сократ, являющийся к Аспасии за Алкибиадом» или «Пленник и турецкий палач»), высказался еще более категорично: «Мы живем в век упадка и глупости! Только глубоким падением нравственности можно объяснить тот факт, что государство согласилось принять в качестве дара подобный мусор!»

Однако несмотря на продолжающиеся арьергардные бои, вдохновляемые старыми академическими занудами, победа в битве явно склонялась на сторону импрессионизма, возглавляемого Моне. За полотно из серии «Собор» ему, например, теперь предлагали от 12 до 15 тысяч франков! Какой поворот судьбы! По сравнению с работами времен Аржантея его «ставка» выросла больше чем в тысячу раз! Картины Дега шли примерно по семь тысяч франков, картины Ренуара — по пять тысяч. За Сислея и Писсарро публика выкладывала по две тысячи франков, и это считалось дешево. Один только невезучий Сезанн соглашался продавать свои работы по 800 франков.

— Сезанн — художник? — горестно вздыхал директор Школы изящных искусств Ружон. — Не говорите мне об этом! У него есть деньги. Его папочка был банкиром, и он пишет исключительно ради приятного времяпрепровождения. Я не удивлюсь даже, если окажется, что он пишет только ради того, чтобы потрепать нам нервы!

Судить об искусстве живописи — дело нелегкое.

Сам Моне, кстати, говорил по поводу Гогена:

«То, что он делает, это попросту плохо».

Впрочем, вернемся к Сезанну. Осенью 1894 года он приехал на несколько дней в Живерни. Само собой разумеется, что поселился он в бывшей бакалейной лавке семейства Боди, теперь превратившейся в настоящую гостиницу на 12 номеров, постоянно занятых художниками. Следуя методу местного мастера, все они с первыми лучами солнца отправлялись работать на пленэре. Впрочем, кое-кто из них продолжал оставаться приверженцем академической школы, и г-жа Боди, идя навстречу нуждам своих постояльцев, соорудила для них в саду мастерскую, где они могли работать при хорошем освещении и не бояться дождя и ветра.

Мамаша Боди окружала своих жильцов трепетной заботой,

стараясь запомнить их имена, среди которых попадались и иноземные — Уиллард, Черри, Эмма, Л. Л. Фрэнс, Луиза Ришар, С. У. Николь, Оливье Херфорд, Клинтон Петерс, Мюррей Кэбб и, конечно, Мэри Кассат. Как-то шотландец Дайс пожаловался, что подаваемый ему чай — disgusting[123]. Хозяйка тут же заказала партию чая в Англии. Стол и кров она предлагала им всем за смехотворную плату — пять франков в день[124]. Художникам постоянно требуются подрамники, холсты, кисти, растворители? Она заключила договор с парижской фирмой Фуане и всегда имела в наличии все необходимые материалы.

Англосаксы любят виски. И г-жа Боди посылает мужа в Вернон, в заведение «Антрепо Пети», расположенное на улице Бушри и славящееся «лучшим выбором французских и иностранных настоек и ликеров».

Сезанн тоже любил виски — во всяком случае, такой вывод позволяет нам сделать изучение его гостиничного счета[125]. Одним стаканчиком в день он не ограничивался. Так, запись от 13 ноября гласит: «Два виски с г-ном Моне»[126].

Вообще у Боди находилось все и всегда. Знакомясь все с тем же счетом Сезанна, обнаруживаем в списке конверты и чернила, перья и мыло, свечи и спички, шнурки и даже… подтяжки!

Случалось, впрочем, что тот или иной художник превышал свои финансовые возможности. И, когда приходило время платить хозяйке по счету, он вместо денег оставлял ей одно или несколько полотен. Судя по тому, какая коллекция постепенно собралась у Боди, происходили такие казусы не так уж редко.

Итак, Сезанн поселился в заведении Боди, в двух шагах от розового дома, ставни которого совсем недавно были перекрашены в зеленый цвет.

«Он — удивительный человек, — вспоминает о Сезанне Мэри Кассат[127], регулярно встречавшаяся с ним за табльдотом. — Живой и сочный, настоящий южанин. Нет, он, конечно, не какой-нибудь головорез, напротив — скромный парень, и притом сама любезность, например, по отношению к Луизе, молоденькой служанке Боди. Он все время говорил ей, что готов подождать, пока она не обслужит дам. Меня всегда поражало, как он ел. Суп он выхлебывал за минуты, а дичь рвал руками, вгрызаясь в мясо своими превосходными зубами».

Поль Сезанн действительно отличался скромностью. Если он слышал от Моне: «Приходите к нам вечером!», то долго колебался, прежде чем принять приглашение. Моне приходилось проявлять немалую настойчивость. «Приходите обязательно! Я на вас рассчитываю в эту среду, 28 ноября. Будут только свои». После этого он соглашался.

Под «своими» Моне подразумевал Жеффруа, Мирбо, Родена и Клемансо. Недурная компания!

Клемансо, благодаря Жеффруа возобновивший знакомство со старым другом, теперь частенько заглядывал в Живерни. Нам, например, известно, что весной 1890 года Моне писал маковое поле в присутствии Клемансо.

По рассказам, после той самой вечеринки Сезанн якобы воскликнул: «Какой прекрасный человек Роден! В нем нет никакого высокомерия! Он пожал мне руку! Это он-то, удостоенный таких наград!»

«Мало того, — вспоминает Жеффруа, — после ужина, когда все прогуливались по садовой аллее, он встал перед Роденом на колени и еще поблагодарил его за то, что тот пожал ему руку».

По словам того же Жеффруа, «особенным даром расположить к себе Сезанна обладал Клемансо, у которого имелся неиссякаемый запас шуток и острот».

Впрочем, однажды Сезанн, поглаживая свои роскошные светлые усы, сделал такое признание:

«Я бы никогда не смог стать сторонником Клемансо. Почему? Потому что я слишком слаб, а он не сможет меня защитить. Защитить меня может только Церковь!»

Непостижимый Сезанн… Ведь именно ему принадлежит заявление: «Чтобы удивить Париж, мне достаточно одного яблока».

Непредсказуемый Сезанн… Как-то утром, никого не предупредив, он просто-напросто испарился из Живерни, оставив в гостинице Боди все свои незаконченные полотна.

«Моя мать бросилась к Моне, чтобы рассказать ему, что случилось. Он пожал плечами, словно говоря, что отказывается что-либо понимать. „Но что же мне делать с холстами, которые он оставил? — волновалась она. — Он ведь мне за них заплатил, и за подрамники заплатил!“ Тогда г-н Моне ей сказал: „Пришлите их сюда. Я займусь тем, чтобы их ему вернуть“»[128].

Сезанн неожиданно покинул Живерни едва ли не в тот же самый день, когда в Париже разгорелось дело Дрейфуса. Этого артиллерийского капитана обвинили в сообщничестве с Германией Вильгельма II. Действительно, в корзинке для бумаг военного атташе посольства обнаружили записку, в которой говорилось об отправке немцам нескольких документов первостепенной важности. И почерк удивительным образом напоминал руку г-на Дрейфуса! «Я невиновен!» — громко заявил капитан 14-го артиллерийского полка.

Но его голос стал гласом вопиющего в пустыне. Военный трибунал назначил судебное разбирательство. Закрытый процесс

начался 19 декабря. Судьи совещались недолго. Дрейфус был лишен военного звания и осужден на вечную ссылку. В Гвиану его, предателя!

Вскоре Золя и Клемансо, убежденные в невиновности несчастного Дрейфуса, затеяли шумную кампанию в его поддержку. Моне в принципе одобрил их действия, правда, без особенного энтузиазма. Обитателя Живерни волновали совсем другие проблемы. Поглаживая свою густую бороду, в которой уже начали мелькать седые волоски, он объявил:

— В будущем году буду писать снег. Я еду в Норвегию!

Впрочем, он не торопился с отъездом до тех пор, пока не получил возможность обнять малышей Сюзанны и Теодора Батлер — кроху Джеймса (он же Джимми) и его новорожденную сестричку, которую в честь бабушки нарекли Алисой, но чаще всего называли Лили.

Глава 21
КРИСТИАНИЯ

21 января 1895 года на вокзале Вернона Клод Моне прощался с домашними. Нам так и слышится голос Алисы, дающей последние напутствия:

— Пиши мне каждый день! Береги себя! Не простужайся!

Моне уезжал в страну снегов, хотя, как свидетельствует написанный незадолго до отъезда «Японский мостик», снега той зимой хватало и в Живерни. Это его первый японский мостик и первый водоем! Следовательно, ему удалось довести задуманное до конца: прорыть канал и перебросить через него красиво изогнутое легкое сооружение.

Путешествие до Кристиании[129] заняло четыре дня — сначала поездом, затем на корабле и снова поездом.

На вокзале Остбангаард из вагона вышел измученный дорогой человек, озабоченный единственным желанием — рухнуть в постель и хорошенько выспаться.

Однако его стремлению поскорее найти тихий отель едва не помешали. Некий журналист, получивший точную информацию, успел опубликовать в газете «Дагбладет» статью, озаглавленную «Claude Monet commer». И норвежские ценители живописи ни за что не хотели пропустить приезд звезды импрессионизма. Спас его Жак Ошеде, явившийся встретить Моне на вокзал. Он уже несколько недель работал в Норвегии, по всей видимости, проходил что-то вроде практики на судостроительной верфи, так как собирался делать карьеру именно в этой области.

Итак, он подхватил отчима прямо на перроне и без лишнего шума проводил его в гостиницу. Искупаться в лучах славы Моне еще успеет — пока его больше влекла просто горячая ванна.

Художник прожил в Норвегии до конца марта. В результате на свет появилось от 25 до 30 полотен, в том числе восхитительная серия — ибо он хранил верность своей методе — «Гора Колсаас»[130]. Эта вершина предстает перед нами то розовой, то темной, то белой, то утопающей под солнцем, то покрытой туманом. Богатым клиентам Дюран-Рюэля будет из чего выбрать.

«Моей персоне здесь уделяют слишком много внимания, — пишет Клод Алисе. — Газетчики не дают проходу, нельзя спокойно зайти ни в кафе, ни в ресторан. Говорят даже, здешние художники и литераторы собираются устроить в мою честь банкет. Надеюсь, мне удастся отвертеться…»[131]

Да, талант и сила характера помогли ему взять у судьбы реванш. Каких-нибудь 15 лет назад за ним по пятам гнались кредиторы; теперь прятаться приходилось от восхищенных почитателей!

Обстоятельства располагали к тому, чтобы он чувствовал себя более уравновешенным. Свидетельством тому — обширная коллекция писем, адресованных из Норвегии жене. Даже плохая погода теперь не портила ему настроения. Душевные кризисы остались в прошлом. Тон его писем становится добродушным: «Сегодня у нас тут был туман, потом светило солнце, потом пошел снег, а потом все вокруг потемнело, и все это — в течение одного дня, и не всегда в те часы, когда этого ждешь. Но раз уж я решил кое-что привезти из Норвегии, то работаю то над одним, то над другим, стараясь угнаться за переменой погоды…»

Коротенькое письмо к Жеффруа также дышит безмятежным спокойствием: «Чувствую себя превосходно… Начал работу над восемью полотнами… Все-таки здесь дьявольски красиво! Писал под снегопадом… Вы бы от души посмеялись, если бы посмотрели, как я стою, весь белый, с заиндевевшей бородой, похожей на букет сталактитов…»

Если он и испытывает порой легкое беспокойство, то исключительно по поводу своего сада в Нормандии:

«Скажи Бланш и Клеберу, чтобы хорошенько поливали стрилицию… Кто-нибудь догадался накрыть японские пионы? Если вы этого не сделали, они погибнут…»

Здоровье «его женщин», оставленных в Живерни, также заставляло его волноваться. Новости, приходившие из дома, не всегда были радостными: Сюзанна сильно исхудала, а Алиса несколько дней не выходила из своей комнаты.

«Лежи и отдыхай! Когда я вернусь, ты будешь мне нужна здоровой и красивой…»

У него тоже болела нога, но тут уж он провинился сам — упал с санок, когда с мальчишеской удалью «на головокружительной скорости катился с горки». Впрочем, ничего серьезного:

«Потянул связку или мышцу. Молодой врач хорошенько помассировал мне ногу, так что теперь почти все прошло».

И даже если в том или ином письме к Алисе[132] вдруг появляются строки, напоминающие прежнего Моне («Смотрю на вещи, сделать которые и думать нечего, и прихожу в бешенство. Ну не глупость ли, приехать сюда, потратить столько денег и вернуться ни с чем!»), то следом за ними идут другие, озаренные улыбкой: «В прошлое воскресенье ужинал с гостями. Кто-то провозгласил тост за художника Клода Моне — гордость

Франции. Звон бокалов, и вот уже все присутствующие, и мужчины, и женщины, затянули „Марсельезу“. Можешь себе представить, что я при этом чувствовал! А кончилось пение громовым „гип-гип-ура!“, от которого я чуть не оглох. Хорошо еще, что я не опрокидываю, как они, рюмку за рюмкой, потому что пьют они какую-то дикую смесь из вина, молока и пива, одним словом, нечто невообразимое!»

В четверг 4 апреля Моне стоял на вокзальной площади Вернона. Несколькими днями раньше, в понедельник, он обнялся с Жаком на перроне вокзала Остбангаард. Его пасынок не торопился покидать «Великий Север». Он уже любил Норвегию, а вскоре ему предстояло полюбить и жительницу Норвегии — молодую хорошенькую вдову адвоката. Ее звали Инга Йоргенсон. Пройдет еще некоторое время, и ее станут называть Энж Ошеде.

Как всегда, чемоданы вернувшегося домой путешественника были набиты подарками для домашних.

«Это правда, — вспоминает Жан Пьер Ошеде[133]. — Как только становилось известно о том, что он возвращается, для нас наступала пора нетерпеливого предвкушения встречи. Мы ждали его по многим причинам: хотелось его снова увидеть и посмотреть на новые картины (если, конечно, он соглашался их показать), ну и, конечно, получить подарки, потому что он никогда не забывал никого из нас и каждому что-нибудь привозил. Из Эксан-Прованса — невероятно вкусное миндальное печенье, из Этрета — сети и силки из конского волоса для ловли птиц…»

На сей раз в чемоданах оказались тюленьи шкуры, меховые шапки и коньки. Правда, пустить их в дело удастся не раньше, чем будущей зимой.

Ибо в Живерни окончательно утвердилась весна. Моне с радостью озирал свои любимые цветы и милый его сердцу японский мостик. Побывал он и в Париже. Его вызвал Дюран-Рюэль, затеявший большую «Выставку произведений Моне». В качестве экспонатов набралось около 50 картин — в основном виды руанских соборов, несколько вернонских пейзажей, запечатлевших побережье Сены, и пара-тройка норвежских работ. Дальновидный торговец отдал под них обе свои галереи — и на улице Лафит, и на улице Ле-Пелетье.

Вернисаж, назначенный на 10 мая, обернулся триумфом. Критиков, которые позволили бы себе недовольное бурчанье, практически не осталось. Нашелся, правда, некий Шмит, который написал в «Сьекль», что каменная кладка руанской церкви производит «ужасающее впечатление». «Можно подумать, —

негодовал он, — что ее штукатурили метлой!»

Что касается Будена, по-прежнему напрасно ожидавшего «сувенира» от бывшего ученика из Сент-Адресса, то он в письме к своему другу Бракавалю обмолвился о том, что «соборы смотрятся как-то странно… Есть в них что-то натужное, доведенное до последней степени густоты мазка…»

Похоже, старый художник из Онфлера не поддался всеобщим восторгам. Впрочем, не исключено, что его скорее огорчало отношение к нему Моне, чем качество его живописи.

«Вернонский крестьянин»[134] Моне заставил говорить о себе весь Париж, но никакая известность не могла заставить крестьян из Живерни изменить отношение к «городскому чужаку». Они все так же воспринимали его лишь как источник ненужных хлопот. Ему, видите ли, не указ решение муниципального совета! Думает, значит, что ему все позволено! А уж чудит-то, чудит! Вот, например, не нравится ему, что мэр и большинство избранников решили уступить болото — его послушать, так это его личное болото! — почтенному гражданину Рейе, а тому оно нужно не просто так, а для дела — крахмальный заводик поставить. Это ж польза-то какая! Кой-кому из деревенских работа обломится, да и деревня денежки получит!

На Моне известие о предполагаемом сооружении «заводика» произвело самое тягостное впечатление. «Пока я жив, — объявил он, — этому не бывать! Или я отсюда уезжаю!»

Все подробности этой эпопеи можно проследить, ознакомившись с протоколами заседаний деревенского совета и многочисленными письмами (сегодня они хранятся в архиве департамента Эра), которыми художник буквально заваливал префекта Эвре и супрефекта Анделиса. Оказывается, пока он находился в Норвегии, власти уже успели провести «экспертизу», из результатов которой следовало, что никакого вреда жителям деревни от строительства завода не будет. Так что к 14 апреля, когда Моне вернулся во Францию, дело практически было решено, а это означало, что завод встанет чуть ли не под окнами его дома, в двух шагах от его любимого мостика. Это уж было слишком! Художник пришел в ярость. Надо действовать, пока не поздно. Но как? В первую очередь — обратиться к префекту. Пуэнтю-Норес его поймет. Разве не он в свое время дал разрешение на рытье канала от ручья, протекавшего по его участку?

«Господин префект! — пишет он 21 мая. — Я живу на этой земле уже 15 лет и являюсь здесь собственником. Я поселился здесь из-за красоты и очарования этих мест и, смею думать, внес некоторый вклад в благополучие и процветание этого края, куда

мой пример привлек немало художников и иностранцев, в результате чего здесь появилась крупная гостиница, а стоимость земли и домов заметно возросла. Не приходится сомневаться, что продажа болота с целью строительства на его месте какого бы то ни было завода вынудит всех этих художников и иностранцев немедленно покинуть деревню, от чего пострадают интересы ее жителей. Про себя могу сказать наверняка: если этому проекту суждено осуществиться, я тотчас отсюда уеду. Для меня это будет большая потеря, и именно поэтому я решительно протестую против продажи болота.

Надеюсь, господин префект, что вы примете во внимание мой протест, присовокупив его к прочим».

Очевидно, к этому времени власти уже получили два-три заявления аналогичного содержания. Подписать подобную петицию могли художники, облюбовавшие Живерни, гостеприимная госпожа Боди и кое-кто из местных жителей, сообразивших, что производство крахмала погубит всю окрестную рыбу.

26 мая муниципальный совет собрался на экстренное совещание.

— Отменять принятое решение мы не будем! — стуча по столу кулаком, провозгласил мэр Дюрдан. — Жалоба г-на Моне носит личный характер! Она противоречит интересам земледелия (?) и благополучию края!

В конце концов супрефект Анделиса самолично приехал в Живерни, чтобы разобраться в происходящем.

— Если понадобится, — заявил ему Моне, — я сам куплю это болото.

Впрочем, несколько дней спустя (3 июня) он, поняв, что слегка погорячился, пишет супрефекту такое письмо:

«Приношу вам свои извинения за то, что снова занимаю ваше внимание этим злосчастным делом, но после вашего визита в деревню я много размышлял о нем и узнал много таких подробностей, которые приводят меня к мысли, что я не ошибся в своих предчувствиях. Выясняется, что экспертиза проводилась в спешке, чтобы не сказать больше, и что действительный интерес коммуны, возможно, не имеет ничего общего с провозглашаемой целью (я ничего не смею утверждать, но, боюсь, мои догадки имеют под собой слишком много оснований). Я вынужден повторяться, но истина, как я ее себе представляю, заключается в том, что попытка загубить наш прекрасный край предпринимается против воли большинства его обитателей, либо введенных в заблуждение, либо не имевших возможности высказать свое мнение. С учетом вышеизложенного я отзываю

сделанное ранее предложение о приобретении указанного болота…»

Затем Моне намекнул на необходимость проведения новой экспертизы, а закончил письмо просьбой:

«Я был бы вам очень признателен, если бы вы сочли возможным предоставить мне все данные касательно этого дела, которое, глядя отсюда, представляется сплошной загадкой…»

Несомненно одно: теперь, когда он стал «звездой» (это признали даже в Норвегии), он уже не боялся вызвать огонь на себя. Он давал ясно понять, что в случае чего не остановится перед организацией независимой экспертизы, и весьма прозрачно намекал, что, по его мнению, дело не обошлось без взяток, данных кое-кому в деревне.

Не менее очевидно и то, что финансовых затруднений он больше не испытывал. Правда, это не помешало ему в одном из писем к Дюран-Рюэлю заявить: «Вдова Труагро, у которой я покупаю краски, просит немного денег, но, поскольку у меня сейчас средств не хватает, я сообщил ей, что она может обратиться к вам, так что будьте добры выдать ей две тысячи франков…»

Две тысячи франков! На покупку болота, которому грозила опасность, он собирался потратить вчетверо больше!

Наступил июнь, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. И к Жюлю Пуэнтю-Норесу летит новое письмо:

«Я все больше и больше убеждаюсь в том, что подлинные интересы деревни ни в малейшей степени не совпадают с осуществлением этого плана!»

Еще одно письмо он адресует супрефекту:

«Мы стали свидетелями какой-то загадочной аферы. Я требую публичных торгов!»

Все это время он чувствовал постоянную поддержку Мирбо, пообещавшего ему:

— Если понадобится, я дойду до министра внутренних дел Жоржа Лега!

В начале августа г-н Рейе предпринял контратаку, существенно увеличив предлагаемую за болото сумму денег. Моне в ответ делает «ход конем»:

«Я готов уплатить коммуне 5500 франков, — сообщает он префекту, — и при этом болото останется в ее собственности. Деньги пойдут на его благоустройство. Кто больше?»

Он снова победил. 29 августа на экстренном заседании муниципального совета не желавший мириться с поражением мэр продолжал убеждать собравшихся, что производить крахмал на болоте поистине необходимо, однако на сей раз успеха не

добился. Скрепя сердце он подписал протокол, в котором говорилось, что «художник г-н Моне предлагает сумму в 5500 франков на мелиорацию болота при условии, что коммуна не будет его продавать в ближайшие 15 лет».

С тех пор минуло целое столетие, но болото стоит как стояло. Таким образом, Моне, опередив время, выступил в качестве защитника экологии.

— И все равно никто меня не переубедит, что продать болото было бы выгоднее! — еще долго сокрушался мэр.

«В общении он был не очень легким человеком, — вспоминает г-жа Брюно, урожденная Боди[135]. — Когда он шел мимо нашего дома, в своем наброшенном на плечи жилете, завязанном за спиной, мой отец всегда здоровался с ним: „Добрый день, господин Моне! Как поживаете?“ — но в ответ слышал только: „Гр-р-р… Гастон…“ Болтливым его тоже никто не назвал бы, но, если бы он не воспротивился строительству крахмального завода, семейству Боди пришлось бы закрывать свое заведение. Так что мы обязаны ему своим благополучием!»

Заботы Моне не ограничивались сохранением в первозданном виде болота. Не меньше тревожило его и здоровье Сюзанны — его прелестной «Женщины с зонтиком». Действительно, летом 1895 года Сьюки, как называл ее Батлер, серьезно заболела. Настолько серьезно, что Алиса по совету врачей повезла ее в Аржелес-ле-Бигор, что в Высоких Пиренеях. На несколько дней к ним собирался присоединиться и Моне, рассудив, что небольшое лечение не повредит и ему.

1895 год подходил к концу. 28 декабря в подвальчике «Парижского кафе», что на углу бульвара Капуцинов и улицы Скриба, братья Люмьер давали первый в истории кинематографический сеанс. Пройдет еще 14 лет, и Моне — наряду с Роденом, адвокатом Анри-Робером, Ростаном, Анатолем Франсом, Дега, Сарой Бернар, Сен-Сансом, Ренуаром, актером Антуаном и своим другом Мирбо — станет одной из «звезд экрана», появившись в фильме сценариста, режиссера и оператора, которого звали Саша Гитри.

— Я дал своему фильму название «Те, что из наших», — вспоминал впоследствии Саша, — потому что рассматривал его как косвенный и скромный ответ одиозному манифесту немецких интеллигентов.

1895 год подходил к концу.

— В будущем году поеду писать в Пурвиль, — решил Моне.

Глава 22
ПОЛЕ БИТВЫ

В 1896 году Пурвиль мог похвастать многими знаменитостями. Здесь бывали поэт Жан Ришпен, автор книги «Мой рай», актриса Бланш Пьерсон, блиставшая в ролях инженю и кокеток в «Театр Франсе», искрометная Маргарита Югальд, срывавшая аплодисменты публики в «28 днях Клереты» — пьесы, шедшей тогда в театре «Буф-Паризьен».

Но, разумеется, никого из них Моне в городке не встретил, что не удивительно — он-то приехал сюда зимой. Зато он с радостью узнавания смотрел на знакомые скалы и море, пленившие его еще 15 лет назад. Как сказал однажды Жан Пьер Ошеде, Моне вернулся сюда, как возвращаются к первой любви. И обнаружил, что его чувство ничуть не потускнело с годами. А вот гостиничка, в которой он жил, принадлежавшая чете Граф, изменилась. Старики-владельцы умерли, как и их милый песик. Постарел и сам Моне. Теперь он уже не мог, как в 40 лет, целыми днями вышагивать по окрестностям, не обращая внимания на холод, дождь или ледяную крупу.

«Чувствую себя усталым, особенно болит спина — как будто меня прижигают каленым железом, — пишет он Алисе[136]. — Нога сгибается плохо, да и побаливает по-прежнему…»

1 марта ему стало так плохо, что он не мог подняться с постели. Болезнь началась с сильной рвоты.

— При таком солнце! Я в бешенстве! Ну что за невезение!

Вот уж что нисколько не изменилось, так это его характер. Приступы ярости накатывали на него регулярно. Так, однажды утром, явившись в Варанжвиль, чтобы продолжить работу над холстом из очередной серии — она будет называться «Хижина таможенника», — он еще издалека заметил дым. Почуяв неладное, ускорил шаги. Так и есть! Катастрофа! Сельские труженики начали жечь сухую траву, которая прикрывала утес таким красивым плащом.

— Остановитесь, несчастные! Дайте мне закончить работу! — обратился он к крестьянам. — Вам ведь все равно, сжечь ее сейчас или через два дня! А для меня это вопрос жизни и смерти!

Нетрудно вообразить, какую реакцию встретили эти его слова у работяг. Еще один сумасшедший, должно быть, решили они.

«Стоял такой ветер, что, не приди я вовремя, все мои наброски пропали бы!» — делился он с Алисой.

2 апреля, не в силах сдерживать нетерпение, подстегиваемое

желанием своими глазами увидеть весеннее цветение в саду на берегу Эпты, он пакует кисти и краски.

— Вернусь будущей зимой!

Увы, в тот год затяжная весна не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий. Лето выдалось гнилым, осень — холодной и дождливой. Из-за обильных ливней Эпта вышла из берегов и едва не затопила дорогие сердцу Моне цветы. Впрочем, все обошлось. В самом деле, наводнение 1896 года и сравниться не могло с тем, которое обрушится на эти земли в 1910 году, — у нас еще будет повод о нем рассказать.

Тревоги из-за возможных последствий паводка не могли помешать ему радоваться тому, что стоимость его картин на рынке живописи постоянно росла. Берлинская Национальная галерея только что купила у него один из видов Ветея. В Стокгольме готовились к открытию Всемирной выставки изобразительных искусств — для нее у Моне приобрели шесть работ.

К концу года Сюзанна, она же малышка Сьюки, так и не поправилась. Домашние решили, что пора везти ее в Париж, показать лучшим врачам.

18 января 1897 года Моне снова шагал по пляжам Пурвиля. Дуэль продолжается! Он действительно чувствовал себя бойцом.

«В шесть утра я уже выходил на поле битвы», — вспоминал он позже.

Поначалу верх над художником явно брала природа. Он едва не сложил оружие.

«Жуткая погода. Ледяной ветер, непроглядный туман… Я старею… Снег и собачий холод… Слякоть и грязь неимоверная…»

Но он сумел устоять и на этот раз, начав черпать вдохновение в самом буйстве стихий:

«Море сегодня восхитительно в своей ярости. Шесть холстов за сегодняшний день! Господи, до чего это прекрасно и как трудно! Но ничего, мы еще поборемся…»

С какими же итогами завершил он свою военную кампанию? Больше трех десятков трофеев — то есть картин[137] — плоды его терпеливых завоеваний, результат успешных атак на холсты с оружием в виде кисти и красок.

Жизнь художника редко бывает спокойной. И вот очередная почта приносит ему весть: на аукционе Жоржа Пети состоится распродажа коллекции Анри Веве. Почти две сотни полотен! И какие имена — Месонье, Коро, Добиньи, Сислей, Ренуар… И, конечно, его собственное, повторенное целых девять раз.

Он нервничал. А вдруг аукцион провалится? Вдруг его

картины не продадутся или уйдут за бесценок?

Но, узнав о результатах распродажи, он мог вздохнуть с облегчением. Девять картин Клода Моне в общей сложности потянули на 90 тысяч франков! Самым «дешевым» — «всего» пять тысяч франков — оказался один из зимних пейзажей[138]; самым «дорогим» — «Мост в Аржантее», оцененный знатоками в 21 500 франков.

«Я очень доволен результатами распродажи Веве, — сейчас же написал он Дюран-Рюэлю[139]. — Полагаю, вы тоже должны быть довольны — это наверняка послужит стимулом любителям живописи!»

Неужели он не знал, что Дюран-Рюэль, лично присутствовавший на аукционе, не жалел сил, чтобы поднять цены на картины, и сам приобрел четыре полотна?

Однажды утром, когда он, вооружившись кистями и красками, старался уловить блики тумана, окрашивавшие хижину таможенника в Варанжвиле в голубой цвет, кто-то подошел к нему и тихонько постучал о край мольберта.

— Кто там? — не поворачивая головы, спросил он.

— Леон!

В тот день братья обедали вместе. Клод, правда, почти ничего не ел. Новости, которыми поделился с ним старший брат (их, как мы помним, разделяло четыре года разницы в возрасте), начисто отбили у него аппетит.

— Ты знаешь, что я похоронил жену еще в сентябре 1895 года. Но, видишь ли, один жить я не могу. Поэтому я решил последовать твоему примеру и снова жениться.

— Послушай, тебе ведь уже 61 год!

— Ну и что? Зато Дельфине — ее зовут Дельфина — всего 33!

— А, делай что хочешь! Но лично я этого не одобряю…

Он так и не сменил гнев на милость и не поехал на церемонию бракосочетания, которая состоялась 18 мая в мэрии 8-го парижского округа. Весь тот день затворник из Живерни посвятил эпистолярному творчеству. В числе прочих он написал письмо Родену: «Приезжайте на воскресенье вместе с Мирбо и Элле!»

По примеру своего дяди Леона — химика из Девиля, под началом которого он работал, — тридцатилетний Жан также решил, что ему пора остепениться. Однако произнесенное сыном имя его избранницы заставило отца закряхтеть от удивления. Ибо Жан заявил: «Я хочу жениться на Бланш!»

— Бланш его и в самом деле очень любит, — подтвердила Алиса. Как все матери, она, должно быть, давно знала все подробности начавшегося романа.

— А Жан ее любит? — не сдавался Клод. — Мне кажется, он совсем не пылает к ней страстью! Во всяком случае, его чувства далеко не так горячи, как ее… Подождем немного! Дадим им время подумать, разобраться в себе[140]…

Прошло несколько недель.

— Я хочу выйти замуж за Жана, — стояла на своем Бланш.

Клод снова обращается к Алисе, пытаясь найти в ней союзницу:

— Скажи ей, что я не против, только мне будет очень жаль, если Жан женится на ней лишь потому, что предан ей и не хочет причинять ей огорчений[141]…

Ему не верилось, что можно без памяти влюбиться в девушку, с которой вырос под одной крышей…

Слово Алисы оказалось решающим. Она весьма благосклонно отнеслась к идее этого союза. Мысль о том, что ее дочь также станет «госпожой Моне», а «малыш Жан», которого она воспитывала с двенадцатилетнего возраста, из приемного сына превратится в зятя, приводила ее в восторг. Так что папе Моне пришлось согласиться. Свадьбу назначили на четверг, 10 июня. Моне всегда тяжело переживал расставание с теми, кого он любил. Он ведь уже потерял малышку Сьюки, которая теперь звалась госпожой Батлер. Хорошо еще, что они продолжали часто видеться, потому что Сюзанна теперь жила в Живерни. По правде сказать, она не жила, а выживала — в ее прекрасном теле поселилась тяжелая болезнь (злокачественный паралич?), которая прогрессировала с каждым месяцем.

А теперь еще и Бланш, его «доченька», покинет родной дом. Ей ведь придется перебраться в Руан, к мужу-химику… Сможет ли она там продолжать писать? И кто теперь будет толкать вперед его тележку, груженную холстами, мольбертом и коробками красок? А главное, найдется ли на свете человек, который будет делать это с такой неповторимой улыбкой?

10 июня в церкви, близ ограды которой покоился прах отца Бланш, аббат Туссен совершил таинство бракосочетания. Накануне регистрация брака состоялась в деревенской мэрии. Из сохранившихся актов гражданского состояния мы узнаем, что свидетелем Жака выступил Жорж Паньи (присутствовавший в этом же качестве на бракосочетании Клода), свидетелями Бланш — семейство Батлер и ее брат Жак, успевший к тому времени покинуть норвежские фьорды и устроившийся работать в Сен-Серване брокером в фирме, занимавшейся морскими перевозками.

А вот мэр, мечтавший «накрахмалить» болото, исчез с их горизонта. Выборы, прошедшие в мае 1896 года, подтвердили его

полный провал на общественном поприще. Нового народного избранника звали Альбер Колиньон, и уж он-то понимал, как ему повезло иметь в ряду своих подопечных знаменитого художника.

Нынешний хозяин деревни настоял, чтобы 5500 франков, выделенные «господином Моне», лежали на особом счете в сберегательном банке и потихоньку обрастали процентами.

— Мы получаем по 162 франка ежегодно, — радостно объявил он во время заседания муниципального совета, собравшегося 21 февраля. — Я предлагаю завести на имя каждого ученика, посещающего школу в Живерни, сберегательную книжку. Торжественное вручение книжек — если мое предложение получит единогласную поддержку, — проведем 14 июля в присутствии господина Моне![142]

В июле 1897 года деревня Живерни чествовала Клода Моне. В эти же дни в Париже президент Республики принимал у себя эльзасского сенатора по имени Шерер Кестнер, утверждавшего, что у него имеются верные доказательства того, что в деле Дрейфуса использовались подложные улики.

— Советую вам проявить благоразумие, — ответил сенатору президент Феликс Фор. Как и Моне, он в течение долгих лет жил в Гавре, где занимался торговлей кожевенными изделиями.

В Генштабе это известие вызвало бурю беспокойства. По инициативе военных в прессе консервативной и антиеврейской направленности началась кампания нападок на тех, кто посмел выступить в защиту изменника Дрейфуса и требовал пересмотра — на их взгляд, совершенно бессмысленного! — приговора.

В первых рядах «бунтовщиков» был Золя, что никого не удивило. У Вольтера был свой Калас, у него — свой Дрейфус!

«Да, — писал он в „Фигаро“[143], — во Франции существует профсоюз людей доброй воли, истины и справедливости! Я числю себя в членах этого профсоюза и надеюсь, что в него вступят все честные французы!»

— Не существует никакого дела Дрейфуса! — заявил на заседании сената председатель Совета Феликс Жюль Мелин, и собрание ответило ему бурной овацией.

«Браво, и еще раз браво, дорогой Золя! — писал романисту Моне, регулярно читавший „Фигаро“. — Вы один сказали, и как прекрасно, то, что следовало сказать. Счастлив поздравить вас с этим!»[144]

Увы, не всякая правда встречает единодушное одобрение. Именно это и продемонстрировали читатели «Фигаро», большая часть которых причисляла себя к антидрейфусарам. Редакция дала ясно понять Золя, что отныне ему лучше оттачивать свое перо публициста где-нибудь в другом месте, что он и не

преминул сделать.

Продолжение этой истории хорошо известно. 13 января номер газеты «Орор», с которой сотрудничали, в числе прочих, Жеффруа и Клемансо, вышел с огромным заголовком на первой странице — «Я ОБВИНЯЮ!»

Журналистское чутье не изменило основателю и директору газеты Эрнесту Вогану:

— Тираж перевалил за триста тысяч экземпляров!

14 января Моне (из чего мы делаем вывод, что он читал также и «Орор») берет в руки свое лучшее гусиное перо и пишет такие строки: «Дорогой Золя! Еще раз браво! От всего сердца поздравляю вас за вашу доблесть и мужество. Ваш давний друг…»

В открытом письме президенту Республики Золя перечислял все нарушения, допущенные в ходе судебного процесса, и высказывал обвинения в адрес двух военных министров, Генерального штаба, экспертов-графологов… Он обвинял их в организации гнусной кампании, имевшей целью ввести в заблуждение общественное мнение, и клеймил правовое преступление, совершенное против гвианского изгнанника. Теперь за делом ссыльного на Чертовом острове следила вся Франция. 18 января «Орор» публикует петицию, подписанную цветом французской интеллигенции. Среди тех, кто присоединился к манифесту, встречаем имена Андре Жида, Шарля Пеги, Эдмона Ростана, Марселя Пруста, Анатоля Франса, директора Пастеровского института Дюкло, «красной девы» Парижской коммуны Луизы Мишель и… Клода Моне.

Золя ничего не боялся. Не испугала его и повестка в суд присяжных департамента Сены по обвинению в диффамации.

Слушание дела открылось 7 февраля. Адвокатом писателя выступил один из сотрудников братьев Клемансо г-н Лабори.

«Слежу за этим гнусным процессом издалека и очень переживаю, — писал Моне Жеффруа[145]. — Вы, полагаю, ходите туда ежедневно? Как бы мне хотелось быть с вами! Должно быть, вас немало печалит поведение слишком многих людей… Я все больше восхищаюсь Золя и его смелостью. Ну и задал он работу адвокатам! С нетерпением жду выступления Клемансо…»

Несколькими днями позже, когда суд приговорил Золя к году тюремного заключения и штрафу в три тысячи франков, он снова писал Жеффруа: «Мужество Золя достойно восхищения! Это самый настоящий героизм! Я уверен, что, когда страсти немного поутихнут, это признают все здравомыслящие люди, и все согласятся, что он совершил прекрасный поступок…» На письме стоит отметка почты в Верноне и дата 25 февраля. Накануне Моне написал Золя: «Я болен, и домашние болеют, поэтому не

мог присутствовать на вашем процессе и пожать вам руку, как мне того хотелось. Но я со страстным интересом следил за всеми его перипетиями и хочу сказать вам, что восхищен вашим мужественным, героическим поведением. Вы вели себя безукоризненно, и все порядочные и здравомыслящие люди, как только в умах воцарится спокойствие, воздадут вам должное. Мужайтесь, дорогой Золя!»[146]

Разумеется, Золя подал апелляцию. 31 марта состоялось заседание по пересмотру дела. Много времени на него не потребовалось. Уже 2 апреля было принято решение о кассации приговора, вынесенного судом присяжных.

Но противники Золя не сложили оружия. На сей раз его вызвали в суд присяжных Версаля. Они поставили своей целью во что бы то ни стало низвергнуть авторитет писателя. И случилось худшее — 18 апреля первоначальный приговор суда получил подтверждение.

К счастью, Золя не стал дожидаться оглашения приговора. По совету Клемансо он бежал из города в автомобиле, а затем переправился в Лондон. «Намерены ли вы внести свое имя в список лиц, требующих пересмотра дела?» — обратился к Моне Клемансо.

«Я подписал протест, высказанный редакцией „Орор“, — отвечал тот[147], — я непосредственно высказал своему другу Золя все, что думаю о его смелом и прекрасном поведении. Что касается участия в каких-либо комитетах, то это, полагаю, совсем не мое дело!»

Глава 23
УТЕС

В 1898 году все крупные газеты наперебой публиковали все новые материалы, посвященные Делу. Передавали подробности обнаружения полковником Пикаром в посольстве Германии «голубой записки» — телеграммы, содержание которой компрометировало командующего Эстерхази; рассказывали о командующем Анри — том самом, кто нашел в корзинке для бумаг Дрейфуса убийственную для обвиняемого улику, ставшую причиной его высылки на Чертов остров — самый суровый в архипелаге, именуемом Островами… Спасения. Затем темой статей стало самоубийство — вынужденное? — командующего Анри в кабинете на Мон-Валерьен, последовавшее за признанием в том, что пресловутая «голубая записка» оказалась фальшивкой… Одним словом, в дни, когда общество, расколотое на дрейфусаров и антидрейфусаров, бурлило вокруг крупнейшего скандала конца XIX века, «Ревю иллюстре» в номере от 15 марта печатает пространную статью Мориса Гийемо, переносящую читателя за сотни лье от политики. «…Какой-нибудь час езды по железной дороге, с остановкой в Манте и пересечением темного туннеля под Боньером, и вот мы в Верноне. На вокзале, не обращая внимания на настойчивые крики кучеров, наперебой предлагающих свои услуги, направляюсь к поджидающему меня фургону, запряженному белой лошадью, — он-то и доставит меня в Живерни. Едем через весь городок… Это обычная провинциальная дыра, с тихими, плохо замощенными улицами. Не доезжая до новенького, с иголочки, моста — далеко не такого живописного, как старый, разобранные арки которого, сваленные каменной грудой и уже поросшие сорной травой[148], виднеются на фоне старой мельницы, поворачиваем к въезду в Верноне, оставляем это селение с правой стороны и дальше двигаемся вверх по течению реки… Мелькают первые крыши, постепенно множась и сближаясь кучно, по сторонам дороги встают каменные поросшие мохом ограды, появляются окружающие дома фруктовые сады. Это и есть деревня Живерни. Небольшой крюк по карабкающейся в гору тропе и, миновав двуколку портомоя, останавливаемся возле дверей довольно большого дома. Его ставни выкрашены в зеленый цвет, но не того оттенка, что понравился бы Жан Жаку, а гораздо бледнее и отдающего голубизной. Просторное жилище с вытянутым в длину фасадом, простирающимся дальше, чем самые смелые мечты мыслителя из

Эрменонвиля; теплицы, птичник, широкие, устроенные шпалерой, аллеи; хозяйственные постройки и так далее и тому подобное — все ясно говорит о том, что имение старое, без конца расширяемое и улучшаемое.

— Все, что я зарабатываю, уходит на сад…

Хозяин дома страстно увлечен цветоводством. Каталоги растений и буклеты садоводческих фирм он читает гораздо внимательнее, чем статьи эстетов, — и мы не станем его за это осуждать… За дорогой, чуть выше железнодорожной ветки, чьи обочины покрывает густая трава, вдоль течения ручья, журчащего меж зарослей ивняка, Клод Моне вырыл пруд, через который перебросил деревянный японский мостик. На застывшем зеркале воды, меж лилиями, плавают редкие водные растения — с широкими листьями, цветами тревожных[149] оттенков, странно-экзотического вида. Установленные по краям пруда краны позволяют ежедневно менять в нем воду…

Этот прелестный оазис населен моделями, которые он выбрал для себя сам. Да-да, ибо все эти растения — рабочие модели художника, с которых он пишет этюды, затем переносимые на большие полотна. Позже он покажет их мне у себя в мастерской. Представьте себе круглую комнату, верхняя часть стен которой опирается на плиты и открывает вид на водоем, испещренный цветными пятнами всех этих растений; представьте себе прозрачные перегородки с зеленовато-сиреневым отливом; вообразите тишину и спокойствие неподвижной воды, устланной цветочными лепестками… Все вокруг неяркое, нежное, переливающееся оттенками, словно во сне… Мастер из Живерни своими руками создал для себя весь этот антураж, самое его существование в котором является ежедневным вкладом в его же творчество. В периоды бездействия — а он иногда ничего не делает целыми месяцами — он независимо ни от чего продолжает работать, просто прогуливаясь по своим владениям, ибо его созерцающий взгляд все замечает и все запоминает. Его мастерская — это сама природа».

По свидетельству Мориса Гийемо, в 1898 году Моне уже регулярно писал свой пруд с его многообразной растительностью. Нимфеи[150] прекрасно в нем прижились, что повлекло за собой смену интересов художника. Отныне Руанский собор отошел в прошлое. Теперь он взял на себя роль архитектора «водяных соборов».

В июне того же года прошли две его выставки, организованные двумя самыми верными и удачливыми торговцами. Первая, состоявшаяся в галереях Дюран-Рюэля, представляла собой нечто вроде ретроспективы его работ, вторая,

у Жоржа Пети, была коллективной. Рядом с полотнами Моне красовались картины Ренуара, Писсарро (наконец-то выплатившего свой долг Клоду!) и невезучего Сислея, чьи холсты все еще продавались за непостижимо низкую цену и которого уже настигла мучительная болезнь — рак горла.

Художник из Море-сюр-Луэна умер несколько месяцев спустя. Моне навестил его. Позже он рассказывал об этом Жеффруа:

— Старина Сислей попросил меня приехать. Я понимал, что он зовет меня прощаться. Мой несчастный друг…

«Старина» Альфред Сислей был старше Моне всего на год. Они дружили давно, с 1862 года — безумной и героической поры ученичества в мастерской Глейра. И, как это водится, не успел его прах упокоиться в шести футах под землей, как цена на его картины начала стремительно расти. «Наводнение в Марли», например, двадцатью годами ранее проданное им 180 франков, ушло с аукциона за сумасшедшую сумму в 43 тысячи!

«Сислея убило курение», — утверждал Синьяк, художник-пуантилист, представитель школы неоимпрессионизма.

Тот факт, что Сислей скончался 29 января 1898 года, с горлом, буквально сожженным крепким серым табаком, не мешал Моне курить сигарету за сигаретой.

«Она вечно торчала у него изо рта, озаряя своим огоньком густые заросли его бороды», — отмечает Морис Гийемо.

«Он никогда не докуривал сигарету до конца, — уточняет Жан Пьер Ошеде[151]. — Часто он вообще забывал, что курит, — сигарета гасла, и он ее выбрасывал».

Тот же Жан Пьер Ошеде приводит такую забавную историю:

«В Живерни жил один побирушка, которого моя мать называла „маркизом“, — настолько величественным он казался, особенно, когда приветствовал ее, размашистым жестом снимая с головы старую фетровую шляпу. Он частенько заглядывал к нам, потому что у нас была привычка собирать окурки в одно место. Мы складывали их в большую коробку, а потом передавали „маркизу“, который набивал ими свои карманы. И уходил донельзя счастливый — еще бы, „бычки“ от почти нетронутых сигарет!»

Печальные новости сыпались на обитателей Живерни одна за другой. Умер Сислей, лишь на несколько месяцев переживший Будена[152], навсегда ушли многие друзья — Базиль, Кейбот, Мане… Не стало Берты Моризо. Умерли Ван Гог и Йонкинд — оба с помутившимся рассудком…

Безумие слишком близко к гениальности, не зря говорят, что гений и безумие спят в одной постели…

«Пытаюсь делать вещи совершенно невозможные, — пишет

Моне. — Хочу написать воду, в глубине которой колышется трава… Смотреть на это чрезвычайно приятно, но передать на холсте трудно до безумия. А я, как ненормальный, делаю все новые и новые попытки!»

В самом Живерни дела тоже обстояли не блестяще. Сюзанне с каждым днем становилось все хуже. Не успел Моне вернуться с похорон Сислея, как к нему примчался перепуганный Батлер.

— Я очень боюсь! — сказал он.

Боялся он не зря. Днем 6 февраля его Сьюки испустила последний вздох. Любимой модели Клода Моне едва исполнилось 30 лет. Батлер остался с двумя маленькими детьми — пятилетним Джеймсом и четырехлетней Лили. Неужели ему придется воспитывать их одному? Нет, не придется. Марта, старшая из дочерей Ошеде, предложила взять на себя заботу о малышах. Вскоре объектом этой заботы станет и сам Теодор Батлер…

Сюзанну похоронили рядом с отцом, на деревенском кладбище. Сразу после этого печального события тяжело заболела Алиса. На нее накатила глубокая депрессия…

Стремясь отвлечь Алису от черных мыслей — черное не цвет, даже для госпожи Моне! — Клод, планировавший поездку в Лондон, предложил жене поехать вместе с ним. Такое случилось впервые: мы знаем, что, часто покидая Живерни, он всегда предпочитал вести свою «охоту за пейзажами» в одиночестве.

Но теперь Алисе настоятельно требовалось сменить обстановку. Ее, только что потерявшую дочь, ждало еще одно испытание. Теодор Батлер объявил, что намерен на некоторое время вернуться в Соединенные Штаты. Он увозил с собой не только детей, но и Марту — тридцатипятилетнюю «тетю Марту», которая так и не вышла замуж и теперь видела смысл всей своей жизни в том, чтобы воспитать сына и дочь покойной Сюзанны.

Большому дому грозило запустение. Бланш и Жан жили в Руане. Жак перебрался в Сен-Серван. Жан Пьер присматривал себе квартиру в Верноне. Может, и правда, съездить в Лондон? Почему бы и нет? Тем более что там ее ждала встреча со своим любимчиком Мими. Конечно, Мими — он же Мишель — давно перестал быть забавным карапузом. К 21 году он превратился в крепкого и здорового парня. В Лондон его отправил отец — учить английский язык. Надо же выучиться хоть чему-нибудь! Моне боялся, что его младший сын вырастет бездельником…

И вот Клод, Алиса и двадцатишестилетняя Жермена (о том, чтобы оставить ее одну в Живерни, не заходило и речи) уже устраивались в номере «Савоя», в апартаментах на седьмом этаже, с видом на Темзу.

Моне распахнул окно. То, что предстало перед его взором, оказалось грандиозным. Окутанные сентябрьским туманом арки моста Ватерлоо едва проступали сквозь дымный шлейф, тянувшийся с соседней свинцовой фабрики; вокзал Черинг-кросс утопал в ватных клубах пара, которым без устали плевались паровозы; Вестминстерский дворец пытался проткнуть высокой башней Виктории низко плывущие облака; вокруг Часовой башни носились чайки, словно хотели взять ее штурмом; вдали виднелся подвесной мост Лембета и громада больницы Святого Фомы…

На самом деле осенью 1899 года Моне удалось сделать не более десятка набросков с видами Лондона. Дела звали его обратно, в Живерни. Без ухода зарастала травой могила Сюзанны; рабочим, возводившим вторую мастерскую, требовались его советы; Дюран-Рюэль ждал обещанных картин с нимфеями; проявлял настойчивость Надар, во что бы то ни стало вознамерившийся сделать его фотографический портрет. К нему собирался приехать Клемансо, которому он пообещал подарить написанную десятью годами раньше, когда он гостил у Роллины, картину, первоначально названную «Скалистый утес в Крезе». Сегодня она известна как просто «Утес». Связанную с этим историю нам поведал Жан Батист Дюрозель, автор пространной биографии Жоржа Клемансо[153]:

«В 1891 году, когда стало известно, что готовится постановка пьесы Викторьена Сарду „Термидор“, весьма враждебно трактующей некоторые события Французской революции, Клемансо выступил в Палате депутатов с длинной речью, в которой потребовал и добился запрета спектакля. Именно тогда он произнес свою ставшую знаменитой фразу: „Французская революция — это утес!“»

Вот почему художник переименовал картину.

24 декабря 1899 года Моне получил от Клемансо такое письмо: «Я не ответил на ваше теплое послание, потому что понятия не имел, что вам сказать по поводу вашего „Утеса“, которым вы меня просто придавили. Ваши добрые слова уже служили мне лучшей наградой; и я давно убедился, что ваши человеческие качества достойны вашего мастерства художника, и, поверьте, это не пустые заверения. Если б вы только знали, какую радость мне доставили! Мне давно хотелось обнять вас и еще раз сказать вам, как я вас люблю. Но этот чертов „Утес“ стоял между нами и не давал мне проходу. Отказаться от подарка я не мог, боясь вас обидеть. Принять его я тоже не мог, потому что это слишком ценный дар. А теперь вы, не спрашивая разрешения, взяли и запульнули в меня этой чудовищной глыбой чистого света. Я одурел настолько, что не нахожу слов. Вы имеете

обыкновение обтесывать куски небесной лазури и кидаться ими в людей, метя в голову. Если бы я начал вас благодарить, это было бы самой большой глупостью, какую только можно совершить. Разве солнце благодарят за то, что оно шлет нам свои лучи? Обнимаю вас от всего сердца».

В последние дни 1899 на Сене, в Ветее и Лавакуре, начался ледоход. Моне не мог не услышать мощного призыва природы. Его охватило неудержимое желание поскорее запечатлеть на холсте заиндевелую землю, пока не началась оттепель.

Провожать старый год семья в полном составе собралась в розово-зеленом доме, окна которого разукрасил своими узорами мороз. Сад спал под снегом. Лишь в теплице продолжалась жизнь.

— Это верно, — вспоминает г-жа Тибуст, мать которой служила в доме Моне прачкой. — Истинная правда: к Рождеству к столу подавали черешни!

30 или 31 декабря Моне получил из фирмы Надара первые оттиски. Ах, милый старина Феликс Турнашон! Самому знаменитому фотографу XIX века исполнилось 80 лет! Но, если вдуматься, какую блестящую карьеру он сделал! Ведь это именно он, страстный поклонник воздухоплавания, первым изобрел аэрофотосъемку! Именно он сохранил для истории облик самых видных художников, писателей и политиков своего времени! Его коллекции фотоснимков позавидовал бы любой. Говорили, что он готовит к выпуску книгу воспоминаний, под названием «Когда я был фотографом». И ведь это именно он предоставил в распоряжение авантюристов, именовавших себя импрессионистами, свою мастерскую на углу улицы Дану и бульвара Капуцинов, где состоялась их первая выставка!

«Большое спасибо, — написал ему Моне в ответном письме, — мы просто очарованы. Все согласны, что мои фотоснимки (sic) получились просто великолепно. Не сочтите за комплимент, но я и в самом деле никогда не видел столь прекрасных фотографий».

Похоже, он говорил это вполне искренне. Доказательство? В постскриптуме письма — и это решительно шло в разрез с его привычками — он просит Надара принять от него небольшой дар: «На днях вам доставят небольшой набросок пастелью, который я поместил под стекло. Это всего лишь один из давних набросков, который я отправляю вам в качестве скромного сувенира…»

На всех фотографиях, сделанных Надаром, Моне и в самом деле выглядит прекрасно — пышущий здоровьем, с живым блеском чуть лукавых глаз и подернутой сединой густой бородой, каскадом спадающей на крепкую грудь. А вот о снимках Алисы

нигде не упоминается. Увы, госпожа Моне заметно состарилась, и состарилась преждевременно. Она теперь не снимала траурного наряда, ее роскошные волосы сделались совершенно седыми, глубокая морщина, заставлявшая приподниматься правый уголок верхней губы, прорезала лицо чуть ли не до самой надбровной дуги, и эту гримасу уже никто не принял бы за улыбку. Во взгляде ее черных потухших глаз ясно читается, что способность улыбаться она утратила навсегда. Бедный Моне!

1899 год доживал свои последние дни. Моне строил планы создания целых огромных фресок на водные мотивы. Вода — вот что всегда питало его полотна. Вода Ла-Манша, Этрета и Пурвиля, вода Сены и Эпты, вода Темзы и, разумеется, его собственного водоема, расцвеченная нимфеями, ирисами, колокольчиками и «змеиными драконами» — этим гордым именем англичане называют обыкновенный львиный зев.

1899 год отжил свое. Равель сочинил «Павану покойной инфанте», Бренли и Маркони провели первый сеанс радиосвязи, Луи Рено изобрел «переносную коробку передач прямого сцепления», немка Хардт запатентовала первый бюстгальтер, вышел из печати первый телефонный справочник и состоялись похороны президента Феликса Фора.

Но даже известие об обстоятельствах кончины последнего не заставило бы Алису улыбнуться. Президент Республики — почти житель Гавра, как и ее муж, — потерял сознание, а вскоре за тем и жизнь в объятиях красавицы Маргариты Штайнхель, своей любовницы…

Слава Богу, Алиса не читала сатирической прессы. И она не разразилась негодующим криком, увидев на первой странице одной из газет карикатуру, изображающую президента, одетого лишь в лавровый венок. Под картинкой была подпись: «Он мнил себя Цезарем, но умер как Помпей!»

Глава 24
937. YZ

Бурами, как известно, называли голландских колонов, заселивших в Южной Африке области Оранжевую, Наталь, Капскую и Трансваальскую.

Между тем англичане спали и видели, как бы присоединить к своему и так не маленькому списку колоний еще и этот богатый район Африки.

Президент Трансвааля Й. С. Пауль Крюгер заявил, что об этом не может быть и речи!

И буры объявили войну Англии. Этот вооруженный конфликт сильно осложнил жизнь Клоду Моне, в феврале 1900 года приехавшему в Лондон поработать над серией этюдов с видами Темзы. Прекрасные апартаменты на седьмом этаже отеля «Савой», из окон которых открывалась великолепная панорама, оказались заняты! Там по велению Ее Величества королевы Виктории разместился лазарет, в котором лечились раненые офицеры.

Моне предложили поселиться на шестом этаже. Вид из окон номера не слишком его разочаровал, и он согласился, тем более что в его намерения не входило ограничиваться работой в помещении. Он собирался поискать и другие мишени для своего меткого глаза.

С собой он прихватил достаточный запас чернил, перьев и писчей бумаги. Алиса вместе с Жерменой остались в Живерни, а от ежедневной обязанности писать письма его никто не освобождал.

Зато в Лондоне он увиделся с Мишелем, который жил в пансионе Дерби, на Бромфилд-роуд, 92. Тот все еще делал вид, что совершенствуется в английском, — правда, получалось это у него не слишком убедительно. Моне подозревал, что он гораздо больше времени проводит, катаясь на коньках или гоняя на велосипеде, чем за чтением Шекспира. Когда же двадцатидвухлетний сын сообщил ему, что уезжает на пару-тройку дней на экскурсию с приятелями, добрый папа Моне забеспокоился.

Он теперь часто волновался по поводу и без повода. С годами он вообще стал подвержен приступам тревоги. Однажды утром Мишель обнаружил, что все его тело покрыто мелкой красной сыпью. Ничего страшного, успокоил врач Моне, это всего лишь краснуха. Пусть полежит денек-другой в постели, и все пройдет.

И Моне забывает про кисти и краски и целыми днями сидит у

постели «несчастного больного», доставившего ему «столько забот».

Он помнил, что вскоре Мишелю предстоит отправиться на военную службу, — еще один повод для тревог.

«Я очень обеспокоен, — пишет он. — Постараюсь что-нибудь предпринять, чтобы освободить его от службы в армии, — так, чтобы он об этом ничего не узнал».

Ему сообщили, что в Нормандии похолодание. Он места себе не находит из-за тревоги за свой сад.

«Надеюсь, вы не забыли накрыть японские пионы!»

Он волнуется за Алису, свою «старую добрую женушку», которую, в свою очередь, снедает тревога за Марту и внуков — двух маленьких Батлеров. Хорошо, что они скоро приезжают во Францию.

«Хоть бы барометр не упал!»

Из Сен-Сервана пришли плохие новости. Жак, его тридцатилетний пасынок, запутался в долгах. Он уже начал попрошайничать!

«Пожалуйста, Моне, пришлите мне еще триста франков!»

Да что же это творится? Ведь он только что отправил ему тысячу шестьсот! Моне мечется по комнате, не в силах сдержать раздражения.

«Ты права, — пишет он в очередном письме к Алисе[154], — я просто дурак. Волнуюсь из-за всякой ерунды…»

Он действительно постоянно встревожен. Из-за того, что англичане косо смотрят на французов — правительство Эмиля Лубе, хоть и не объявило официально о своей позиции, тем не менее явно настроено стать на сторону буров. Из-за того, что подхватил «ужасный насморк». Только бы не разболеться по-настоящему. Работа не ждет, особенно здесь, где из-за туманов освещение меняется чуть ли не ежеминутно!

Вот она, истинная причина всех его страхов. Каждая новая картина для него — испытание, и каждый раз он должен выйти из этой схватки победителем. Однажды утром он почувствовал себя счастливым. Стоял «великолепный туман», и он в очередной раз пришел к выводу, что «писать в Лондоне с каждым днем становится все интереснее». Но вечером, вернувшись в свою комнату в «Савое», он уже не вспоминал о приподнятом утреннем настроении.

«До чего печальный день… Я вконец извелся из-за того, что здесь совершенно невозможно работать над одними и теми же холстами так часто, как это необходимо». На следующее утро его отчаяние достигло крайней точки. Причина — «от тумана не осталось ни следа!» Все его труды погибли! Однако по мере того

как разгорался день, над Темзой понемногу сгущались заводские дымы, пока наконец за их пеленой не скрылось почти полностью здание парламента, что и требовалось Моне.

«Бедная моя Алиса! Моя жизнь здесь состоит из чередования пылких восторгов и горьких разочарований…»

Вскоре «бедная Алиса» рассердилась не на шутку. До нее дошла весть о том, что в конце февраля Жеффруа и Клемансо отправились в Англию, чтобы провести несколько дней в обществе ее мужа. Она не просто недолюбливала Клемансо — она терпеть его не могла и боялась как чумы. Справедливости ради укажем, что этот уроженец Вандеи в респектабельных кругах пользовался не самой лучшей репутацией. После развода он пустился во все тяжкие, и под его напором сдавались не только министерские кабинеты. Список его любовных побед выглядел впечатляюще — графиня д'Онэ, оперная дива Роза Карон, не считая прочих виконтесс и певичек. Клемансо позволял себе многие вольности. При этом, чтобы понравиться женщине, ему, как рассказывали, не требовалось даже шевельнуть усом! Он не искал успеха у прекрасных дам, но имел его в избытке. Мало того, он никогда не скрывал своего отношения к слабому полу.

— Пока я жив, — говорил он, — они ни за что не получат права голоса! Женщины-избиратели! Да это курам на смех! Моя воля, я бы и мужчинам запретил голосовать!

Злые языки болтали даже, что он не просто волокита, а самый настоящий сексуальный маньяк!

«Успокойся, дорогая моя, — писал жене Моне, — у тебя нет никаких поводов для ревности. Не понимаю, с чего ты взяла, будто Клемансо способен втянуть меня в дурную компанию…»[155]

Спустя несколько дней он добавляет: «Клемансо и Жеффруа только что отбыли… Оба вели себя очень мило и нисколько не помешали мне работать…»[156]

И в самом деле, пакуя в ящики холсты, Моне мог себя поздравить: лондонский урожай оказался совсем не плох. Почти 80 полотен. Правда, многие из них требовали доделки. Значит, в будущем году, в это же время года, сюда надо будет вернуться для новой встречи с теми же туманами. Во вторник 4 апреля, ближе к вечеру, он в Дьепе, и немедленно сел в поезд, идущий до Гавра. Ему уже не терпелось увидеть свою «дорогую старую женушку», чтобы вместе с ней ждать прибытия трансатлантического парохода «Турень», который вез во Францию двух маленьких Батлеров, их отца и тетю Марту.

Пока Батлер находился в Америке, Жорж Дюран-Рюэль устроил ему в своей галерее персональную выставку. Увы, не зря

говорят, что нет пророка в своем отечестве. Выставка обернулась провалом.

Несчастный Батлер нуждался в утешении. И он нашел его в лице Марты Ошеде. Вскоре Теодор назвал «добрую нянюшку», взявшую на себя заботу о детях покойной Сюзанны, своей невестой. Пройдет еще немного времени, и ее будут называть миссис Марта Батлер.

Через 10 дней после возвращения Моне из Англии в Париже состоялось открытие Всемирной выставки, а заодно и моста Александра III. На торжествах председательствовал президент Республики Лубе. Но Дворец промышленности, столь часто служивший ареной издевательств над импрессионистами, в общем празднике больше не участвовал. Он стал не нужен — ведь завершилось строительство Большого и Малого дворцов — Гран-пале и Пти-пале соответственно. В Малом дворце разместилась грандиозная ретроспективная выставка французского искусства, охватывавшая его историю от истоков до 1800 года. Большой дворец принял у себя так называемую Столетнюю выставку, на самом деле отражавшую достижения французского искусства за 90 лет[157], и Десятилетнюю выставку, включавшую произведения, созданные в последние 10 лет уходящего века.

Разумеется, на ней были широко представлены импрессионисты во главе с Моне, который в конце концов дал себя уговорить, предав забвению то, как часто в прошлом Дворец промышленности отвергал его картины.

Всемирная выставка начала работу 14 апреля, хотя торжественное открытие художественной секции состоялось лишь 1 мая. Перерезавшему ленточку Эмилю Лубе хватило полутора часов, чтобы рысью обежать все залы экспозиции!

Гастон Леру, который в то время еще не успел раскрыть публике «Тайну желтой комнаты» и одурманить ее ароматом «Духов дамы в черном», но присутствовал на открытии, с улыбкой вспоминал:

«За какие-нибудь полтора часа президент набегал шесть километров живописи и скульптуры, да еще ухитрился пожать несколько сотен рук!»

Среди тех, кто удостоился рукопожатия президента, оказались: глава академической школы Бугеро, способный потратить день на выписывание детской щиколотки; художник-баталист Эдуар Детай, непременно надевавший в мастерской — для вдохновения — военную форму; Руабе, писавший исключительно мушкетеров; Бриспо, специализировавшийся на изображении тучных епископов-обжор; Шокарн, отдававший предпочтение проказливым мордашкам мальчиков из церковного

хора; Рошгросс, автор томных вавилонянок и двуполых греческих юношей-эфебов; Анри Жервекс — респектабельный господин, снисходивший лишь до портретов барышень из высшего света; старик Бонна — «мастер официозных портретов», создаваемых, как шутили злые языки, с помощью «трубочной жижи»; Жюль Лефебр, готовый раздеть любую блондинку — но только блондинку; мрачный Фриан, своим излюбленным сюжетом избравший смерть; Каролюс-Дюран, дравший с дам из хорошего общества по три шкуры за портреты их собачек, попугайчиков, гусиков, журавликов или перепелочек; Фатен-Латур, виртуоз цветочных букетов и натюрмортов, и, конечно, Леон Жером — сердитый старик с ежиком седых волос, который, воинственно задрав подбородок и сверкая черными глазами, громко провозглашал, что Моне и вся его клика — не более чем «пачкуны, заморочившие голову всей артистической молодежи».

— Я плевать хотел на их мазню, которой кое-кому не терпится заполонить наши музеи! — нисколько не смущаясь, вопил он.

Рассказывали даже, что, воспользовавшись присутствием во дворце Лубе, он дерзнул встать на пути президента, стремительно шагавшего по залам, и, указав рукой на зал импрессионистов, во всеуслышание заявить:

— Остановитесь, господин президент! Не входите в этот зал! Там вы не увидите ничего, кроме позора Франции!

Мы все же думаем, что, вопреки предупреждению старика Жерома, Эмиль Лубе бросил-таки беглый взгляд на полотна Писсарро и Сислея, Ренуара и Моризо, Дега и Моне… Писсарро к этому времени все быстрее превращался в согбенного старца с гривой белых как снег волос, а Дега почти ослеп, что отнюдь не прибавило ему добродушия. Даже соратники по искусству отныне не могли рассчитывать на его снисхождение.

— Элле? — ворчал он. — Ватто эпохи паровозов! Болдини? Костлявый развратник! Бугеро? Бордель для буржуа!

Пальцы Ренуара утратили былую сноровку. Художника мучил тяжелый артрит…

Роден, этот «Гюго скульптуры» и человек поистине неуемных аппетитов, получил на Всемирной выставке собственный павильон. Эмиль Лубе — бывший мэр города Карпантра, которого недруги считали малообразованной и посредственной личностью, не удостоил великого скульптора ни одним словом комментария. Осторожный Лубе предпочел промолчать, чтобы не ляпнуть какую-нибудь банальность или глупость, из которой, он не сомневался, журналисты поспешат состряпать лакомое блюдо. Совсем иначе повел себя его преемник на посту президента

Арман Фальер. Этот-то не боялся ничего! Однажды, посетив мастерскую Родена, он, как рассказывают, сочувственно вздохнул, указав на высившиеся повсюду руки, ноги, головы и торсы — «черновые наброски» мастера:

— Как вижу, старина, и вас не миновало бедствие переезда!

Устроителям выставки пришла в голову идея издать каталог произведений Родена. Зная о давней дружбе двух мастеров, они обратились к Моне с просьбой:

— Не могли бы вы написать к этому каталогу предисловие?

И получили резкий ответ:

— Я художник, а не писака!

Тем не менее в конце концов Моне согласился набросать несколько строк — лишь бы отделаться от докучливых просителей. «Замечательно! — воскликнули издатели каталога. — В печать, немедленно!» Так они и поступили, правда, подвергнув текст Моне небольшой редакторской правке, поскольку он содержал два-три весьма злобных выпада в адрес критиков, которых художник считал продажными. И современный читатель, открыв упомянутую брошюру, за которую коллекционеры готовы платить бешеные деньги, может прочитать: «Вы просите, чтобы я в нескольких словах высказал все, что думаю о Родене. Ну что ж, вы и так отлично знаете, что я о нем думаю, вот только для того, чтобы сказать об этом красиво, необходимо обладать талантом, которого у меня нет. Писательство — не мое ремесло, и единственное, что я считаю своим долгом выразить, — свое восхищение этим человеком, равного которому не знает наше время, великим среди величайших. Выставка его работ станет событием. Я не сомневаюсь в ее успехе, который окончательно подтвердит величие прекрасного художника».

Коротко и ясно. Моне и в самом деле не собирался тратить время на всякие пустяки. Солнце пригревало уже почти по-летнему. Не сегодня-завтра его сад вступит в пору цветения. Распустятся ирисы, вдоль главной аллеи зазмеятся плети настурций, яблони покроются розовыми бутонами, а в пруду проснутся нимфеи.

Пруд с нимфеями! Первая выставка, на которой были представлены картины с изображением этого цветущего водоема и мостика, состоялась в галерее Дюран-Рюэля осенью 1900 года. За ней последовали и другие, ибо отныне Моне большую часть своего времени посвящал тому, чтобы ухватить «сочетание воды и облаков», но показ первых же работ будущей пространной серии привлек внимание фламандского поэта, время от времени помещавшего во французских газетах, в том числе в «Меркюр де

Франс», свои статьи. «Моне — великий поэт, — утверждал этот фламандец в 1901 году в одном из февральских номеров „Меркюр“. — Он чувствует красоту мира. В глубине его прудов ощущается биение какой-то своей жизни, рост узловатых корней и переплетенных между собой стебельков, пышное цветение которых на поверхности — лишь закономерный итог этого движения».

Узнав в ноябре 1916 года о кончине этого поэта, сумевшего столь тонко понять смысл его живописи, Моне испытал искреннее огорчение. Звали его Эмиль Верхарн, и закончил он свои дни неподалеку от Живерни, под колесами поезда, подъезжавшего к вокзалу в Руане.

Моне, которого Верхарн называл поэтом, и сам любил общество поэтов. Он, например, поддерживал дружеские отношения со Стефаном Малларме, который однажды шутки ради прислал ему письмо в необычном конверте, ставшем с тех пор музейной ценностью. Уверенный, что местный почтальон все поймет правильно, он вместо адреса начертал на нем такое четверостишие:

Месье Моне, который и
Зимой и летом на пленэре,
А проживает в Живерни,
Что близ Вернона — том, что в Эре.

Вполне вероятно, что в Живерни бывал и Анатоль Франс, так как в переписке писателя иногда мелькает имя художника. Кроме того, в 1899 году Франс опубликовал «Путешествия Пьера Нозьера по Франции» — сборник повестей, в которых мы обнаруживаем красочное описание Вернона. Он часто гостил здесь у Фредерика Плесси, издателя Вергилия и Горация, послужившего Франсу прототипом персонажа по имени Бержере.

По аллеям сада в Живерни с удовольствием прогуливался Люсьен Гитри, а вскоре сюда стал приезжать и Саша.

Но поэтическое начало в творчестве Моне не мешало ему оставаться реалистом. Так, на очередное Рождество он сам себе сделал маленький подарок: заказал роскошный автомобиль фирмы «Панхард» — «машину в восемь лошадиных сил стоимостью в картину». И, поскольку, как утверждает Жан Пьер Ошеде, «он совершенно не разбирался в технике»[158], ему пришлось нанять и шофера. К черту скупость! Впрочем, из его личной бухгалтерии[159] мы узнаем, что за 1900 год художник заработал кругленькую сумму в 213 тысяч франков[160]. За снабженный номером 973 YZ автомобиль, такой огромный, что в

него можно было садиться не сняв с головы цилиндра, он заплатил сущие пустяки — всего 11 тысяч[161].

1900 год подходил к концу. В последний день октября состоялось бракосочетание Теодора и Марты. Свадьбу отпраздновали, и благодаря этому до нас дошла запечатлевшая группу гостей фотография. Помимо членов семьи Моне на ней фигурируют Поль Дюран-Рюэль, Жанна Сислей, жена Жака Ошеде Инга Йоргенсон и ее дочь от первого брака Анна Бергман, а также аббат Туссен — добрый кюре, любимый всеми жителями деревни.

1900 год подходил к концу. Несмотря на усилия Моне, освободить Мишеля от службы в армии так и не удалось. Это дало новый повод для недовольства Алисы.

— В январе поеду в Лондон, — объявил ей Моне.

Глава 25
ВЕТЕЙ

Моне прибыл в Лондон 24 января 1901 года и застал город в глубоком трауре. Королева Виктория — «бабушка Европы» — скончалась на острове Уэйт после 63 лет царствования.

Даниель Вильденштейн опубликовал письмо, в котором Клод рассказывает Алисе о том, что 2 февраля присутствовал на похоронах «la Queen» — королевы. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но в данном случае его письменное свидетельство стоит иной картины, настолько оно насыщено художественными деталями: «Это было непередаваемое зрелище. Погода стояла прекрасная, сквозь легкий туман пробивалось неяркое солнце, а все действо разворачивалось на фоне Джеймс-парка. А уж народищу собралось!

В черной толпе красными пятнами выделялись плащи всадников в блестящих касках и фигуры военных в форме всех стран. И, если бы не серьезность, с какой люди взирали на похоронный кортеж, зрелище вообще ничем не походило бы на похороны! Никакого крепа, никакого траура. На домах — лиловые полотнища; катафалк — пушечный лафет, который везут великолепные лошади масти кофе с молоком, украшен золотом и цветными тканями. И, конечно, король с Вильгельмом[162], который показался мне слишком уж худым. Я думал, он выглядит более величаво… Зато король на своем коне смотрелся превосходно. Вообще все производило впечатление великолепия! Сколько золота, какое буйство красок! А парадные экипажи, а упряжь! У меня чуть глаза не разболелись…»

В Лондоне Моне снова поселился в апартаментах «Савоя» и оставался здесь до самого конца марта.

Впрочем, два месяца, проведенные на берегу Темзы, ненамного расширили цикл картин с изображением этой реки. Дело в том, что Моне простудился и целых 20 дней не вставал с постели. Все началось с резкой боли в ногах, в области икроножных мышц, затем появились судороги и подскочила температура. Любое движение причиняло ему невыносимую боль. Дальше — хуже. Когда участились приступы рвоты и обмороки, он смирился с необходимостью вызвать врача.

— Ничего страшного, дорогой сэр! — заключил тот. — Легкий катар плюс ревматизм. Полагаю, вас просто сильно продуло. Во всяком случае, признаков инфлюэнцы[163] я не нахожу…

Так прошло несколько дней. И несколько бессонных ночей, ибо, вопреки предсказаниям доктора Наумана, температура не только не спала, а продолжала подниматься. У больного полностью пропал аппетит. Моне злился и называл врача бестолочью. Он решил, что тот немец — Науман! — а что хорошего ждать от немца?

Живший в Лондоне художник Сарджент посоветовал Моне обратиться к доктору Плейфайру.

— My God! — всплеснул тот руками, осмотрев пациента. — It's a wicked inflammation of the membrane enclosing your lungs! It's a beginning of a pleurisy![164]

Но тут же поспешил добавить, что, по его мнению, положение не безнадежно и, учитывая крепкое сложение больного, нескольких дней лечения будет достаточно, чтобы привести его в норму.

К физическим страданиям заболевшего Моне добавлялись и моральные. Каждый день — а как же иначе! — почта доставляла очередное письмо от Алисы, и каждое письмо переполняли жалобы и упреки. Мишель — ее любимчик «Миш» — совершенно не в состоянии привыкнуть к гарнизонной жизни, следовательно, надо что-то предпринять, чтобы его перевели в транспортные войска Вернона, где он будет поближе к Живерни. Жан Пьер, также проходивший службу в армии, заболел, значит, необходимо похлопотать о его досрочной демобилизации. Она пишет о том, что Жак сидит без гроша, что Жан никак не может наладить отношения с патроном, который, как мы помним, был не кем иным, как его собственным дядюшкой Леоном…

Апофеозом этой мрачной переписки стало письмо, в котором Алиса признавалась, что жизнь ей не в радость и самое большое ее желание — поскорее присоединиться к бедной маленькой Сюзанне.

Но что мог сделать Моне, прикованный к постели в номере «Савоя», терзаемый болью и сознанием вынужденного безделья?

«Ты не права, дорогая моя, — пишет он ей в ответ[165]. — Я прекрасно понимаю причины твоего беспокойства, но, согласись, ведь у тебя есть свои маленькие радости. Разве та, которой с нами больше нет, одна умела тебя любить? А мы все, что же, совсем ничего для тебя не значим? Наша любовь тебе больше не нужна? Послушай меня, милая, тебе необходимо встряхнуться. Не поддавайся черным мыслям, иначе ты совсем разболеешься. Поверь, мне сейчас очень тяжело, а еще парочка таких писем, какое я получил нынче утром, и они меня совсем доконают…»

Лишь вести от «славной маленькой Бланш» проливали на его сердце живительный бальзам. Она никогда ни на что не

жаловалась, никогда ничего не требовала. От нее «папа Моне» получал одну лишь нежность и заботу.

Зато Мишель нисколько не стеснялся обращаться с просьбами. На сей раз ему потребовалось 200 франков, на которые он намеревался приобрести машину своей мечты — четырехколесный пожиратель бензина, по случаю продаваемый чешским художником Радинским. Действительно, Радинский, пользовавшийся в Живерни славой лучшего конькобежца, только что женился на местной собирательнице одуванчиков — как утверждали, первой деревенской красавице, — и охладел к своему автомобилю под номером 222-Z. Разумеется, Моне уступил — разве мог он отказать Мишелю? Но на душе у него кошки скребли:

«Я не могу помешать ему делать, что он хочет, но, сам не знаю почему, эти машины внушают мне дикий страх, так что я уже жалею, что купил автомобиль… Для меня это обернется пустой тратой времени. Чтобы всем заниматься, надо быть рантье, а не художником, как я, целиком поглощенным любовью к искусству…»

Моне хорошо знал своего сына и не без оснований считал его сорвиголовой. Так что беспокоился он не напрасно. Через несколько месяцев случилось то, что и должно было случиться: Мишель Моне совершил на дороге особенно рискованный маневр, стоивший жизни его «номеру 222-Z» и едва не унесший его собственную.

С подробностями этого дорожного происшествия, заставившего переволноваться всех обитателей розового дома, нас знакомит номер «Репюбликэн де Вернон» от 22 ноября 1902 года: «Утром во вторник 18 ноября г-н Мишель Моне, сын живущего в Живерни художника Клода Моне, ехал на своем автомобиле по улице Тьера на большой скорости. Пытаясь увернуться от встреченного экипажа, он задел колесом растущее у дороги дерево. От удара водителя выбросило из автомобиля. Его подобрали и перенесли в гостиницу „Золотое солнце“[166], где осмотревший его доктор Стюдер констатировал перелом бедра».

Прошло немало времени, прежде чем Мишель оправился от своей травмы. Но едва он снова стал ходить, как отец купил ему… новый автомобиль. Клемансо прокомментировал это следующим образом:

«У Мишеля машина. Мишель гоняет по дорогам. В один прекрасный день он разобьется в лепешку!»[167]

Что же касается роскошной «панхард-левассор», то об этом приобретении Моне сожалеть не пришлось. Жан Пьер Ошеде, с удовольствием водивший эту тяжелую машину, рассказывает[168],

что по воскресеньям, после семейного обеда, его нередко использовали в качестве шофера:

«Мы часто ездили в одни и те же места, особенно любимые Моне: на побережье в Клашалоз[169] или в Дез-Аман[170], в Лион-ла-Форе, в Анделис и т. д. В путешествиях обязательно участвовала моя мать, иногда брали еще кого-нибудь. Порой прогулка по окрестностям превращалась в настоящую экскурсию на целый день, а то и на несколько дней. Ездили в Дьеп, в Онфлер, в Кодебек-ан-Ко — любоваться приливом, который в здешних местах зовут „волной“… Как-то раз отправились в гастрономическое путешествие в Ла-Мот-Беврон, что в Солони, — полакомиться знаменитым тортом в гостинице Татена. Решение двинуться в путь созрело мгновенно, после того, как кто-то первым заговорил про этот самый торт. Поехали всей семьей — с детьми и внуками. Вернулись только к вечеру следующего дня, посетив заодно замок Шамбор и уничтожив еще один татеновский торт…»

Сожалеть о покупке «панхарда»? Только не летом 1901 года, когда к пруду было не подступиться и Моне предпочитал каждый день, независимо от погоды, ездить на этюды в Ветей.

«Он словно возвращался к своей первой любви, — вспоминает Жан Пьер Ошеде[171]. — Каждый день он велел везти его туда на автомобиле. Шофером обычно был я. В этих приятных прогулках постоянно принимали участие моя мать и моя сестра Жермена. У меня сохранились о них самые лучшие воспоминания, ведь это были последние дни, когда мать сопровождала Моне на его этюды».

В Лавакуре, на правом берегу Сены, Моне снял небольшой домишко. С балкона второго этажа, где он устроил свою временную мастерскую, открывался вид на Ветей и правобережье реки, днем залитое ярким летним солнцем, а по вечерам окрашиваемое розовыми закатными тонами. Результат — десяток картин, начатых в это время и полностью завершенных уже к началу осени.

Главное место на полотнах этой серии он отвел деревенской церкви — той самой, возле которой вот уже 23 года покоился прах Камиллы. Двадцать три года забвения! За это время могила совсем осела, заросла чертополохом, крапивой и дикой ежевикой…

Нам не очень-то верится, что Моне — разумеется, без ведома Алисы — так ни разу и не навестил могилу той, что разделила с ним все тяготы голодной поры, той, бледный лик которой он поспешил запечатлеть на ее смертном ложе…

Но в этот раз на кладбище Ветея он не пошел — слишком

много мучительных воспоминаний поджидали его там.

Но почему он вообще уезжал работать в Ветей? Не в последнюю очередь потому, что любимый пруд перестал приносить ему удовлетворение. Маленькому водоему решительно не хватало перспективы. Помочь здесь могло одно — расширение. В мае он принялся обрабатывать вдову Рузе, владевшую длинной полосой земли по другую сторону ручья, шедшей параллельно его участку. Если удастся убедить ее продать эту землю, его собственный клочок — жалкие 1300 квадратных метров — увеличится сразу вчетверо, это будет уже целых полгектара! Но уроженка Манта вдова Рузе не помышляла о продаже.

— Даю вам тысячу двести франков! — с ходу объявил ей Моне.

О таких деньгах вдова и мечтать не смела. Разве кто-нибудь когда-нибудь предложит ей подобную сумму[172] за полоску земли, на которой из-за угрозы наводнений нельзя даже поставить дом?!

— По рукам? Тогда едем в Вернон, к мэтру Гремпару! Плачу наличными. Мой банк «Сосьете женераль» расположен буквально в двух шагах от его конторы![173]

Итак, первая битва выиграна. Но оставалось самое трудное — получить разрешение на изменение русла ручья и его перенос ближе к границе участка. Тогда находившийся в центре водоем можно будет существенно расширить.

Само собой разумеется, его новая затея вызвала переполох среди отдельных «землеробов»:

— Вот он уже и реку собрался повернуть! Этот художник думает, что ему все позволено!

Поставив в известность деревенского мэра, который, как мы помним, теперь относился к нему скорее благосклонно, 13 августа Моне пишет письмо префекту:

«Имею честь обратиться к вам с просьбой разрешить мне осуществить перенос русла небольшого притока Эпты, известного как „общественный ручей“ и протекающего по принадлежащему мне участку земли…»[174]

К великому сожалению нетерпеливого Моне, дело затянулось. Стояло лето, и чиновники работали как бы в замедленном режиме. Художник, который ничего не любил откладывать в долгий ящик, нервничал. Наконец ему сообщили, что для изучения вопроса на место будет прислана специальная комиссия из отдела водоснабжения — в октябре! Затем настанет очередь экспертизы возможных последствий предприятия — в ноябре! И еще надо будет разобраться с установкой водозапорных устройств!

— Пусть, раз уж ему неймется, ставит простую решетку — к такому мнению склонялись недоверчивые «землеробы». — Только не краны! А то возьмет да и запрет нам всю воду в ручье! И чем тогда, скажите на милость, скотину поить?

Все эти проволочки закончились лишь 11 декабря. В этот день в почтовый ящик розового дома упало письмо префекта департамента Эра, предварительно побывавшее в кабинете супрефекта Анделиса, числившего себя среди горячих сторонников защиты водяных лилий. Вскрывая конверт, Моне дрожал от возбуждения. Победа! Победа по всем фронтам! Делайте что хотите, писал ему префект, ройте что вам заблагорассудится, это же ваша земля! Ах, муниципальный совет деревни требует, чтобы вы ограничились решетками? Не обращайте на это внимания! Ставьте себе свои запоры и ни о чем не беспокойтесь.

Оценить результат удалось лишь весной 1903 года. Дело того стоило! Пруд выглядел великолепно! Вытянутый в длину, с изломанными краями, он весь покрылся бутонами лилий, готовых вот-вот раскрыться. Между ними мелькали ирисы всевозможных разновидностей, китайский стрелолист, опоры мостика обвивали гигантские листья петазитов и глициний, а по берегам стояли плакучие ивы, которым, равно как и тополям, следовало не плакать, а радоваться — ведь ни одно из деревьев не пострадало во время земляных работ. Действительно, Моне сумел сохранить всю растительность. Ему бы и в голову не пришло приглашать к сотрудничеству одного из тех ландшафтных дизайнеров, которые считают, что для создания очередного шедевра пейзажной архитектуры в первую очередь необходимо превратить участок земли в чистое поле! И руководили им отнюдь не соображения экономии, поскольку, как мы уже убедились, он никогда не относился к числу людей бережливых. Просто он был твердо убежден, что самый гениальный мастер пейзажа — это сама природа.

«Господи, как же он ненавидел так называемое декоративное искусство — насквозь искусственное, — вспоминает Жан Пьер Ошеде[175]. — Его приводили в ужас все эти фальшивки: камни с водопадами, гигантские бетонные грибы, якобы растущие под деревьями, колонны, статуи, истерзанные кустарники — я имею в виду те, что постоянно подстригают, чтобы придать им форму куба, конуса, зонтика, а то и вовсе какого-нибудь галльского петуха! Он терпеть не мог цветочные композиции в виде мозаики анютиных глазок, маргариток, гелиотропов, агератумов и прочую безвкусицу, лишенную, по его мнению, всякой красоты именно потому, что в ней не остается ничего естественного.

Естественность — вот что он ценил больше всего на свете!»

«Мой главный шедевр — это мой сад!» — впоследствии говорил Моне.

Но шедевр этот требовал нешуточного ухода. Вскоре у художника работали уже семь садовников! Командовал ими Феликс Брей — человек, разбиравшийся в фазах луны, понимавший язык неба и облаков, пение птиц и стрекот насекомых, знавший бесчисленное множество народных поговорок и страдавший жестоким ревматизмом пальцевых суставов. Он мог, например, заявить своему патрону:

— Если в сентябре три раза пройдет гроза, осень будет затяжной! На Святого Вениамина ненастье кончится! Если на Вознесение будет дождь, все погибло!

Одним словом, если сценарий шедевра создавал Моне, то его режиссером-постановщиком был Феликс Брей, отец которого служил садовником у Мирбо в Ремаларе, что в области Орн.

— Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит: что-то еще будет…

Однажды утром, как передает Марта де Фель, Моне появился в своем саду «очень расстроенный. С неподвижным взглядом, небрежно одетый, с жутким выражением лица — он напоминал раненого зверя.

— Что с вами случилось?

— …

— У вас неприятности?

— …

— Да скажите же, наконец, что произошло?

— Ничего! Говорю вам, ничего!

И вдруг он остановился и громко крикнул:

— Случилось непоправимое! Вчера была буря! У меня в саду сломались два дерева! Понимаете? Два дерева! Это больше не мой сад!

И он снова принялся расхаживать взад и вперед, бормоча:

— Это больше не мой сад… Это больше не мой сад…»

Правда, как вспоминает Жан Пьер Ошеде, одну иву удалось спасти. «Ее подняли и укрепили в вертикальном положении с помощью подпорок и железных обручей. Ива выжила и потом еще долго радовала своей красотой!»[176]

Не меньше огорчений приносила Моне и необходимость очищать пруд от погибших растений, а это порой случалось после ливней или сильного града. Что же пришлось ему пережить в 1910 году, когда взбесившаяся Сена затопила побережье и его участок целиком оказался под водой? «Это была картина ужаса и отчаяния», — рассказывал об этом Мирбо.

Во всем, что касалось сада, Моне вел себя как истый перфекционист.

Однажды, это было в 1907 году, на него накатил очередной приступ ярости. Хлопнув дверью, он вышел из дома и направился к деревенской мэрии.

«В такие дни, когда он бывал в плохом настроении и глядел исподлобья, — вспоминала г-жа Брюно, урожденная Боди, — здороваться с ним было необязательно — он все равно никому не отвечал!»

— Господин мэр, так дальше продолжаться не может! Вы должны положить этому конец! Пыль, которую поднимают автомобили, когда мчатся на бешеной скорости мимо моего сада, моим цветам совершенно без надобности! Дорогу на Руа необходимо замостить. Вы меня слышите? Ее пора заасфальтировать! И я готов принять участие в расходах.

Вопрос об асфальтировании шоссе рассматривался на заседании муниципального совета 21 апреля. В принципе предложение ни у кого не встретило возражений. Вот только… Если уж заниматься дорогой, так замостить надо не только шоссе Руа, но и улицу О… А это будет стоить… две тысячи восемьсот франков! Где взять деньги? Частично можно использовать общественный фонд, частично провести подписку, но этого все равно не хватит…

— Даю тысячу двести франков, — заявил Моне.

10 июня начались дорожные работы.

Отныне дождем и солнцем в Живерни командовал Моне. И он во всех случаях предпочитал солнце.

Глава 26
РЕМИ

В пруду, ставшем теперь гораздо больше, цвели лилии, и жизнь продолжалась. В феврале 1902 года из Сан-Сервана пришло известие о том, что Жак Ошеде заболел. Заболел серьезно — подхватил брюшной тиф. Алиса уехала ухаживать за сыном. Моне на целый месяц остался в Живерни совсем один.

Жермена, которой уже исполнилось 29 лет, наконец-то решилась чуть отдалиться от матери и «папы Моне». Она на несколько дней уехала к знакомым в Кань-сюр-Мер. Мишель лежал, оправляясь после перелома бедра; Жан мучился смертной скукой на заводе дядюшки Леона; Моне внес пять франков[177] в фонд поддержки буров[178]. У него появился новый торговец картинами — фирма Бернхайма. Осенью Моне с болью узнал о смерти Золя[179]. Писал он главным образом побережье Сены, и каждая картина тут же уходила к покупателям за крупные суммы.

Жермена вернулась из Каня и с гордостью объявила:

— Я влюбилась! Его зовут Альбер Салеру. Он адвокат. Он тоже меня любит!

Свадьбу отпраздновали 12 ноября 1902 года.

Семейное фото, снятое по этому поводу, удалось на славу. Они все здесь — дети, внуки, дядюшки, тетушки, кузены, друзья — тесной толпой окружили Моне, все больше становящегося похожим на настоящего патриарха. Усы у него еще черные, но борода уже полностью побелела.

Чудесный снимок! Чудесный праздник!

Для любителей попировать начало XX века, когда еще и слыхом не слыхивали про холестерин, было благословенным временем. Например, по случаю Всемирной выставки Эмиль Лубе закатил банкет на 22 695 персон — именно такое количество мэров насчитывалось в тогдашней Франции. Помимо прочих деликатесов, приглашенные благополучно уничтожили 2500 литров майонеза, 500 быков и семь тысяч фазанов! Столы, установленные в саду Тюильри, протянулись на семь километров!

В Живерни, правда, гостей в тот день, 12 декабря, собралось поменьше — всего около 40 человек, но меню отличалось разнообразием, достойным Гаргантюа и Пантагрюэля вместе взятых. После закусок к столу подали тюрбо под голландским соусом или соусом из креветок — на выбор, затем следовали: жаркое из косули, жареная индейка, грудинка с мозгами, целая пирамида из раков и, в завершение обеда — но до салата, —

знаменитый паштет из гусиной печенки. Кое-кто из приглашенных продолжал ощущать легкий голод? Не беда, его еще ждал десерт — горы мороженого и засахаренных орехов!

Разумеется, к отбору гостей Алиса подошла с особой взыскательностью. Чтобы удостоиться чести сидеть за ее столом, требовалось представить доказательство полной респектабельности. Отныне ничто не мешало ей возобновить связи с кругами крупной буржуазии, нравы и обычаи которой ей, урожденной Ренго — богатейшей наследницы своих родителей, были гораздо милее.

В числе прочих приглашение получила и чета Реми — владельцы великолепного парижского особняка на улице Пепиньер, а также замка Аннель в департаменте Уазы и, следовательно, солидного счета в банке. Г-жу Реми в девичестве звали Сесиль Ренго, и она приходилась Алисе младшей сестрой. В свое время она вышла замуж за Огюста Реми, который теперь превратился в импозантного старика, с элегантностью носившего цилиндр. На его волевом лице с бакенбардами а-ля Франц Иосиф по-прежнему молодо блестели глаза.

…Шел 1902 год. Пройдет чуть меньше шести лет, и Моне будет провожать Огюста Реми — своего свояка — в последний путь. Боже, какую прощальную церемонию устроят ему в церкви Святого Августина! Целый хор певчих, орган, роскошный катафалк, утопающий в живых цветах! А публика! А сборище любопытных зевак!

— Смотрите, смотрите, — шептали в толпе. — Это Моне! Тот самый, художник!

— А кто этот молодой человек?

— Это его племянник Леон Ренго.

— Вдова просто убита горем…

— Эй, глядите-ка! Это же Амар, сам шеф Сюрте!

Действительно, 11 июня 1908 года на похоронах Огюста Анри Селестена Реми присутствовали не только шеф Сюрте, но и его заместитель Бло, и комиссар квартала Мадлен Дальтрофф. Ничего удивительного — ведь он был убит! Утром 7 июня тело Огюста Реми без признаков жизни обнаружили на полу в его спальне. На шее и груди виднелись многочисленные следы ножевых ударов.

Полиция начала расследование. Одновременно ей приходилось ломать голову над раскрытием двойного убийства, случившегося неделей раньше в тупике Ронсена, в квартире Мег Штайнхель, бывшей любовницы покойного президента Феликса Фора. Тогда жертвами убийц стали мать Мег и ее старик-муж, посредственный художник по имени Адольф Штайнхель.

Старушка из тупика Ронсена умерла, подавившись собственной вставной челюстью. Огюст Реми, судя по всему, пытался оказать напавшим на него сопротивление, о чем ясно свидетельствовали состояние его одежды и следы ранений. Поначалу никакой связи между этими двумя преступлениями полиция не усмотрела.

Почему убили Огюста Реми? Из-за денег? В самом деле, этот известный биржевой маклер владел огромным состоянием, пользовался в деловых кругах большим авторитетом и, кроме того, считался своим среди заядлых театралов и любителей конных скачек.

Да, похоже, мотивом убийства является ограбление — к такому выводу пришел на первых порах следователь Альбанель. И спальня г-жи Реми явно подверглась тщательному обыску. Распахнутые дверцы шкафов, вываленное на пол белье, взломанный секретер, пустая шкатулка для драгоценностей — все говорило в пользу этой версии. Самой Сесиль в ту ночь не было дома. Она на несколько дней уезжала в Аннель, где супруги владели замком Мон-Ганеон. Полицейские Амар и Бло по горячим следам опросили всех, кто мог слышать хоть какой-нибудь шум в доме или заметить хоть что-нибудь. Допросу подверглись сын покойного Жорж Реми, его племянники Сюзанна и Леон Ренго, часто бывавшие в доме. Все впустую — никто ничего не слышал и не видел.

Ну а слуги? У лакея Томассена был выходной. Горничные? Но разве слабые женщины справились бы с крепким стариком? Привратники? Нет, невозможно. Они служили так давно, что сделались чуть ли не членами семьи. Оставались двое — дворецкий Пьер Ренар, нанятый два года тому назад, и молодой болезненного вида лакей по имени Куртуа.

— Именно я поднял тревогу! — объяснял Ренар. — Седьмого июня в восемь тридцать утра я, как обычно, понес хозяину завтрак. Отдернул шторы и тут увидел… Я сразу закричал, стал звать на помощь… Скорее, хозяин умер!

— У меня той ночью была высокая температура, — в свою очередь рассказал молодой Куртуа. — Я кашляю… Нет, с постели я не вставал и ничего не слышал.

Итак, никакого подозрительного шума, никакого следа взлома дверей, никаких разбитых окон. Орудие убийства обнаружилось здесь же, в туалетной комнате Огюста Реми. Им послужил один из его собственных приборов столового серебра! Значит, убийца хорошо знал, где что лежит, и вообще чувствовал себя здесь как дома! Значит, искать следует среди родных и близких — к такому убеждению пришел комиссар Дальтрофф.

До дня похорон, на которые, как мы уже знаем, приезжал и Моне, расследование практически топталось на месте. Алиса, судя по всему, так и не покинула Живерни — во всяком случае 11 июня в церкви Святого Августина ее не видели. Возможно, она так и не смогла преодолеть в себе неприязнь к деверю и заглушить воспоминания о том времени, когда жизнь вынуждала ее обращаться к Огюсту Реми за денежной помощью — хоть небольшой. Он ей, правда, не отказал, но более чем прозрачно намекнул, что подает милостыню…

12 июня на набережной Орфевр поднялось большое волнение. Почтальон принес анонимное письмо. Некий Икс писал: «Я был на кладбище Монмартра, когда в могилу опускали гроб с телом Огюста Реми, и видел, как дворецкий Пьер Ренар, наклонившись к Леону Ренго, тихо, но отчетливо произнес: „Старик умер! Больше он нас не разлучит!“»

Очень скоро полиция установила, что дворецкий — с виду человек порядочный, муж и отец семейства — в тайне от своей жены снимал в городе комнату. В ней произвели обыск. Помимо целого ряда предметов, украденных у предыдущих хозяев, здесь обнаружилась картонная коробка с письмами странного содержания, доказывающими, что их адресат имел пристрастия, отнюдь не одобряемые в приличном обществе. Коротко говоря, он оказался педерастом! И в числе его корреспондентов фигурировало имя Леона Ренго!

— Это уже совращение несовершеннолетних!

Через 20 дней после убийства Огюста Реми дворецкий Ренар был арестован. Можно вообразить себе, какое впечатление эта новость произвела на Алису. Ее племянник, сын ее младшего брата, — гомосексуалист! И водит шашни с кем? С лакеем!

Еще несколькими днями позже арестовали и Куртуа. Препровожденный в тюрьму Птит-Рокет, он сознался в соучастии в преступлении. Следователи набережной Орфевр, затаив дыхание, слушали его рассказ: «Я часто жаловался Ренару на свое убогое жалованье. Пятьдесят франков в месяц, не считая вина, а работаешь с утра до ночи! Вечером накануне того происшествия я сервировал стол к ужину, и тогда Ренар сказал мне: „Хозяин богат. Сделай, что я тебе велю, и уже завтра сможешь купить себе все, что захочешь“. Вы, верно, знаете, что он человек властный… Разве мог я с ним спорить? А он продолжал: „Подожди меня у себя в комнате. Там поговорим“. В десять часов, когда все гости и г-н Жорж ушли, я пошел спать. Вскоре ко мне пришел Ренар. Он был совершенно голый, а в руках держал нож, салфетку и еще какие-то инструменты. „Сними рубашку, — сказал он. — Пойдем разбираться с хозяином. Нельзя, чтобы на одежде остались

следы…“ Он бросил мне салфетку и приказал следовать за ним. Я не мог ему возразить, я чувствовал себя перед ним беспомощным… Света мы не зажигали, чтобы не разбудить г-на Реми. Впрочем, это уже не имело никакого значения… Мы хорошо знали, где что находится в комнате. Едва мы вошли, Ренар бросился к кровати и начал наносить удар за ударом. Он все бил, и бил, и бил!

Но г-н Реми был крепким стариком и сопротивлялся. Он даже кричал, но не громко. Чтобы заставить его замолчать, я подошел и зажал ему рот салфеткой. Я просто слышать не мог его стонов, поймите! Но я к нему не прикасался! Убил его Ренар! Это он убийца! Он, а не я!

— Ну да, если не считать того, что вы задушили его своей салфеткой!

— Когда г-н Реми умер, мы зажгли электричество. Вымылись в туалетной комнате, взяли деньги из ящика стола — их оказалось немного, и пошли в покои мадам.

— А потом?

— Мы быстро вернулись каждый к себе. Мы очень спешили, потому что боялись, что с минуты на минуту вернется г-н Жорж. Поэтому мы и забыли унести нож, хотя тщательно его вытерли. Это-то нас и погубило! На следующий день я по приказанию Ренара спрятал драгоценности в подвале. Он все деньги забрал себе, а мне дал всего четыреста франков. С тех пор у меня не жизнь, а какой-то кошмар. Я болен, у меня жар… Мне кажется, я схожу с ума…»

К февралю расследование завершилось. Дело было передано в суд. Разумеется, Ренар — его защищал мэтр Лагас — упорно настаивал на том, что все показания Куртуа, которого защищал мэтр Анри Роббер, — гнусная ложь. Что это именно он замыслил преступление, а его принудил к соучастию силой, пригрозив, что в противном случае выдаст его связь с племянником хозяина дома…

Наконец, судьи вынесли приговор. 20 лет каторжных работ тщедушному лакею и вечная каторга дворецкому, которого любовь к мальчикам довела до убийства. В сущности, злодеяние на улице Пепиньер следовало отнести к преступлениям, совершенным на почве страсти. За несколько дней до рокового вечера Пьер Ренар случайно подслушал разговор между супругами Реми.

— Леон должен переехать в Пасси, к бабушке! — говорил Огюст. — Я больше не желаю терпеть его присутствие в своем доме! Вы меня поняли? Пристрастия этого юноши расходятся с моим пониманием приличий!

Мысль о предстоящей разлуке казалась Ренару невыносимой. Именно в тот вечер он и решил «убрать старика».

Стоит ли говорить, что ничего похожего на подобную трагедию никогда не могло разыграться в Живерни, где за обликом всех обитателей розового дома, включая кухарок, садовников, горничных, шофера и прачек, со строгостью дуэньи следила Алиса. Впрочем, слуги никогда не жаловались. Глава дома Моне по единодушному признанию всех, кого удалось опросить, слыл хорошим хозяином.

Например, в октябрьском номере «Крапуйо» за 1931 год напечатан рассказ одной из служанок, не пожелавшей открыть свое имя:

«Я прослужила в доме Моне десять лет. Кажется, он был великим художником. И какой же порядочный человек!.. Знаете, он очень любил цветы! В доме всегда было полно цветов, и каких красивых! Вы бы только послушали, как он рассуждал о ботанике! Он мог вас целый час продержать и все объяснял, как там это все в цветах устроено, ну, всякие там пестики и тычинки…»

Цветы Моне! Отныне он посвящал большую часть времени запечатлению лилий, украсивших поверхность нового пруда. Лето 1903 года выдалось гнилым, но он не опускал рук:

«Работаю как одержимый, урывая время между двумя ливнями. Пока это всего лишь наброски, но, надеюсь, мой труд принесет плоды…»

Основной темой его картин становятся лилии. А вот на то, чтобы пройтись кистью по незаконченным картинам из цикла «Темза», времени почти не находится. Впрочем, выкраивать часы для работы ему становится все труднее, потому что в семейной жизни одно событие следует за другим.

8 октября Жермена, теперь носившая имя г-жи Салеру, произвела на свет девочку. Случилось это «в доме г-на К. Моне, деда с материнской стороны, присутствовавшего при рождении ребенка в качестве свидетеля».

12 декабря — снова свадьба. Жан Пьер женился на Женевьеве Костадо и намеревался открыть собственную авторемонтную мастерскую в Верноне, в доме 105 по Парижской улице. Крупные неприятности свалились на Жака — неудачника из Сен-Сервана, ухитрившегося вляпаться в какое-то темное дело. У него в руках оказалось некое секретное досье, сулившее ему массу осложнений. Насмерть перепуганная Алиса потребовала от мужа привлечь Клемансо, чтобы тот помог ее мальчику выпутаться из опасного положения.

Многое отвлекало Моне от работы. В деревне теперь постоянно толклись — к вящему удовольствию четы Боди,

заметно расширивших свое заведение, — пресловутые «янки», жаждавшие во что бы то ни стало познакомиться с «мэтром», выслушать его советы, наконец, устроиться с мольбертом в тех же местах, где писал он. Правда, их настойчивость редко достигала цели.

— Я специально поселился в деревне, чтобы меня никто не беспокоил. Делайте как я: работайте, ищите…

Но все же какой парад имен! На берегах Эпты побывали все американские импрессионисты — Мюррей Кэбб, Оливье Херфорд, Дьюхарст, Николь, Паркер, Райтмен, Уильям Р. Ло, запечатлевший на своих работах Монетный двор Нового Света… Они писали полотно за полотном. Одни приезжали на выходные, другие — на все лето, некоторые и вовсе оставались здесь жить. Янг, например, приобрел старую мельницу и переоборудовал ее в восхитительный коттедж. Скульптор Макманниз купил старую ферму, когда-то принадлежавшую белому духовенству и известную в округе как «Монастырь», и устроил в ней мастерскую. Мисс Уиллер открыла школу живописи для молодых американок, желавших научиться работать на пленэре. Одним словом, жизнь в Живерни бурлила…

— Возможно, Моне и в самом деле отличался несносным характером, — вспоминала Жермена Тенон[180], — но ведь и его надо понять! Разве мог он позволить себе терять время на пустые разговоры! Поставьте себя на его место!

Жермена Тенон — в те годы совсем молоденькая учительница — по просьбе миссис Холдин, муж которой тоже писал в деревне картины, занималась с ее дочерью Энн французским языком. Холдины жили по соседству с Моне. Маленькой проказнице Энн удалось в конце концов «приручить дикаря», которого она называла «дяденькой».

— Однажды утром, — продолжает Жермена Тенон, — я стояла возле зеленой двери, ведущей в дом Холдинов, собираясь войти, как вдруг дверь открылась и мне навстречу вышел какой-то человек. Вначале я увидела только большую соломенную шляпу и длинную седую бороду и только потом заметила на лице улыбку, заставлявшую блестеть глаза и разгладившую его морщины. Он остановился в позе моряка, озирающего горизонт, и обратился ко мне: «Вы, по всей видимости, к юной леди? А, понимаю, вы приезжаете из Вернона обучать ее нашему прекрасному языку! Это хорошо, а то она кроме пары-тройки ругательств так ничего и не выучила! Вы уж постарайтесь объяснить ей, как называются цветы, что растут у меня в саду…»

Вряд ли милейшая Жермена Тенон, весьма далекая от ботаники и предпочитавшая картинам Моне книги Лаваренды,

оказалась в состоянии просветить свою маленькую ученицу относительно того, чем отличаются друг от друга аубриета и аканф, голубое плюмбаго и мак, малопа и гайлардия, ипомея и львиный зев, лаватера, цинния и петазита широколиственная, не говоря уже о рогозе, медвежьих ушках или дикорастущих розах…

«Моне читал много специальной литературы, — свидетельствует Жан Пьер Ошеде[181]. — Он изучал каталоги и посещал теплицы цветоводов. Особенно тесные отношения он поддерживал с Жоржем Трюффо, который часто обедал у нас в Живерни. Моне творил свой сад, как он творил бы картину, только материалом ему служили не краски, а цветы, которые он тщательно отбирал по оттенкам, иногда смешивая их, иногда разделяя на отдельные островки, но в их хаотичном и лишенном какой бы то ни было симметрии изобилии всегда ощущалась глубокая внутренняя гармония».

«Поначалу мне показалось, что Клод Моне, влюбленный в природную игру листвы и цветов, живет посреди какого-то весеннего бушующего безумия, — вспоминает герцог де Тревиз[182]. — Но нет, во всем у него царил образцовый порядок. Все здесь было разумно, даже излишества, на всем лежал отпечаток труда, даже на том, что казалось совершенно диким… Эти изящные нимфеи, рядом с которыми наши кувшинки кажутся такими грубыми, обязаны своим появлением упорству хозяина сада. Ради них он изменил русло притока Эпты и, зная, что сильное течение повредит цветам, установил на ручье решетку, словно воткнул в прическу гребень… Именно он придумал соорудить там изогнутый мостик, вид на который открывается из узкого туннеля, в точности, как в Японии. И вот, когда все это стало на свои места, когда специально нанятый садовник, каждое утро объезжавший на лодке пруд, заканчивал смывать с каждой нимфеи накопившуюся пыль, владелец сада вставал на берегу с мольбертом и запечатлевал на полотне этот уголок, созданный его трудом и терпением».

Глава 27
КУЛАЧНЫЙ УДАР

За 1904 год Моне заработал 271 тысячу франков[183].

Какая-то часть этой суммы ушла на уплату штрафа, взысканного мэром Френеза — деревушки, расположенной выше по течению реки, неподалеку от Боньер-сюр-Сен. 13 мая «панхард-левассор» художника заметили здесь мчавшимся на бешеной скорости. Насколько бешеной, сказать трудно, поскольку по тогдашним правилам скорость передвижения через населенные пункты ограничивалась восемью километрами в час!

В 1904 году Моне создал около десятка полотен, запечатлевших нимфеи Живерни.

А на Живерни свалились новые беды. В местечке Эрживаль, расположенном на полпути от Вернона до пристанища Моне, армейское руководство задумало устроить стрельбище. Предполагалось, что здесь будут тренироваться солдаты расквартированных в городе транспортных частей. Находившийся в стадии разработки новый военный закон предусматривал существенное сокращение численности войск — на 55 тысяч человек! — зато от оставшихся требовал усиленной подготовки.

Итак, не успела над Живерни рассеяться угроза загрязнения отходами крахмального производства, как деревню уже поджидала новая напасть — постоянно слышать выстрелы и глотать пороховую пыль.

Этому не бывать! — решил убежденный антимилитарист Моне. Первым делом он бросился к мэру деревни. Необходимо составить петицию! Пойдемте в гостиницу Боди! Все живущие там художники наверняка проголосуют за нее обеими руками! Результат — французская армия отступила перед натиском великого импрессиониста! В январе 1905 года военный министр Анри Морис Берто приказал командующему инженерными войсками генералу Жоффру подобрать для стрельбища Вернонского гарнизона другое место.

Бедняга Берто! Пройдет каких-нибудь шесть лет, и он трагически погибнет на летном поле в Исси-ле-Мулино. Винт самолета, готового подняться в небо для участия в воздушной гонке Париж — Мадрид, снесет ему голову…

Мадрид! Моне совершил поездку в этот город осенью 1904 года, воспользовавшись своим «панхардом». Его сопровождали «добрая старая женушка» и шофер Мишель — единственный из всех детей, еще не имевший собственной семьи.

Увы, в Биаррице пресловутый «панхард» категорически отказался двигаться дальше. И до испанской столицы троим путешественникам пришлось добираться в переполненном пассажирами поезде. Что касается Моне, то в его планы не входило заниматься в этой поездке живописью. Он ехал в Испанию, чтобы своими глазами увидеть картины великих мастеров прошлого, главным образом Веласкеса.

— Боже, какая красота! — шептал он, стоя перед портретами, принадлежащими кисти придворного живописца короля Филиппа IV.

Если верить Жан Пьеру Ошеде, от волнения он заплакал.

Во время экскурсии по Толедо он признался Алисе:

— Эти пейзажи напоминают мне Алжир моей молодости!

Вернувшись в Биарриц, семейство забрало автомобиль, который местный автомеханик попытался в их отсутствие отремонтировать. Именно попытался, ибо все 800 километров обратного пути им пришлось тащиться со скоростью 30 километров в час — под непрекращающееся ворчание Алисы.

14 октября Моне был в Мадриде, а уже 7 декабря оказался в Лондоне, в своем номере отеля «Савой». Его вызвал сюда Дюран-Рюэль, готовивший большую выставку в галерее Грэфтона. Моне, представивший 55 полотен, явно претендовал на роль звезды экспозиции. Правда, и здесь нашлись злопыхатели, стремившиеся навредить его репутации.

— Моне пишет только с натуры? Да бросьте вы! — насмешливо говорил американец Гаррисон, и сам немного баловавшийся живописью. — Всю эту кучу картин он сляпал у себя в мастерской! Он сам недавно просил меня прислать ему фотографии лондонских мостов и здания парламента! Говорил, они нужны ему, чтобы закончить виды Темзы!

— Не обращайте внимания на этого Гаррисона! — успокаивал художника Дюран-Рюэль.

— А с чего вы взяли, что я обращаю на него внимание? — холодно ответил Моне. — Все эти нападки говорят лишь о том, что на свете существуют завистники, но лично меня это нисколько не трогает. Действительно, Сарджент поручил Гаррисону сделать для меня фотоснимок здания парламента, но я им так и не воспользовался. Да и вообще, какое все это имеет значение? Кому какое дело до того, с натуры или нет я написал свои соборы, свои лондонские пейзажи и прочие картины? Это никого не касается! Разве на свете мало художников, которые пишут исключительно с натуры, но создают не картины, а ужас? Главное — результат![184]

Моне демонстрировал полную безмятежность. Критические

замечания недоброжелателей его более не волновали. Вместе с тем он прилагал немалые усилия для поддержания своей популярности и того, что сегодня мы называем имиджем. Возле решетки дома в Живерни вечно толклись журналисты, и он охотно их принимал. В газетах регулярно появлялись пространные рецензии на его творчество. В «Тан» посвященные ему статьи печатал Тиебо-Сиссон, в «Голуа» — Жан Морган. Позже к ним добавились специалист по ботанике Форестье, сотрудничавший с изданием «Ферм э Шато», Теодор Дюре — автор «Истории художников-импрессионистов», Луи-Воксель, опубликовавший «Один день из жизни Моне»…

От журналистов не отставали и фотографы, каждый из которых мечтал запечатлеть мэтра за работой в его знаменитом саду. Одним из них был Эрнест Бюлоз. Среди посетителей художника встречались и носители весьма громких имен, такие, как герцог де Тревиз или весельчак князь де Ваграм, один из потомков маршала Бертье, известный в Париже коллекционер и любитель розыгрышей. Должно быть, Моне импонировала эта черта его характера. Вопреки буржуазному пуританству Алисы, сам он предпочитал общаться с людьми, склонными к нонконформизму. Про Ваграма, в частности, рассказывали такой анекдот. Как-то раз он предложил друзьям пари:

— Готов спорить, что сегодня, еще до десяти вечера, меня арестует полиция, хотя я не нарушу ни одного закона!

— По рукам!

Около восьми часов вечера Ваграм заявился в «Кафе Англэ». Мало кто узнал бы его, небритого, в нищенских лохмотьях, которые он на себя нацепил. Между тем к этому часу в Английском кафе собирался на ужин цвет Парижа. Знаменитости назначали здесь друг другу свидания. Не случайно именно Английское кафе послужило местом основания «Жокей-клуба»…

К величайшему изумлению клиентов оборванец прошествовал в центр зала и как ни в чем не бывало уселся за стол. Подошедшему официанту он сделал заказ: суп «Жермини», камбала «Дюглере», пулярка «Сюше» и говядина «Соломон»! К этому, само собой разумеется, вино — лучшей марки. За еду он принялся шумно чавкая — истинный дикарь!

— Счет! — закончив трапезу, провозгласил он и при этом громко рыгнул. А затем извлек из карманов своей драной одежды горсти золотых монет, толстые пачки бумажных денег и груду драгоценностей.

Не прошло и пяти минут, как подоспевшая на вызов полиция его арестовала.

Представляем, как хохотал Моне, когда Ваграм рассказал ему

эту историю.

Кто еще пользовался гостеприимством хозяина дома в Живерни? Конечно, торговцы картинами: отец и сын Дюран-Рюэли, Рене Жемпель, Амбруаз Воллар…

Последнего Моне любил встречать на ступеньках длинного деревянного крыльца громким криком:

— Держи Воллара!

«Несмотря на большие размеры дома, — вспоминает Воллар[185], — стен его вообще не было видно, ибо их закрывали картины его товарищей.

— Как вам удалось собрать такое количество столь прекрасных полотен? — спросил я его. — Я не видел такого богатого собрания даже у самых знаменитых коллекционеров!

— Я всего лишь подбирал то, что никого не интересовало, — отвечал Моне. — Большая часть полотен, которые вы здесь видите, подолгу висела в лавках торговцев. В каком-то смысле я покупал их в знак протеста против равнодушия публики…»

С таким же радушием «селекционер нимфей» принимал у себя Жосса и Гастона Бернхайм-младших.

«Когда мы уезжали в свое имение Буа-Люретт, что в Вильесюр-Мер, то по дороге обязательно заворачивали в Живерни, где нас ждали к обеду, — такая уж сложилась традиция, — вспоминает сын Жосса Бернхайма-младшего Анри Добервиль[186]. — Однажды отцу пришла в голову идея прикрепить на крыше лимузина, в котором мы ездили (марки „делони-бэльвиль“), великолепную картину Курбе, изображавшую нимфу на фоне каменистого пейзажа с бьющим родником. Моделью для красавицы послужила роскошная брюнетка с золотистым цветом кожи и пышными формами, выполненная в неподражаемо богатой оттенками манере Орнанского мастера. Отец захватил с собой это полотно с единственной целью — после обеда показать его Моне.

Но едва мы прибыли на место, отец, не в силах сдержать нетерпения, проговорился о приготовленном сюрпризе. Моне, на которого эта новость произвела совершенно ошеломляющее впечатление, потребовал, чтобы ему немедленно показали картину. Шофер влез на крышу лимузина, вынул из ящика полотно, встряхнул его, и перед нашим взором предстал великолепный образец живописи. Моне попросил разрешения расстелить картину на земле, встал на колени и начал пожирать ее глазами. Он ничего не говорил, только склонялся к ней все ниже, так что казалось — еще чуть-чуть, и он начнет ее лизать языком. В глубоком молчании прошло около двадцати минут. Наконец он поднялся с колен, еще раз долгим взглядом

посмотрел на Курбе, обнял моего отца и со слезами на глазах сказал ему: „Жосс, какое же вы мне доставили удовольствие! Спасибо, что показали эту картину!“ Потом мы снова упаковали „Источник“ в ящик, а ящик опять привязали к крыше лимузина. И пошли обедать. Нашей жертвой в тот раз был омлет, приготовленный по рецепту матушки Пуляр из Мон-Сен-Мишеля. Когда подали десерт, Моне спросил, нельзя ли еще раз открыть ящик, чтобы мы могли, как он сказал, пить кофе и курить в обществе Курбе. Наслаждаясь сигарой, он глаз не отводил от картины и на все лады расхваливал ее достоинства. Потом вдруг неожиданно резко сказал: „Ну все, довольно. Упаковывайте назад. Я ее достаточно рассмотрел“.

У меня сложилось впечатление, что он влюбился в эту картину, как влюбляются в женщину — слишком красивую, чтобы рассчитывать на взаимность. И он предпочел ее больше не видеть, пока горе разлуки не захватило его целиком…»

Волнение Моне вполне объяснимо. Стоя на коленях перед картиной мастера, он наверняка вспоминал своего темпераментного друга и тот сумасшедший день 1868 года, когда они без предупреждения заявились к Дюма — и тот бросился обниматься с орнанским мастером… А потом всей троицей отправились обедать в трактир Прекрасной Эрнестины, в местечке Сен-Жуэн, что близ Этрета…

В 1916 году Моне совершит паломничество в Сен-Жуэн. Хозяйка трактира, которую годы успеют превратить в «старушку Эрнестину», примет его с распростертыми объятиями и пустится вместе с ним в сладостные воспоминания. Если верить Моне, она даже покажет ему телеграмму, подписанную Дюма, — ту, в которой писатель просил оставить за ним столик и приготовить к обеду «креветок, да побольше!».

Для собратьев-художников двери дома в Живерни если и не распахивались настежь, то время от времени приоткрывались. Иногда приглашения удостаивался работавший в Анделисе Синьяк, иногда — Андре Барбье или Деконши, живший тогда в Гасни, иногда — Боннар, вместе со своим «фургоном» остановившийся в местечке, расположенном чуть ниже Вернона, которое он именовал «моя деревня»… Анделис, Гасни, Вернон… Обитавшие здесь художники считали друг друга земляками и поддерживали дружеские отношения. Еще один ближайший сосед Моне — Писсарро, чей дом находился в Эраньи-на-Эпте, ушел из жизни в ноябре 1903 года. Ренуар безвылазно сидел в Канне. В октябре 1906 года не стало Сезанна…

Высочайшее позволение прогуляться по японскому мостику было даровано Морису Дени — идейному вдохновителю группы

«набидов»[187], владевшему как кистью художника, так и пером писателя. Порой это перо позволяло себе становиться жестоким. Например, в своем «Дневнике» он записал: «К 1889 году Моне совершил настоящий прорыв; затем он стал писать уже не так хорошо… Он добился успеха и теперь работает в состоянии отчаяния. Живопись превратилась для него в ад. Он постоянно жалуется: „Вот свинство! У меня ничего не получается…“ и прочее в том же духе. Его жене приходится прятать от него полотна Сезанна, потому что, если бы он их увидел, то вообще бросил бы писать!»

Впрочем, на «папу Моне» эти рассуждения мало действовали. Чтобы сбить его с толку, потребовались бы средства посильнее.

— Морис Дени? — улыбался он. — Талант, но хитрец, каких поискать…

Еще одним «хитрецом», часто гостившим в Живерни, был Жорж Клемансо. Осенью 1906 года он сформировал собственный кабинет министров. «Какая неслыханная удача!» — потирал руки Моне. И немедленно начал бомбардировать Жоржа напоминаниями о том, что «Олимпия» Мане — их общего друга Мане! — до сих пор болтается в Люксембургском музее, этой «передней» Лувра, и не пора ли переместить ее в более подобающее место. Ведь его собственные девять картин, завещанные государству коллекционером Этьеном Моро-Нелатоном, при жизни автора украсили собой стены Лувра. Будь жив Мане, он бы этого не перенес!

Президент совета умел действовать эффективно. В феврале 1907 года состоялось торжественное переселение «Олимпии» в государственный зал музея.

Моне весь 1907 год посвятил своим нимфеям. С первыми лучами солнца он устанавливал мольберт на берегу пруда и, не теряя ни минуты, принимался за работу. Нимфея — капризное создание. Она не любит ни дождя, ни ветра, а к пяти часам вечера, стоит летнему солнцу чуть склониться к горизонту, решительно складывает лепестки, полагая, что и так достаточно долго позволяла собой любоваться.

— Можете пообещать мне, что в этом году устроим большую выставку нимфей? — спросил Моне Поль Дюран-Рюэль из лучших побуждений.

И наткнулся на жесткий отпор.

— Нет, и еще раз нет! Ничего я вам не обещаю! Все, что я сейчас делаю, не выходит за рамки посредственности! Я двигаюсь на ощупь, ищу и не нахожу… А погода! Это ужас, а не погода! И двух солнечных дней не дождешься…

В начале 1908 года — новые неприятности. Дюран-Рюэль

попросил художника взглянуть на две его картины, приобретенные одним немецким клиентом.

«Это жуткая мазня, а не мои картины! — отвечал тот. — И, уверяю вас, если бы не ваша слезная мольба не стирать с них подпись и вернуть вам в том же виде, в каком я их получил, я бы их просто разодрал в клочки! И никто не посмел бы меня за это осуждать! Авторов фальшивок надо наказывать!»[188]

Итак, на рынке уже появились подделки под Моне. Если бы художник мог их все изорвать «в клочки»!

Действительно, эта операция — шла ли речь о подделке или о собственной неудачной работе — приносила ему заметное облегчение. Художественный обозреватель газеты «Курье де ля смен» Луи Воксель приводит в этой связи такой замечательный анекдот: «Недавно некий торговец произведениями искусства нанес старому художнику визит в его знаменитом доме в Живерни. Он привез показать ему одну из его ранних работ — подлинное произведение мастера, с датой и подписью, — созданное в те годы, когда он испытывал на себе влияние Курбе. Как и любое творение новичка, полотно несло на себе явные следы неуверенности и некоторой неуклюжести.

— Это ведь и в самом деле ваша работа, мэтр?

Старый художник внимательно рассмотрел полотно, а потом вдруг с силой ткнул в него кулаком, проделав в холсте дыру:

— Моя! Я в то время еще ничего не умел…

— Но, мэтр… — Торговец старательно изображал отчаяние. — Вы ее порвали! А я довольно дорого за нее заплатил… Конечно, не ради самой картины, а ради вашей подписи… Но теперь я в убытке… Смею ли я надеяться, что вы замените мне ее на другую?

— Выбирайте! — И широким жестом, не лишенным толики презрения, Моне указал торговцу на стену мастерской, увешанную картинами.

Тот не заставил себя просить дважды. И, заполучив холст, поспешил откланяться, рассыпаясь в изъявлениях благодарности.

При этой сцене присутствовал один из друзей Моне.

— Он вас просто надул, этот торговец, — сказал он художнику. — Он же и явился сюда только в расчете на то, что спровоцирует вас на подарок!

— А вы думаете, я об этом не догадался? — ответил великий художник. — Только какое это имеет значение? Главное, изъять из обращения работы, представляющие меня в дурном свете! Если б я был достаточно богат, я бы выкупил и уничтожил все картины вроде этой»[189].

Моне прекрасно, сознавал, что его творчеству суждена долгая

жизнь, отмечает Марта де Фель[190]. Она же приводит свидетельство одного из посетителей дома в Живерни, который, зайдя в сад, увидел поднимавшиеся к небу густые клубы дыма.

— Что это, неужели пожар? — спросил он Моне.

— Да, пожар. Великий пожар! — ответил художник.

Подойдя поближе, посетитель заметил костер, в котором догорали обрывки холстов.

— Что же вы хотите, — продолжал Моне, — ведь пример мне подал еще Мане. Судите сами. После его смерти антиквары прямо-таки набросились на его картины, хватали все подряд, вплоть до черновых набросков. Этого-то я и боюсь и потому предпочитаю своими руками уничтожить все, что мне не нравится. Тогда и жалеть будет не о чем…

Именно на «период нимфей» пришлись самые яростные приступы гнева Моне. Сколько картин погибло под ударами его кулака, сколько было безжалостно изрезано ножом! Отдельные фрагменты некоторых из них удалось спасти Бланш и Мишелю. К счастью, удалось. Ибо, что бы там ни думал взыскательный мастер, зачастую они представляют собой подлинные маленькие шедевры. Но даже в тех случаях, когда перед нами всего лишь мелкие детали неудавшейся большой работы — один-два цветка нимфеи, стебель камыша, застывший между небом и водой, — все это суть бесценные свидетельства его гения, его неустанных поисков.

…Из других обрывков холстов детвора розового дома мастерила себе игрушечные лодочки. Подумать только, сколько сокровищ унесла в своих мутных водах Сена!

Глава 28
БОЛЬШОЙ КАНАЛ

В 1908 году некий критик написал:

«Моне — покоритель света!»

Этот парижский журналист, которого звали Эпп, понятия не имел, что в Живерни, прямо напротив дома Моне, на столбе появился «фонарь на 25 свечей, что обошлось в 37 франков»[191].

Итак, в Живерни провели электричество! Одному изобретательному жителю соседней деревни Лимец пришла в голову замечательная идея построить небольшую электростанцию. Получив соответствующее разрешение, он стал продавать свою продукцию обитателям соседних коммун.

Но в жизни Моне электричество не произвело никакого переворота. Никогда не работавший при газовом освещении, он и для электрического света не сделал уступки. И стоило солнцу сдвинуться к западному краю неба, готовясь закатиться за горизонт, как он складывал кисти и краски. Вечный данник дневного светила, он не собирался менять своих привычек.

— Если солнце ушло, что мне-то делать? — говорил он.

В том же 1908 году проявились первые признаки того, что, перефразировав название романа Киплинга, можно охарактеризовать как период «погасшего света»[192]. Моне испытывал сильнейшее беспокойство: неужели у него ухудшается зрение? Впрочем, созерцание нимфей продолжало приносить ему все то же удовольствие. Он смотрел на них все лето, чувствуя себя полновластным владыкой собственного маленького королевства, и старался уловить игру света на изменчивой поверхности водоема, расцвеченной яркими лепестками.

В начале осени, вдоволь налюбовавшись нимфеями, он решил воспользоваться поступившим приглашением и объявил домашним:

— Еду в Венецию!

Алиса согласилась его сопровождать, хотя чувствовала себя не очень хорошо. Он, правда, пообещал, что, во-первых, путешествие будет недолгим, а во-вторых, на обратном пути они непременно сделают крюк и заедут навестить Жермену и Альбера Саллеру в Кань-сюр-мер. Адвокат Альбер Саллеру одновременно занимал пост главного советника департамента Приморских Альп.

— В Венеции я только напишу несколько небольших картин на память о городе, — говорил Моне, поджидая поезда на

перроне в Верноне. Ночь они с Алисой провели в Париже, в отеле «Терминюс-Сен-Лазар», а утром отправились в Город дожей, где в «Палаццо Барбаро» для них был забронирован номер.

На самом деле пребывание в Венеции затянулось до 7 декабря (то есть продлилось больше двух месяцев), а «несколько небольших картин на память» обернулись четырьмя десятками подлинных шедевров!

В середине октября чета Моне покинула готический дворец «Барбаро» и перебралась в большой отель «Британия». Сюда их влекли не только бытовые удобства — центральное отопление и электрическое освещение, к которым они успели привыкнуть в Живерни, — но и открывавшийся из окон номера вид на лагуну и островок Сан-Джорджо. Клод мог работать, не выходя из комнаты, — как в Лондоне, — подальше от зевак.

Большой канал, Дворец дожей, церковь Сан-Джорджо Мажоре, палаццо Дарио, палаццо Мула, палаццо Контарини, Рио делла Салуте… Гондолы, сумерки, красный домишко… Моне ворчал, брюзжал, порой злился, но продолжал писать.

Алиса, оказавшаяся свидетельницей той ежедневной битвы, которую он вел сам с собой, впервые поняла, почему у него так резко менялось порой настроение. Она никогда не сомневалась в его таланте, но теперь у нее словно открылись глаза: да ведь он гений! В письме к верному Жеффруа она писала:

«То, что он пишет, это просто чудо. Эти восхитительные блики, эта перламутровая вода… Только он один способен так передать все это…»[193]

Он и сам чувствовал подъем творческих сил. «Да, — писал он Клемансо, — я в восторге. Здесь чудесно. Пытаюсь писать…»

И делился с Жеффруа: «Какое несчастье, что я не приехал сюда, когда был молодым и дерзким! Но все равно я провел здесь прекрасные минуты, почти забыв о том, что я старик…»[194]

Правда, полного удовлетворения от своих венецианских работ он не получил. Впрочем, разве хоть когда-нибудь он оставался собой доволен? На сей раз он утешался мыслью, что непременно вернется в Венецию на будущий год. Увы, осуществить этот замысел ему так и не удалось…

На обратном пути Клод и Алиса заехали в Бордигеру — ах, какие воспоминания! — а затем свернули в Кань, где Жермена с нетерпением ждала встречи с матерью. И с радостью сообщила, что, кажется, ждет второго ребенка.

— Рожать приеду в Живерни! — пообещала она.

Трудно предположить, что Моне, попав в Кань, не заглянул к своему старому соратнику Огюсту Ренуару, жившему на вилле «Колет» и жестоко страдавшему от ревматизма. Зато очень легко

представить себе, как обнялись давние друзья, как пустились в дорогие воспоминания.

— А помнишь папашу Глейра? А помнишь «Лягушатник»? А помнишь, как мы нищенствовали?

— А помнишь этого консьержа с улицы Эфрюсси? Как он глаз отвести не мог от картины, которую я тащил под мышкой? Ну и обрадовался же я тогда! Наконец-то хоть кто-то оценил мою живопись! Что, спрашиваю, нравится вам эта картина? Да нет, говорит, я на раму смотрю, больно уж рама хороша…

Но вот путешественники снова на берегах Эпты. Они вернулись в Живерни. Алиса распахнула было зеленые ставни своей спальни, но тут же их закрыла. И поскорее улеглась в постель. Ее знобило, у нее поднялась температура. Проболела она весь январь 1909 года.

Алиса сдала. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать хотя бы один из многочисленных фотоальбомов, посвященных Моне[195]. На снимке, запечатлевшем чету Моне на пьяцца Сан-Марко, в окружении голубей — один из них, самый смелый и, наверное, самый голодный, уселся на шляпу Клода! — мы видим бывшую владелицу замка Роттенбург сильно похудевшей и постаревшей. Моне одет в легкий твидовый костюм, а вот на Алисе длинное пальто с меховым воротником. Очевидно, она зябла.

Несмотря на болезнь Алисы, Клоду пришлось ее оставить. Он спешил в Париж помочь Дюран-Рюэлю в организации его первой крупной выставки, получившей название «Нимфеи, серии водных пейзажей». Виды Венеции, завершенные в мастерской, он уступит Бернхайму.

Вернисаж состоялся 6 мая.

В тот день на улице Лафит, в доме номер 16, происходило настоящее столпотворение. «Весь цвет Парижа», расталкивая друг друга локтями, пришел посмотреть 48 вариаций на тему водных лилий пруда в Живерни. Все были в восторге. А ехидный старикан Жюль Ренар[196] записал в своем личном «Дневнике» (который был опубликован в 1935 году, спустя 25 лет после смерти писателя): «Слишком красиво! В природе так не бывает. Между нашим искусством и искусством природы — пропасть…»

Справедливости ради отметим, что между автором «Рыжика» и мастером из Живерни так и не вспыхнула искра взаимопонимания. Несколькими годами раньше, увидев цикл «Стога», Ренар весьма насмешливо отозвался об этих «кучах сена, отбрасывающих синие тени, и пестро раскрашенных полях, больше всего похожих на клетчатый носовой платок…»

Жесткость своих суждений Жюль Ренар оправдывал тем, что,

по его собственному признанию, он был «лишен чувства вкуса, зато в полной мере обладал чувством безвкусицы!».

Но, если не считать Ренара, все критики, составляя отчет о выставке, макали перо не в чернила, а в фимиам. И оплакивали судьбу картин, которым предстояло рассеяться по частным собраниям. «Ах, если бы Моне мог осуществить свою мечту и получить в свое распоряжение целый зал для постоянной экспозиции всей серии „Нимфей“! — сокрушался хроникер „Газет де Боз Ар“ Роже Маркс. — Именно вся серия создает целостное впечатление умиротворенности и созерцательного покоя, столь далекого от суеты материального мира!»

«Благодаря Моне, — вторил ему Ф. Робер Кемп в номере „Орор“ от 11 мая 1909 года, — мы видим не реальный мир, но его подобие». Одним словом, пруд Моне — примерно то же самое, что знаменитая платоновская пещера…

Впрочем, сам художник, постепенно старившийся в Живерни, как всегда, был недоволен собой. Доказательством тому может служить его коротенькая записка, адресованная Жеффруа[197]: «Нынешний 1909 год выдался для меня совершенно ужасным. Вы поверите мне, если узнаете, что после возвращения из Венеции, то есть на протяжении целого года, я ничегошеньки не сделал, вообще не прикасался к кистям. Сначала хлопоты из-за выставки „Нимфей“, потом отвратительная погода все лето, наконец, нелады со здоровьем. Грустный итог, как видите. Радоваться нечему…»

Жалуясь на плохую погоду, Моне слегка преувеличивал, ибо лето в Нормандии выдалось замечательным. Здоровье Алисы немного улучшилось, и он даже предложил ей вместе отправиться в Котантен — Шербур, скалы Жобура, мыс Аг, Гревиль — родина Милле, дюны Картере, знаменитая колбаса из субпродуктов в Вире, Арас-дю-Пен… Супруги провели пару недель в настоящей идиллии. 21 июля они вернулись в Живерни, но удовольствие от поездки ощущалось так живо, что неделю спустя Моне снова предложил:

— Вернемся туда! Поедем в Ландемер! Это рядом с деревней, где жил Милле, и в двух шагах от Рош-дю-Кастель-Вандона!

Пейзажи в местности между городами Юрвиль-Наквиль и Омонвиль-ла-Рог, где чета Моне провела примерно десять дней, и в самом деле оказались захватывающе красивыми. Поразительно, но Клод за все это время не сделал ни одного, даже маленького наброска. А бездействие, как мы знаем, всегда заставляло его испытывать беспокойство. Тревожилась и Алиса. «Погода прекрасная, — писала она Жан Пьеру, — но, к сожалению, ему не работается…»

Приход осени в Живерни знаменовал наступление ненастья. Пасмурно было и на душе Моне. Весь октябрь шли дожди, прибивая к земле цветы в саду. В доме тоже царило уныние. Алиса все чаще по целым дням не вставала с постели. Устала, объясняла она. Тем не менее ей пришлось собраться с силами, чтобы позаботиться о приехавшей Жермене, которая вскоре родила вторую дочь Нисию. Из Сен-Сервана время от времени приезжал Жак, как всегда, без гроша и в долгах. Он просил «взаймы» крупные суммы денег, на возвращение которых никто уже и не надеялся. С дядей Леоном, на химическом заводе которого он работал в Маромме, отношения у него так и не сложились.

Дожди лили без перерыва весь январь и февраль 1910 года. А потом случилось наводнение! Это было настоящее бедствие. В Париже вода доходила до вокзала Сен-Лазар. Поезда в Живерни больше не ходили. В саду прорвало дамбу, и грязная вода затопила все вокруг. От пруда, разумеется, не осталось и следа. О нем напоминала лишь выступавшая наружу горбатая верхушка японского мостика… Дому, правда, ничто не угрожало, а вот большая часть цветников оказалась под слившимися водами Эпты и Сены. Стихия бесновалась.

Бесновался и Моне, беспомощно глядя на царившее вокруг разорение.

— Все мои цветы затопит тиной! — горестно восклицал он. — Это катастрофа!

Все, все придется делать заново. О ужас, о отчаяние!

«Возьмите себя в руки, — пытался образумить его Мирбо. — Думайте о том, что вы пострадали меньше других. Ваш прекрасный сад, радость вашей жизни, вовсе не погиб. Вода спадет, и вы убедитесь, что разрушений в нем гораздо меньше, чем вы предполагали. Крепитесь, старина Моне!»[198]

Ремонтные работы начались лишь в конце марта, когда вода наконец ушла… Разумеется, они потребовали крупных расходов. Но не стоит уж очень сильно переживать за Моне — его личный счет в вернонском отделении «Сосьете женераль» мог осчастливить любого банкира. В 1912 году хранившаяся там сумма превышала 176 тысяч франков![199]

— Он не относился к числу легких клиентов, — вспоминал Марсель Ронсерель, работавший тогда в отделении банка[200]. — Например, он терпеть не мог ждать. Чуть что, сразу начинал стучать об пол своей тростью, а то и размахивать ею. Стоило ему появиться у нас, все знали: сейчас произойдет что-нибудь необычное. Как-то раз, это было в 1921 году, он принес нам чек на девятьсот тысяч франков[201], подписанный сестрой японского

императора!

— Да, я стал слишком много зарабатывать, — признался он однажды журналисту Андре Арнивельду.

Арнивельд поведал об этом в своей небольшой статье, опубликованной в газете «Энформасьон» 23 октября 1921 года и озаглавленной «Стыдливость Клода Моне».

«Человек, от которого я услышал эти слова, — говорилось в ней, — большой оригинал! Клод Моне — художник, мало того — один из самых знаменитых и величайший из живущих ныне художников, и этим все сказано. Я вспомнил это его восклицание, прочитав на днях о том, что певец Темзы и Руанского собора передал в дар государству дюжину своих картин из восхитительной серии „Нимфеи“. Некоторое время назад мне выпала счастливая возможность провести целый день в Живерни, в доме живописца и в его обществе. Клод Моне рассказывал мне о суровых временах, которые ему пришлось пережить в начале своей карьеры, и именно тогда-то у него и вырвалась фраза, что, дескать, теперь он зарабатывает слишком много.

Он дал мне полистать небольшую пожелтевшую брошюру, которую разыскал на столе у себя в мастерской. На ней стояла дата — 1877 год, время беспощадных гонений на „банду“ импрессионистов, в которую наряду с Клодом Моне входили Ренуар, Сислей, Писсарро… Брошюра представляла собой каталог выставки-продажи произведений указанных художников, состоявшейся в торговом зале.

— Это был незабываемый день! — говорил мне Клод Моне. — Для поддержания порядка в зал нагнали полицейских! Посетители специально договаривались здесь встретиться, чтобы от души посмеяться. И они смеялись! Они передавали друг другу наши картины, нарочно держа их вверх ногами, словно говоря: какой стороной ни поворачивай, все равно ничего не поймешь!

Пока я просматривал брошюру, художник карандашом проставил рядом с названием каждой картины цену, за которую та была продана:

Ренуар (Огюст),№ 19, „Голова девушки“ — 50 фр.;

Сислей, № 38, „Сена, Сен-Клу“, 141 фр.

И так далее.

Возвращая на место каталог, Моне грустно улыбнулся.

— Поверите ли, — сказал он, — но я жалею о тех временах, когда любой человек, с трудом наскребший сотню франков, мог прийти к художнику, купить у него картину и уйти домой вместе с ней, дрожа от счастья. Сегодня нам предлагают по пятьдесят тысяч франков, но больше никто не разбирается в искусстве. Великим двигателем людей стал снобизм. Они говорят, что любят

живопись… Только я им не верю…

Он немного помолчал, а потом заговорил снова:

— Я вынужден следовать за общим течением, но меня все чаще и чаще охватывает стыд за то, что я принимаю огромные суммы за работу, которая сама по себе приносит мне радость[202], а потом мои картины уходят неизвестно куда…»

Добившись материального достатка, Моне мог позволить себе быть щедрым. Мы помним, как в не таком уж далеком прошлом Буден понапрасну умолял его подарить ему на память хоть какую-нибудь картину! Теперь же, стоило постоянному секретарю Академии изящных искусств обратиться к нему с просьбой оказать помощь пострадавшим от наводнения, как Моне, не моргнув глазом, безвозмездно передает для благотворительной лотереи, состоявшейся в галерее Жоржа Пети 5 мая 1911 года, свою «Темзу». Да, времена, когда одно упоминание об академии заставляло его издевательски смеяться, безвозвратно миновали.

Впрочем, до согласия принять кресло академика, предложенное ему в 1921 году, дело все-таки не дошло. Чтобы он, Моне, заседал на набережной Конти в компании с ненавистным папашей Бонна! Этого еще не хватало! «Старый мэтр остается в Живерни, ибо зеленому фраку он предпочитает зелень листвы», — прокомментировала его отказ газета «Фигаро».

Идея об избрании Клода Моне академиком возникла после кончины одного из членов академии — Оливье Меерсона. Кому первому пришла в голову эта идея, неизвестно, но она встретила бурное одобрение. Вот что рассказал об этом анонимный автор статьи в газете «Опиньон»[203]:

«— Моне, Моне, Моне!

Как же это получилось, с удивлением говорили все, что никто раньше не подумал об этой кандидатуре, хотя художнику уже исполнилось 80 лет! Ведь это не просто талант, это гений!

— Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки Пювиса де Шаванна… Кто едет в Живерни?

В ответ взметнулся целый лес рук. Вся академия выразила готовность сию минуту прыгнуть в поезд. Многие предлагали собственные автомобили. Наконец, остановились на трех полномочных представителях.

Уже на следующий день они прибыли в Живерни. Старик-мэтр принял их без всяких церемоний. Но, услышав о цели их приезда, стал… хохотать. Слишком многое вспомнилось ему в эту минуту. Взять хотя бы Родена. Академикам понадобилось немало времени, чтобы вспомнить о существовании скульптора. И они его таки уговорили! И что же? Накануне голосования он возьми да и умри! А история с Клодом Дебюсси? Сколько презрения

выпало на его долю, пока академики не сочли его достойным вступить в их ряды! Но и Дебюсси умер накануне избрания! Ну уж нет! Что-то слишком часто запоздалое раскаяние приходит в компании с нежелательной гостьей! Так что не обессудьте! Как говорится, расстанемся друзьями, но шелковую ленту приберегите для кого-нибудь другого…»

Глава 29
ПЫТКА

Поставленный врачами диагноз не оставлял места сомнениям: у Алисы лейкемия костного мозга.

«Это очень редкое заболевание, — писал Моне Жеффруа. — Благодаря лучевой терапии можно поддерживать в больном жизнь, но излечить его нельзя»[204].

На самом деле в 1910 году, когда медицина только начинала использовать недавно открытые рентгеновские лучи, избежать рокового исхода практически никому не удавалось. Больной постепенно слабел, его лицо приобретало нездоровую бледность, лимфатические узлы увеличивались. Год или два мучительных страданий, и наступала смерть от остановки сердца или кровоизлияния в мозг.

В марте состояние Алисы характеризовалось как крайний упадок сил. В июне наступило небольшое улучшение. Она даже смогла, держась за руку Клода, пройтись по аллее сада, в общем не так уж и пострадавшего от зимнего стихийного бедствия.

«Она подолгу лежит, глядя в окно, — продолжал Клод, — но я боюсь ухудшения».

В эти грустные дни он заставлял себя хоть немного работать: например, отделывал виды Венеции, обещанные Бернхайму; добавлял пару-тройку мазков к изображениям нимфей. У него появилась привычка дописывать «поля» своих картин в мастерской.

14 ноября он отмечал свое семидесятилетие. Вряд ли праздник выдался веселым. К прежним огорчениям добавились новые. У него уже сильно болели глаза. От Жана пришли дурные вести. Он тоже заболел, а главное, дядюшка Леон — владелец химического завода в Маромме — указал ему на дверь. Теперь Жан носился с идеей открыть собственное рыболовное дело в Бомон-ле-Роже, близ Берне, в департаменте Эра. Бланш тяжело все это переживала. Жак, живший в Сен-Серване, влез в такие долги, что расплатиться с ними не хватило бы и двух жизней… Одним словом, поговорка про беду, которая не приходит одна, подтвердилась.

19 мая 1911 года скончалась Алиса. Ее агония была долгой и мучительной. Она, 31 год назад настоявшая на том, чтобы в Ветее соборовали умиравшую Камиллу, сама так и не приняла священного помазания.

По мнению Даниеля Вильденштейна, Клод не позвал к

постели умирающей жены священника потому, что боялся ее расстроить. Эта версия выглядит правдоподобной. Пусть сам он не верил ни в Бога ни в черта — он верил только в солнце! — но он не мог не знать, как серьезно относилась к религии Алиса, черпавшая в вере источник душевного покоя, и относился к ее убеждениям с пониманием.

Изучая извещение о предстоящих похоронах, мы обнаруживаем, что Клод, по всей видимости, из уважения к понятиям буржуа о приличиях, принятым в том кругу, из которого вышла Алиса, не пригласил на церемонию никого из своих родственников, разумеется, кроме собственных сыновей. Список гостей, отпечатанный в типографии Виктора Пети в Верноне, включает имена Ренго, Батлеров, Саллеру, Паньи, Бинонов, Ренго-Пелузов, Морелей, Бердула, Рембо, Лемуанов, Виаллатов и Реми (из семьи того самого, убитого!). И — ни одного Моне! *De profundis*[205]…

«Отъезд из Парижа (вокзал Сен-Лазар) в 8.29. Прибытие в Вернон в 9.41. Экипажи будут ждать на станции», — говорилось в извещении. 21 мая 1911 года усыпальница в Живерни открылась, чтобы принять прах Алисы. Здесь ее ждали: Сюзанна — 12 лет, Эрнест — 20!

Когда Клод впервые встретил Алису в Монжероне, ей было 32 года. С тех пор прошло 35 лет, на протяжении которых они — любовники, сожители, супруги — почти не расставались. Она была требовательной, властной, сварливой, порой упрямой, — но он любил ее. Эта властная, решительная, сильная женщина дала ему то, чего не могла дать хрупкая Камилла, — чувство защищенности. Вероятно, Моне, как все люди творческого склада, нуждался именно в такой спутнице, способной испытывать к нему любовь сродни материнской. Ничего удивительного, ведь сам он лишился матери еще подростком, в очень трудном и ранимом возрасте. Впрочем, любой психолог не задумываясь скажет нам — и будет совершенно прав! — что тема матери занимает в творчестве Моне центральное место. Ведь мать это вода, а вода это и есть Моне.

И вот Алиса умерла. Для него это была катастрофа. Глядя на него в эти дни, многие думали, что с живописью он покончил навсегда.

«Ерунда! — успокаивал Жан Пьера Ошеде Жеффруа. — Не бойтесь за него. Он снова возьмется за кисти и краски, потому что он еще не выразил всего себя!»

«Мужайтесь! — написал художнику Клемансо. — Это жестокое испытание, но я знаю, что вы сумеете его выдержать».

В 1908 году друзья стали соседями. Президент совета купил в

Бернувиле, километрах в двадцати от розового дома, небольшой замок буржуазной постройки. По выходным он покидал улицу Франклина и, закутавшись в плед, усаживался в свой старый тяжелый лимузин, который водил шофер Эдмон. Через два часа пути, миновав Понтуаз, он прибывал в нормандскую область Вексен. Довольно большой участок дороги, ведущей к Жирону, был замощен по-старинному, булыжником. Автомобиль на нем нещадно трясло. Очень скоро Клемансо подписал этой старине смертный приговор. По его приказу дорогу заасфальтировали.

Замок Бернувиль был окружен деревьями. Здесь росли тополя, каштаны, буки, кедры, сосны, яблони… Старые и молодые, посаженные новым хозяином. И повсюду, куда ни кинь взгляд, густые заросли самшита. Клемансо любил деревья, правда, на одно из них его любовь не распространилась. Это было огромное дерево. Загораживая своими ветвями окно в его кабинете на улице Франклина, оно мешало ему работать. Он потребовал, чтобы его срубили. Трудность заключалась в том, что дерево росло на земле его соседа — священника.

— Уберите его! — приказал Клемансо.

И священник повиновался.

Растроганный президент написал ему такое письмо: «Здравствуйте, отец! Я с полным правом могу называть вас отцом, ибо благодаря вам наконец увидел свет…»

Ответа он не ждал. Но вскоре получил его и, пораженный, прочитал: «Здравствуйте, сын мой! Я с полным правом могу называть вас сыном, ибо благодаря мне вам наконец открылись небеса…»

Приезжая в Бернувиль, Клемансо первым делом звал к себе папашу Руссо, служившего у него фермером, и вместе с ним обходил свои владения. Однажды, заметив на стволе великолепной яблони толстые наросты желтоватого мха, он остановился и сильно стукнул по нему тростью.

— Руссо! Что это с яблоней?

— А что с ней?

— Да она же болеет! Ее надо лечить!

Руссо хмыкнул и пожал плечами.

— Да ничего она не болеет…

— Как это не болеет? А этот мох?

— Она не болеет, сударь. Она уже умерла.

Вскоре он снова остановился:

— Проклятие! Мой ликвидамбар! Он же совсем больной!

— Вот уж точно, сударь! До весны, знать, не дотянет…

— Значит, здесь не та почва! Его надо срочно пересадить!

— Пересадить такую громадину? Не-е… Не выйдет. Загнется

он, вот увидите, загнется.

— Мы сами скорее загнемся! Пересадите его, Руссо, и никаких разговоров. Это приказ.

По земле Клемансо протекал небольшой канал, питаемый речкой Бондой. Водяных лилий здесь, правда, не водилось, зато водилась форель, плавали утки и лебеди. Вообще Бернувиль представлял собой настоящее царство домашних животных: белые гуси, черные индюки, голуби, куры-«голошеи» трансильванской породы, три или четыре собаки, шесть — восемь коров, свиньи. И осел по имени Алиборон.

На неделе, в Париже, после распекания какого-нибудь особенно бестолкового политика, он, вздыхая, частенько говорил главе своего кабинета:

— Ах, старина Винтер! Еще каких-нибудь пара дней, и я увижусь со своим ослом!

«По большей части, — рассказывает Жан Марте[206], один из его сотрудников, — возвращаясь в Париж, мы ехали через Живерни, где жил Моне…»

Похоронив Алису, художник закрыл зеленые ставни своего дома. Он никого не хотел видеть. С ним оставался только Мишель. Молчаливый по натуре, он своим присутствием все же скрашивал отцу тоскливое одиночество.

«Моне всегда восхищался своим сыном, — вспоминает Анри Добервиль[207], — хотя они почти не разговаривали. „Здравствуй, Моне“, — говорил сыну Клод и слышал в ответ: „Здравствуй, Моне“. На этом беседа заканчивалась, чтобы возобновиться накануне расставания. „До свиданья, Моне. — До свиданья, Моне“. Мои родители, став свидетелями одной из подобных сцен, решили, что они обижены друг на друга или просто в ссоре, и потребовали у Бланш объяснений.

— Да они обожают друг друга, — отвечала она. — Клод очень рад, что сын сейчас с ним. Просто они не испытывают надобности в пустой болтовне. Они оба терпеть не могут изрекать банальности».

Итак, Моне остался один. Все валилось у него из рук. Он сжег письма Алисы. Больные его глаза не высыхали от слез. Да, больные глаза. В 1912 году врачи уже поставили ему диагноз: двойная катаракта. Особенно сильно она затронула правый глаз.

«Может, это так и есть, — пытался успокоить его Клемансо, припомнивший к случаю, что он все-таки врач, — но это не значит, что вам угрожает потеря зрения. Скоро катаракта на больном глазу созреет и ее можно будет удалить!»

С братом Леоном художник окончательно рассорился.

Причина была в Жане. Химик Леон знал, что Жан болен, и подозревал, что его болезнь заразна. Поэтому Жану пришлось уйти с завода в Маромме. По правде говоря, его не просто уволили — его грубо выгнали. Это случилось в 1911 году, сразу после того, как от «дурной болезни» умерла пятнадцатилетняя Адриенна, дочь Леона от второго брака. По городку поползли слухи, что заразил ее кузен…

Жан и Бланш переехали в Бомон-ле-Роже, департамент Эра, и решили заняться разведением форели. Очень скоро выяснилось, что Жан, ослабленный болезнью, не в состоянии управлять предприятием. Они снова снялись с места, чтобы найти приют в Живерни, на вилле «Зяблики», купленной для них «папой Моне».

У французов есть поговорка — веселый, как зяблик. К Жану она не имела никакого отношения. Он понимал, что неизлечимо болен. Мало кто из соседей и деревенских знакомых сомневался в природе этой болезни. Кое-кто из них поделился с нами своими догадками: речь шла о последствиях любовных авантюр. По слухам, он подхватил эту гадость в Швейцарии, куда ездил по поручению и за счет своего дядюшки и патрона, руководившего лабораториями швейцарской фирмы «Жежи».

Бедняжка Бланш!

И бедняга Моне! В январе 1914 года ему пришлось наблюдать за медленным угасанием своего старшего сына. Он писал Шарлотте Лизес, первой жене Саш***а*** Гитри: «Что за пытка смотреть, как он постепенно тает у меня на глазах! Как мне тяжело…»[208]

9 января 1914 года, в девять часов вечера, Жан испустил последний вздох. «На меня свалилось новое несчастье, — пишет Моне. — Утешает меня только одно: бедный страдалец отмучился»[209].

Бланш — его падчерица и невестка — овдовела. Овдовел и он. В «Зябликах» стало тихо и грустно. Но и розовый дом в Живерни, лишенный присутствия женщины, как будто полинял и принял угрюмый вид. Почему бы Бланш не поселиться вместе с ним? Может быть, вдвоем им будет не так тоскливо? Бланш согласилась.

На самом деле она только об этом и мечтала. Она обожала своего «папу Моне», на глазах которого выросла и которому так часто и охотно помогала, толкая вперед тележку с наваленными на нее холстами и мольбертами, раскрывая над его головой огромный зонт, спасающий его от жгучих лучей солнца, наконец, пробуя собственные силы в живописи — писала она немного, но очень хорошо! И только ей одной Моне соглашался давать советы!

«С той поры она его больше не покидала, — рассказывает Жан Пьер Ошеде[210], — и стала, по выражению Клемансо, „голубым ангелом Клода Моне“. Она управляла домом, она жила только ради него, сопровождала его на прогулках по саду, ходила с ним на пруд… Да, моя сестра настолько прочно вошла в жизнь Моне, что в тех редких случаях, когда Моне принимал приглашение отправиться к кому-нибудь из друзей в гости, Бланш тоже обязательно получала приглашение. Она была с ним всегда и всюду, и никто уже не мог представить себе Моне без Бланш».

Профессор истории Роббер Лоранс — собиратель книг, автографов и гравюр, человек огромной эрудиции[211] — хорошо знал Жан Пьера Ошеде. Именно он рассказал нам, что однажды слышал от Жан Пьера такое признание: «Клод и Бланш жили как муж и жена!»

А почему бы и нет? Овдовев, оба потеряли необходимость отчитываться перед кем бы то ни было. И если Бланш, приближавшаяся к пятидесятилетнему рубежу, подарила крепкому и полному сил семидесятилетнему Клоду еще несколько лет счастья, — что ж, тем лучше для них обоих. Возможно, именно Бланш помогла ему обрести ту безмятежность духа, благодаря которой он задумал «Декорации» — произведение, ставшее апогеем его творчества.

Весной 1914 года тот же журналист «Голуа», который 12 февраля сообщил публике о похоронах «г-на Жана Моне, имеющих быть в самом тесном семейном кругу», объявил последнюю новость: государство получает в дар богатейшее наследство. Речь шла о великолепной коллекции картин, которой, по условиям завещания, предстояло разместиться в Лувре, в залах, получивших имя дарителя — графа Исаака де Камондо.

«Само собой разумеется, — писала „Голуа“, — что государство примет этот дар. Впрочем, здесь возникает одна трудность. В числе завешанных картин есть несколько, принадлежащих кисти ныне живущих художников, таких, как Ренуар или Моне. Между тем, согласно строгому правилу, в Лувре могут выставляться лишь работы уже умерших мастеров. Правда, есть одно средство — принять полотна Ренуара и Клода Моне, так сказать, на временное хранение и обязать того и другого как можно скорее отправиться на тот свет!»

Действительно, государство согласилось, в чем, впрочем, никто не сомневался, принять в дар коллекцию, в которой, если верить печатавшемуся в «Журналь» Габриэлю Мурэ, «не было ни одной посредственной или малозначительной работы, но сколько обнаружилось изысканных, бесценных вещей!». Торжественное

открытие выставки состоялось 4 июня. Из-за правительственного кризиса — двумя днями раньше ушел в отставку кабинет Думерга — президент Пуанкаре присутствовать на открытии не смог. Зато смог репортер «Пари миди» Табаран, оставивший об этом событии такой занятный рассказ:

«Разговоры об этом открытии еще долго будут занимать ценителей искусства, поскольку коллекция Камондо поступает в Лувр в исключительных обстоятельствах, кое-кем даже называемых революционными. Она заставляет почтить вниманием ныне живущих мастеров, мало того, именно тех из ныне живущих мастеров, чье творчество идет вразрез с наиболее уважаемыми традициями нашей художественной школы; мастеров, которых официальное искусство долгое время считало больными и бесноватыми и которых еще и сегодня, когда они достаточно прославились, чтобы с пренебрежением отмахнуться от его презрения, оно продолжает преследовать своей ненавистью. „Олимпии“ Мане едва удалось пробиться сквозь двери нашего национального музея, и то лишь благодаря Клемансо. Но теперь-то ситуация совсем иная! На сей раз перед нами целое собрание Мане, и с каким почетным эскортом! Несколько Сезаннов, один Тулуз-Лотрек и один Ван Гог, полотна Сислея и Писсарро, а за ними — еще Дега, Моне, Ренуар… Ну разве не катастрофа? Ну не времена апокалипсиса? Так и слышу ваш возмущенный вой, о мэтры Института! О Бонна, о Дюран-Каролюс, о Кормон, чьи творения не смогли заинтересовать г-на де Камондо и уже никогда не заинтересуют собирателей современной живописи! И, подумать только, сам г-н Пуанкаре намерен лично присутствовать при этом кощунственном осквернении Лувра! Ах, что бы сказал Жером, восстань он из могилы, он, именовавший всех этих „грязных импрессионистов“ не иначе как коммунарами и поджигателями!

И верно, поджигатели! Мало им показалось устроить пожар в Тюильри, теперь они замахнулись и на павильон Моллиена! И ведь дошло до того, что для публики, восхищенной этой подрывной живописью, устанавливают комфортабельный лифт! Ну как покрову храма не разорваться?»

Итак, отныне в Лувре хранилось 14 полотен Моне, представлявших всю богатейшую гамму его таланта, — от «Заснеженных повозок» 1865 года до «Нимфей» 1900-го, с «Водоемом в Аржантее» и серией видов Руанского собора.

«Одной из жемчужин коллекции Камондо является знаменитое полотно Сезанна „Дом повешенного“, — писал обозреватель газеты „Жиль Блаз“. — Эта картина и в самом деле поражает величавой строгостью и лаконизмом, а редкие гости,

бывавшие в особняке Камондо на Елисейских Полях, вспоминают в связи с ней такую забавную историю. Граф гордился своим Сезанном и охотно демонстрировал его близким. Кроме того, он давал им прочитать письмо, полученное им от Моне в те дни, когда он вел переговоры о приобретении картины. Это письмо хранилось в кожаном кармашке, прикрепленном к обратной стороне холста, и все целиком состояло из восторженных слов автора в адрес Сезанна.

Моне не кривил душой. Еще и сегодня в его спальне в Живерни можно видеть „Негра“ в синих штанах, которого выдающийся уроженец Экса сумел написать с торжествующей силой и непререкаемым величием. Разве это, в дополнение к письму, не доказывает, что Моне испытывал искреннее восхищение Сезанном?»

Клемансо, в свою очередь восхищавшийся Моне, с такой же силой ненавидел Пуанкаре. «Он все знает, но ничего не понимает», — говорил он о нем. И сравнивал его с Аристидом Брианом, который, по его словам, «ничего не знал, но все понимал».

Клемансо во всеуслышание объявил о своем восхищении, опубликовав в 1928 году книгу под названием «Клод Моне. Нимфеи».

«Мне бы хотелось правдиво рассказать о том, что я видел, что чувствовал, что любил. Мне бы хотелось рассказать о Клоде Моне — человеке, целиком преданном самым высоким побуждениям, человеке, который осмелился взглянуть в лицо вселенским проблемам; рассказать о Клоде Моне — тонком лирике и человеке действия».

А ведь не будь Клемансо, Моне, может быть, так и не осуществил бы свою идею.

«Да, — продолжает Клемансо, — однажды я пришел к нему в мастерскую на втором этаже его дома. Он показывал мне „Нимфей“ — не очень интересных, но очень „правильных“. Мне они показались прекрасными. „Послушайте, Моне, — сказал я ему, — вам надо раскопать какого-нибудь богатого еврея и вырвать у него заказ на серию нимфей для украшения столовой!“ Мне кажется, из этих слов и родился замысел „Нимфей“, впоследствии выставленных в музее „Оранжери“»[212].

Благодаря этим самым нимфеям, родившимся с подачи Клемансо и при поддержке Бланш, старость художника, едва не обернувшаяся крушением, обрела новый смысл. Грандиозный замысел буквально заставил его возродиться к жизни. Будь поблизости подходящий собор, он не преминул бы использовать его стены для размещения своих полотен — этих огромных панно,

которые, плотно примыкая одно к другому, должны были заполнить собой вогнутые своды так, чтобы у зрителя создалось впечатление, что он находится в центре гигантского яйца.

— Это не что иное, как стремление возвратиться к внутриутробной жизни! — с умным видом изрек психолог, к которому мы обратились за комментарием.

Но оставим психологам их мудрствования и попробуем расспросить каменщиков. Ибо нам известно, что Моне, не откладывая дела в долгий ящик, вызвал к себе Мориса Ланктюи — директора крупной строительной фирмы из Вернона:

— Я хочу, чтобы вы построили мне большую, очень большую мастерскую, в которой я буду работать над большими, очень большими вещами!

Получить разрешение на сооружение мастерской — уже третьей по счету — удалось лишь 5 июля 1915 года. Но Моне и не ждал разрешения. Возводить фундамент под новое строение он начал еще в августе предыдущего года. Его картины висели в Лувре! И никакой на свете супрефект ему не указ!

Первые земляные работы в северо-восточной части имения начались в субботу 1 августа 1914 года. Тогда еще никто не знал, что это была последняя мирная суббота! Последней субботой войны — Первой мировой — станет 10 ноября 1918 года.

«Войну объявили в воскресенье, 2 августа 1914 года, — рассказывает Саш***а*** Гитри[213]. — Я тогда находился у себя в деревне близ Жюмьежа. Новости дошли до меня около полудня. Час спустя я уже мчался в автомобиле в Париж. В Руане люди рвали друг у друга из рук свежие газеты. На выезде из Вернона нас остановили. Оказывается, в Париж на машинах уже не пускали…»

Возможно, Саш***а*** Гитри воспользовался этой задержкой, чтобы перебраться с левого берега реки на правый, где жил Моне, с которым он успел подружиться? Это предположение выглядит вполне вероятным, поскольку нам известно, что они поддерживали хорошие отношения и регулярно встречались. Так, в августе и сентябре 1913 года Клод провел несколько дней в Йенвиле, у «Зоаков», в небольшом имении, приобретенном Саш***а*** и расположенном неподалеку от аббатства Жюмьеж. Здесь он жил со своей первой и горячо любимой женой Шарлоттой Лизес.

Представьте себе, как расхохотался — громоподобно! — Моне, впервые явившись в дом Гитри и обнаружив на стене в передней устав «для гостей», сочиненный остроумным хозяином и включавший десять пунктов.

Пункт первый гласил: «Мы посвящаем этот первый пункт вам, нашему гостю, и говорим вам: „Добро пожаловать!“ Чувствуйте

себя как дома, но не забывайте, что это просто фигура речи».

Пункт второй: «Нужно ли повторять, что комнату для вас мы выбрали по здравом рассуждении, а потому бесполезно настаивать, чтобы вам ее сменили?..»

Пункт шестой: «Ключ от погреба в полном распоряжении гостей. Мы имеем в виду угольный, а не винный погреб…»

Пункт девятый: «Гостей, приезжающих с субботы по понедельник, убедительно просим отбывать не позже среды».

Наконец, последний, десятый пункт гласил: «Увы! Радости жизни преходящи! Когда настанет тяжкий миг расставания, пусть решение ваше будет твердо. Не надо рассеянно листать дорожную карту! Не надо терзать нас намеками на ваш возможный скорый отъезд! Не тяните! Честно скажите: „Я уезжаю!“ — и вы убедитесь, что и мы умеем быть мужественными. Мы сейчас же покажем вам расписание поездов, и, как только вы подберете для себя нужный, прекратим всякие разговоры на эту тему. Мы не хотим, чтобы в нашей памяти остался ваш отъезд — лучше мы будем помнить, что вы у нас гостили».

Привязанность, которую испытывал Моне к Саш***а*** Гитри, дала небольшую трещину после того, как художнику стало известно о его изменах Шарлотте Лизес. Моне очень нравилась Шарлотта. Глаза на истинное положение вещей раскрыл ему случай. Однажды весенним вечером 1918 года, когда весь Париж бурно обсуждал трагедию на железной дороге в Даме, Моне, приехавший в столицу, пришел поужинать в небольшой ресторанчик неподалеку от площади Клиши. Он обежал взглядом зал в поисках столика где-нибудь в уголке и вдруг увидел Саш***а***. Тот сидел в обществе молоденькой девушки, нежно склонившись к ней. Моне удивился, но тем не менее подошел к приятелю, чтобы поздороваться. Саш***а*** нисколько не растерялся — этот человек вообще никогда не терялся! — и как ни в чем не бывало представил ему свою спутницу. Мадемуазель Прентан (ибо это была Ивонна Прентан), сказал он, занята в пьесе, которую они с Шарлоттой сейчас репетируют в театре «Буф Парижьен».

…Моне не попался на удочку столь примитивного обмана, но ему хватило такта сесть за другой стол — подальше от парочки.

В конце концов Саш***а*** расстался с Шарлоттой и 11 апреля 1919 года женился на Ивонне Прентан (он звал ее своей «маленькой Воной»), После этого в его отношениях с Моне что-то разладилось. Как-то раз, когда Гитри приехал навестить его в Живерни, художник встретил его такими словами:

— Ты можешь войти. А она пусть в машине посидит!

Похоже, он начисто забыл, что и в собственной личной жизни далеко не всегда вел себя безупречно…

Глава 30
САША

«Я мечтаю написать книгу, которая будет называться „Образцовая жизнь Клода Моне“[214], — писал Саша Гитри, который не держал на художника зла. — Просто мне представляется, что на всем свете не сыщешь человека столь же совершенного, как он. Вся его жизнь от начала до конца — сплошной пример чистоты. Клод Моне мог бы гордиться собой — никогда, ни в личной жизни[215], ни в искусстве он не совершил ничего такого, что заслуживало бы малейшего упрека.

Я сказал, что он мог бы гордиться собой, но, как вы сами понимаете, это и в голову ему не приходило. Моне никогда ничем не хвастал. Главное его отличие от прочих встречавшихся мне людей заключалось в том, что все они охотно давали мне советы, а Клод Моне показывал пример. Вместе с тем его жизнь казалась необычайно простой. Он смотрел, ел, курил, ходил, пил и слушал. В остальное время он работал.

В целом он всегда делал всего две вещи — работал и жил».

В том, насколько серьезно относился к работе Моне, Саша смог убедиться в тот день, когда художник, приглашенный к ужину, пришел к нему в парижскую квартиру на улице Элизе-Реклю.

«Мы сидели с ним в гостиной. На полу стояли картины — может быть, дюжина, одна к другой, повернутые лицом к стене. У меня вечно стояли так какие-нибудь картины, пока я подыскивал, куда бы их повесить.

Моне спросил меня, что это за картины, и я стал ему их показывать. Там в числе прочего оказалось два Боннара, три Вюийяра, один Руссель и один Писсарро. Каждой из них Моне давал свою оценку:

— Превосходно… А эта еще лучше… А вот эта самая красивая…

Между тем среди этих полотен затесался один небольшого размера холст, написанный ради забавы лично мной. На нем были изображены ветки сливы в японской вазе. Само собой разумеется, картину я не подписал. И вот, ни слова не говоря, я повернул ее лицом и показал Моне.

Он нахмурил брови, склонился к картине поближе и вдруг произнес:

— А это еще что такое?

Я молчал.

— Что это такое, я вас спрашиваю? Нет, что это такое? Что это значит? Объясните мне, что это означает! Это несерьезно? Нет, это несерьезно… Кто это сделал?

Пришлось признаться:

— Я.

Моне стал необычайно серьезен. Голосом, в котором звучала вся суровость мира, он проговорил:

— Саш***а***! Мне очень не понравилось то, что вы только что сделали. Возможно, я вас огорчил. Вы вынудили меня высказать свое мнение о вашей работе, и это очень дурно с вашей стороны. Вы меня разыграли.

Я видел, что Моне искренне расстроен, и постарался оправдаться, говоря, что не придаю своим живописным опытам никакого значения. Но он не дал мне говорить:

— Вы, может быть, и не придаете. Но я никогда не шучу по поводу работы»[216].

Снова послушаем рассказ Саш***а*** Гитри.

«В другой раз мы были у меня, в Жюмьеже, и вместе наслаждались окружающим пейзажем. Тут он заметил, что я прищуриваю глаза, и, не сдержавшись, сказал:

— Если бы вы знали, как меня раздражает эта ваша манера! Смотреть надо так, чтобы ваши глаза пожирали все, что видят!

Верно сказано. В прищуренном взгляде есть что-то нечестное, вроде подмигивания. Тогда как Моне действительно пожирал глазами природу, предметы. Ему постоянно хотелось как можно больше света, любые лампы казались ему слишком слабыми. Однажды я услышал от него такой странный совет:

— Если вы слишком долго смотрите на что-то и хотите, чтобы ваш глаз отметил в увиденном главное, сделайте так. Еще раз пристально вглядитесь в пейзаж, а потом резко наклонитесь и посмотрите у себя между ног.

И этот великолепный семидесятилетний старик, показывая мне пример, с поразительной гибкостью сделал наклон».

«Он ни с кем не виделся, — пишет Саш***а*** в своем „Маленьком красном блокноте“, — и принимал у себя только самых близких друзей. Впрочем, тот, кого он считал своим другом, не мог не быть ему близким…

В его доме я встречал только Клемансо, Октава Мирбо и Гюстава Жеффруа. Его называли медведем. В прошлом он познал нищету, равнодушие публики, презрение… Он сам говорил мне, что к 47 годам не продал ни одной картины дороже, чем за 500 франков! И хотя он вспоминал об этом без всякой горечи, я думаю, что истоки его гордыни следует искать именно в тех

годах.

Теперь, когда он разбогател, ему достаточно было сказать одно слово, чтобы стать еще богаче.

Однажды Клемансо обронил словно мимоходом:

— Слушайте, Моне, я дам вам орден Почетного легиона!

Моне посмотрел на него и спокойно ответил:

— Нет уж, Клемансо, большое спасибо. Мне шестьдесят лет. Слишком поздно. Раньше надо было думать.

Всем своим видом он, казалось, говорил: сами виноваты!

Мой отец Люсьен Гитри называл Моне „Большим крестом“[217] презрения к Почетному легиону!»

В начале декабря 1914 года Клемансо находился в Живерни. Ужасная, чудовищная война бушевала уже три месяца, и моральное состояние Моне оставляло желать много лучшего. Как всегда, в моменты, когда Моне впадал в депрессию, на его пороге появлялся Клемансо. «Мне стыдно заниматься глупыми поисками формы и цвета, когда столько людей вокруг страдает и гибнет!»[218]

— Ну-ну, дружище! — увещевал его друг. — Не стоит так казниться! Вы ведь тоже сражаетесь! Вот и продолжайте свою битву!

Ко всем переживаниям Моне добавлялся еще и страх — страх за Мишеля. Сын художника, унаследовавший от отца нелюбовь к немцам, хоть и не был военнообязанным, ушел на фронт вольноопределяющимся. В 1916 году ему предстояло пережить кошмар Вердена.

Моне волновался и за Жан Пьера. Механик автомастерской в Верноне служил в транспортных войсках.

Тревожился он и за свои полотна. А если враг, активно наступавший в то время, доберется и до Живерни, как это случилось в 1870 году? Тогда, 44 года назад, он предпочел удрать в Англию, потому что ему нечего было защищать, нечем дорожить. На сей раз он не убежит. Он встретит опасность лицом к лицу.

«Решено! — пишет он Жеффруа. — Я остаюсь здесь. Если эти дикари меня убьют, пусть я умру среди своих картин, рядом с делом всей моей жизни!»[219]

Поначалу он планировал переправить картины в Париж, чтобы спрятать их в галерее Дюран-Рюэля. Но торговец наотрез отказался рисковать:

«И думать об этом не смейте! Столице грозит куда большая опасность, чем вашей нормандской деревне!»

В Живерни тем временем прибывали раненые, все больше и больше. Американский скульптор Макманнис предложил

устроить в одной из служб «Монастыря» — его обширного поместья — передвижной лазарет. Заведение подобного рода уже действовало неподалеку, в Вернонне, в имении «Раскаявшиеся грешники». Работал там доктор Эдмон Спаликовский, известный также своими изысканиями в области истории Нормандии. Именно его перу принадлежат несколько статей из цикла «Клод Моне во время войны»[220]. Ухаживать за ранеными во временном лазарете доктору помогал его друг Жан де Лавaранд, впоследствии — владелец замка в Шамблаке и автор путеводителя по Нормандии[221]. К Моне Лавaранд относился довольно прохладно, во всяком случае, если верить его собственным воспоминаниям: «Прежде чем слиться с водами великой реки, Эпта орошает Живерни, где нашла себе приют целая колония художников, привлеченных сюда Клодом Моне — создателем фантастических садов и автором знаменитых „Нимфей“. Возможно, музею „Оранжери“, что в саду Тюильри, понадобилось немало мужества, чтобы решиться украсить свои стены этими грандиозными полотнами, однако следует признать, что тот уголок земли с водоемом, благодаря которому они и появились на свет, устроен с непревзойденным искусством…»

Моне тревожился за всех молодых жителей Живерни, которые подобно Мишелю и Жан Пьеру ушли на фронт. Зайдя как-то раз в мэрию, он оставил здесь небольшой конверт с деньгами, предназначенными для сражающихся солдат. Впоследствии он будет регулярно так поступать, до тех пор, пока не закончится война. Например, 28 февраля 1917 года он внес 285 франков, которые следовало разделить на 19 частей по 15 франков[222] каждая и передать тем 19 солдатам родом из Живерни, которые томились в немецком плену.

К нему без конца обращались представители всевозможных благотворительных организаций — «Жертв войны», «Неимущих художников», «Помощи морякам», «Сирот и вдов», «Помощи семьям военнопленных»… Он не отказывал никому. Его щедрость принимала разные формы: иногда он просто давал просящим деньги, иногда расплачивался «натурой», предоставляя свои пастели для благотворительных распродаж.

В стране шла война, и Моне по-своему участвовал в ней.

После кончины Алисы и Жана дружная прежде семья распалась. Жак, например, просто хлопнул дверью, потребовав своей доли наследства из имущества матери. Испортились отношения с Мартой Батлер и Альбером Саллеру — их попытки продать некоторые подаренные Моне полотна художник воспринял как предательство. Жан Пьер и Мишель были далеко, каждый день рисковали жизнью на фронте…

Как бы то ни было, Моне вновь берется за кисти. Свидетельство об этом нам оставили члены комитета по присуждению Гонкуровской премии, 17 июня 1915 года посетившие художника в Живерни.

«Он продолжил работу над начатой еще до войны масштабной серией, известной под названием „Нимфеи“. Свои впечатления он переносил на холсты высотой около двух метров и шириной от двух до пяти метров. Несколько из них были уже закончены, и он даже задумал построить для них особую мастерскую, поскольку намеревался расширить эту серию», — вспоминал академик Люсьен Декав в номере «Пари магазин» от 25 августа 1920 года.

Его друг Жеффруа, также входивший в комитет по Гонкуровской премии, приехал в Живерни вместе с коллегами — Леоном Энником, Росни-старшим, Полем Маргеритом. Именно он случайно подслушал разговор, состоявшийся у художника с Мирбо, прибывшим к Моне вместе с женой.

— Вы начали грандиозную работу, — говорил Мирбо. — Когда вы думаете ее закончить?

— Лет через пять, я думаю…

Третья мастерская, получившая название «Декорации», была практически готова. Каменщики Мориса Ланктюи не подвели. Но сам Моне, глядя на вознесшееся посреди деревни огромное здание, внезапно ощутил нечто вроде страха перед масштабом собственного замысла.

«В моем возрасте предпринять подобную попытку! Затеять такое строительство! Это безумие, это настоящее безумие! Я уже не говорю о том, в какие сумасшедшие суммы оно мне обошлось. А этот самый Ланктюи построил для меня нечто столь уродливое, что мне стыдно смотреть на это сооружение, мне, всегда нападавшему на тех, кто пытался изуродовать облик Живерни!»[223]

Неужели здание, возведенное Ланктюи, действительно получилось таким уж безобразным? Пожалуй, художник немного сгустил краски. Во всяком случае, главе строительной фирмы, которая, кстати сказать, существует и поныне, специализируясь на реставрации исторических памятников, хватило вкуса использовать в качестве строительного материала молочно-белый камень, добываемый в карьерах близ Вернона, в верхнем течении Сены.

Что касается «сумасшедшей» дороговизны… Здание было действительно огромным: 23 метра в длину и 12 метров в ширину. В кровле, венчавшей здание на высоте 15 метров, были устроены широкие застекленные окна, так что никаких проблем с

освещением не возникало. Правда, довольно скоро выяснилось, что, несмотря на плотные шторы, предохраняющие внутреннее помещение от палящих солнечных лучей, летом работать в мастерской, похожей на парник, было почти невозможно из-за жары. Зато зимой здесь было тепло — «этот самый» Ланктюи оборудовал строение системой центрального отопления.

Так что относительно дороговизны постройки можно спорить. Мастерская «под ключ» обошлась заказчику в 35 677 франков и 51 сантим[224].

Итак, творчеством Моне заинтересовался Гонкуровский комитет. Во время своих визитов в Париж Моне нередко встречался с его членами в ресторане Друана, где «гонкуровцы» любили обедать и вести долгие беседы.

«Моне очень любил читать, — вспоминает Жан Пьер Ошеде[225], — особенно зимой, по вечерам. Он предпочитал читать вслух. Его литературные вкусы отличались большим разнообразием. Среди его любимых авторов были братья Гонкуры (Эдмон и Жюль), Октав Мирбо, Флобер, Гюстав Жеффруа, Золя, Толстой, Жюль Ренар, Ибсен, Клемансо, Метерлинк, Люсьен Декав и многие другие. На моей памяти он читал также „Историю Франции“ Мишле, „Мемуары“ Сен-Симона. Еще он очень любил „Дневник“ Делакруа…

Он охотно высказывал свое мнение по поводу присуждения литературной премии, которая быстро стала престижной. Например, в 1913 году, когда стал известен список претендентов на десятую Гонкуровскую премию и в него вошли Валери Ларбо, Октав Обри, Ален-Фурнье, Эстервиль, Марк Эльдер и Леон Верт, он написал Люсьену Декаву письмо, в котором просил того отдать свой голос автору „Белого дома“ Леону Верту: „Это действительно талантливый человек, который должен вам нравиться и которому премия очень нужна. Вы скажете, что я вмешиваюсь в дело, которое меня совершенно не касается, но это неважно, сделайте это, и вы доставите огромное удовольствие мне и окажете по-настоящему большую услугу Верту, а тем самым хоть немного порадуете беднягу Мирбо“»[226].

«Бедняга Мирбо», обитавший тогда в Шевершемоне, куда удалился в результате сильного переутомления, и в самом деле выступил автором предисловия к роману Леона Верта. Но все хлопоты Моне оказались напрасными. Декав безоговорочно высказался за Марка Эльдера, написавшего «Народ моря», и в конечном итоге этот самый «народ» и вышел победителем в одиннадцатом туре.

Мирбо умер четыре года спустя[227].

«Он умер в свой день рождения. Случайное совпадение,

конечно, но оно придало некую завершенность его жизни, заставив увидеть в этом молчаливый уговор с судьбой, — записал Саш*а* Гитри в своем „Маленьком красном блокноте“. — Через два дня мы собрались проводить его в последний путь. Нас было человек, наверное, шестьдесят: литераторы, театральные деятели, политики, художники, скульпторы…

Помню, как в молчании мы выходили из дома покойного. Больше всего меня поразило тогда именно это общее молчание, столь непривычное… Мне скажут, что оно было вызвано обстоятельствами… Разумеется, я это понимаю. Но оно казалось мне более глубоким и более значительным, чем обычная тишина траурной церемонии. Мы молчали потому, что навсегда замолчал тот, кого мы хоронили. Великий спорщик перестал слышать окружающих, и они все никак не могли прийти в себя от этой мысли.

Понемногу это ощущение проходило. Когда траурная процессия двинулась в путь, люди снова начали потихоньку переговариваться. Кто-то шепотом задавал вопрос, получая на него короткий ответ… И все вздыхали, громко вздыхали. Был ли то вздох облегчения?

Я прислушался к некоторым разговорам.

— Сколько ему было лет?

— Семьдесят!

— Кхе-кхе…

— Как вы думаете, какая у него лучшая книга? На мой взгляд, это „Голгофа“…

— „Дневник горничной“.

— Да, конечно, и еще „628-E8“.

— Не спорю, не спорю… Но все же он хватил через край! С Гогеном, например. Все же это великий человек… Да и с другими тоже… Согласитесь, Шарден и Грез… Да и Фантен-Латур…

— Что бы он там ни говорил, а Мессонье — художник, и притом великий художник! У меня у самого есть две картины Альфреда Ролла и один эскиз Корно. По моему мнению, они стоят всех Ренуаров на свете…

Справа и слева до меня доносилось: „Нет, дорогой мой, а я вот считаю…“, „Да поймите вы, я убежден, что…“, „По-моему, это…“, „Я придерживаюсь мнения…“, „Спорить готов, что…“

Постепенно шум разговоров слился в ровный гул. Присмотревшись, я обнаружил, что процессия разбилась на пары и каждый говорил, стараясь убедить в чем-то своего собеседника. И хотя говорить приходилось вполголоса, спор шел весьма оживленный.

К счастью, мне не нашлось пары. Вскоре я перестал вникать в

то, о чем говорили вокруг, слышал только гул голосов. Мы прошли уже половину пути, когда кто-то взял меня за руку. Это был Клод Моне.

Он выглядел сердитым и настойчиво тянул меня в сторону.

— Уйдем! Уйдем отсюда!

Я видел, что он не в силах провожать Мирбо до могилы. А ведь он очень любил его — так же, как и я. Я не понимал, что с ним. И вот мы остались вдвоем на тротуаре, охваченные чувством одиночества, но главное — подальше от остальных».

«Стоя под хмурым зимним небом с обнаженной головой, этот сильный и искренний человек плакал, — написал в журнале „Ренессанс французского искусства“ Жорж Леконт. — Из глаз его, хранящих потрясение горя, катились слезы, пропадая в длинной, уже совершенно белой бороде…»

После похорон Мирбо прошло всего полгода, когда умер Дега. Постаревший автор «Танцовщиц», превратившийся к этому времени в «слепого, передвигающегося на ощупь патриарха», приезжал к Моне, когда хоронили Алису. В августе того же года умер старший брат художника Леон. Промышленник из Маромма, с которым Моне успел окончательно рассориться, умирал долго и мучительно. Насколько нам известно, Клод не поехал хоронить руанского химика, так что последнего примирения над могилой брата, скончавшегося на 82-м году жизни, так и не состоялось. Однако ранней осенью, когда нимфеи готовились к долгой зимней спячке, он неожиданно решил совершить путешествие по нормандскому побережью и посетить места, с которыми у него было связано так много воспоминаний, — места его былых битв с собой и палитрой. Онфлер, Гавр, Дьеп, Эгрета, Ипор, Пурвиль… Настоящее паломничество! Вот мрачное здание коллежа в Майре, в котором преподавал папаша Ошар, убежденный, что писать следует так, как писали в Средние века, и никак иначе… Вот лавка симпатяги Гравье, выставлявшего в своей витрине его первые работы… Здесь он гулял вместе с Буденом, любившим глядеть в небо и восторгаться его красотой… Здесь он встречался с безумным Йонкиндом, и с не знавшим устали Курбе, и с утомленным жизнью Дюма-отцом, и с прекрасной Эрнестиной… Где-то здесь с лаем бегала собачонка, принадлежавшая владельцу постоялого двора и казино… Ностальгия.

Глава 31
ПОБЕДА

«Если вы не против, я загляну к вам, чтобы пригласить вас на обед в Живерни, в среду днем…»

«Мы договорились, что в будущую пятницу обедаем в Бернувиле. Возьмите с собой вашу милую дочь…»

«Не желаете ли в среду пообедать со мной в Бернувиле? Берите с собой всех домочадцев. Я собираюсь порыбачить, так что вы можете принять участие в рыбалке и вытянуть пару-тройку осетров…»

Моне так и не привык пользоваться телефоном. К счастью для нас, ибо в противном случае содержание этих его записок, адресованных Клемансо, так и осталось бы нам неведомым.

По большей части голубые бланки этих писем, отправленных по пневматической почте, датируются предвоенными годами, самое позднее — 16 ноября 1917 года. После этого времени Клемансо, взявший в свои руки бразды правления государством, вряд ли мог бы часто навещать друга в Живерни.

Впрочем, незадолго до того, как палата оказала ему доверие, отдав ему подавляющее большинство голосов — 458 против 65, он все-таки сумел провести денек в гостях у художника, под сводами аллеи в его прекрасном саду.

«Разговор шел о войне, — вспоминает секретарь Клемансо Жан Марте, приезжавший в Нормандию вместе с ним. — Рядом с экспансивным Клемансо, который весь пылал благородным негодованием, ни минуты не стоял на месте, оживленно жестикулировал, потрясал своей тростью и говорил на повышенных тонах, Моне казался особенно спокойным. Он шел неторопливо, время от времени тихим голосом подавая ту или иную реплику.

— Так что же там с войной? Что происходит?

— Война?! — восклицал Клемансо. — Все очень просто! Есть солдаты, фронтовики! Они достойны всяческого восхищения! Это прекрасные люди! Их величие превосходит любое воображение! И есть все остальное… И это остальное не стоит ни гроша! В парламенте разброд! Правительство? Мой галстук способен управлять лучше, чем это правительство! А общественное мнение? Тупая толпа, вся во власти собственных заблуждений…

— Ну и? — не отставал Моне. — Чем это все кончится?

На это Клемансо лишь разводил руками, выражая крайнюю степень отчаяния. Некоторое время все молчали.

— Но ведь это же ужасно! — подала голос падчерица Моне.

Разговор возобновился.

— Ну а что американцы? Они вступят в войну? А англичане и русские? Они пойдут до конца?

У Моне, судя по всему, было довольно-таки упрощенное представление о происходивших событиях.

— Вот несчастье-то! — говорил он. — Хорошо еще, что у нас есть вы!

— И вам от этого легче? — удивлялся Клемансо. — Ну ладно, нам пора!

Моне с падчерицей проводили нас до автомобиля. Мы уехали».

Годом позже, когда энергичный Клемансо удостоился от сограждан звания Отца Победы, он снова приехал посмотреть на нимфеи. Вот как рассказывает о том дне, когда друзья снова увиделись, Саш*а* Гитри:

«Как только было объявлено перемирие, Клемансо первым делом потребовал себе автомобиль и приказал шоферу ехать в Живерни. Высадившись у самого порога дома художника, он стоял, протянув ему навстречу руки. Моне молча подошел к нему и только тут спросил:

— Конец?

— Да.

И два великих человека обнялись. Оба плакали, и их слезы видел осенний сад, в котором из последних сил держались розы, не позволяя себе умереть…»

На самом деле эта встреча, свидетелями которой стали Жеффруа и Гитри, не могла произойти раньше 18 ноября. Но уже 12-го Моне написал своему старому другу:

«Я почти закончил два декоративных панно, которые хочу подписать в день Победы и, воспользовавшись вашим посредничеством, преподнести в дар государству. Это, конечно, малость, но я не знаю никакого другого способа принять участие в победе. Мне бы хотелось, чтобы эти панно были выставлены в Музее декоративного искусства, а их выбор я предоставляю вам. Я восхищаюсь вами и крепко вас обнимаю»[228].

Итак, Клемансо приехал, чтобы пополнить государственные собрания картин. Гитри тоже привел сюда интерес к пополнению коллекции, правда, его собственной. На сей раз он выпросил у Клемансо флажок с его официального автомобиля, который присоединил к уже имевшимся у него такому же флажку маршала Жоффра и приказу о начале сражения на Марне, написанному лично рукой маршала, трехцветному шарфу Клемансо в бытность того мэром Монмартра, в 1870 году, и рукописи «Ла Маделон» с

посвящением маршала Петена. Да чего только у него не было! Вышивальный набор королевы Гортензии, жилет Робеспьера, еще один жилет — Марата, ключ от башни Во, муляж половых органов кавалера д'Эона[229], автограф Моцарта… Среди этих и сотен других диковин, выставленных для обозрения в доме номер 18 по улице Элизе-Реклю, была и кисть Клода Моне с личной подписью художника!

«…Как-то раз, — пишет Саш***а*** Гитри, — когда мы только что вышли из-за стола, Моне и я, и сидели, болтая, в его мастерской, он сказал:

— Представьте себе, на днях ко мне заезжала одна американка купить полотно. Знаете, что она у меня попросила? Никогда не догадаетесь! Одну из моих кистей! Зачем она ей? Не понимаю! Все-таки это идиотская мысль, вы не находите?

— Нет, не нахожу. И в доказательство попрошу у вас одну для себя.

— Кисть? Для вас?

— Вам что, жалко?

— Да нет, конечно, с чего вы взяли?!

Тогда я протянул руку к столу, на котором лежало три десятка довольно-таки потрепанных кистей.

— Тогда уж выберите ту, что поновее! — остановил меня он. — Может, хоть для чего-нибудь пригодится…»

Но вернемся к Клемансо. В конце концов ему достались не два панно, и не дюжина, и даже не полторы. Двадцать две картины! Правда, с их передачей возникли осложнения.

Во-первых, в скором времени он потерял пост президента Республики. Если бы в выборах принимал участие весь народ, то при его огромной популярности он наверняка добился бы переизбрания. Увы, в ту пору президента выбирали только члены парламента. Между тем среди депутатов оказалось немало тех, с кем Клемансо не просто боролся, а нередко унижал. Да и пресса относилась к нему отнюдь не благосклонно.

«Избрать Клемансо, — писала в те дни газета „Энтрансижан“, — значит вступить в область неведомого, подвергнуть себя риску неожиданных поворотов и политических интриг».

«Клемансо не хватает гибкости, терпимости и благожелательности по отношению ко всем партиям, дружелюбия, светскости, дипломатической тонкости и конституционной дисциплины», — вторила ей «Франс либр».

Еще один писака спешил уведомить общественность, что мир, оказывается, был заключен на крайне невыгодных условиях, так что Отца Победы следует именовать Отцом Поражения… И 17

января 1920 года, когда парламентарии, собравшиеся в Версале, голосовали за Поля Дешанеля, Клемансо укрылся в Живерни.

Зная об отношении к себе большинства депутатов, он даже не стал официально выставлять свою кандидатуру.

— На вашем месте, — заявил ему Моне, — я действовал бы точно так же! Раз уж речь зашла о таких высоких понятиях, как чувство собственного достоинства, не вам, спасителю страны, перед ними капитулировать![230]

Клемансо повезло с другом. Кому еще он мог открыть душу и где еще мог встретить искреннее сочувствие, в котором так нуждался? Что бы там ни говорил уроженец Вандеи о высшей государственной должности, однажды назвавший президентскую власть органом столь же бесполезным, как простата, политический проигрыш больно ранил его. Но и Моне повезло не меньше. Советы и поддержка старого приятеля оказались для него бесценными. Два эти гиганта, словно два раненых зверя, пришли на помощь друг другу, демонстрируя поразительную душевную теплоту.

У Моне дела шли неважно. Он, например, узнал, что перебравшиеся в США Батлеры бедствуют, поэтому ему пришлось срочно принимать необходимые меры. 3 декабря 1919 года Моне сообщили, что умер Ренуар — его дорогой Ренуар, один из последних остававшихся в живых пионеров импрессионизма.

Но самое страшное было в другом. Он с каждым днем стремительно терял зрение.

— Я слепну! — жаловался он Клемансо. — Если б вы только знали, что это для меня значит!

— Я вам уже много раз говорил: нужна операция, — отвечал ему друг. — Зрение к вам вернется!

— Какое зрение? — вздыхал тот. — Откуда я знаю, может, они дадут мне другие глаза? А мне нужны глаза Моне! Как иначе я продолжу работать?

— Да вы просто старый брюзга! — заканчивал бесполезный спор Клемансо.

Он все-таки убедил художника сделать государству дар. Картин, переданных художником, должно было хватить на два огромных музейных зала. Два зала, сплошь украшенных «нимфеями»!

— Я добьюсь нужных кредитов. Министерством изобразительных искусств заправляет Поль Леон — это мой человек. Мы построим специально для вас великолепное здание! Вам надо встретиться с Леоном Бонье. Это архитектор, он пользуется полным доверием и в государственном аппарате, и в парижской мэрии. Он нарисует вам ваши эллиптические залы!

«Моне — постаревший, напуганный угрозой слепоты — все чаще переживал приступы отчаяния, — вспоминает Поль Леон[231]. — Каждое утро кому-нибудь приходилось буквально удерживать его, чтобы он не изорвал собственные работы, безжалостно пиная их ногами. Он без конца требовал переделать готовый план, меняя размеры и объемы, чем приводил нас в замешательство. Сколько раз мы приезжали к нему, чтобы убедить его в том или другом! Нередко требовалось обращаться за помощью к Клемансо. Тогда мы вместе ехали в Живерни, причем он предпочитал занимать шоферское сиденье…»

Следует ли говорить, что Клемансо как мог противодействовал разрушительным порывам Моне. Моне в ответ злился, ругался, иногда впадал в ярость. Впрочем, вскоре он успокаивался. Садился на большой диван, поставленный в мастерской, построенной Ланктюи, и делился с другом сокровенными мыслями:

— Поймите же, я больше не вижу цветов так же ясно, как видел прежде. И свет я больше не могу передавать так же верно… Красный кажется мне грязным, розовый вялым… Все напрасно! То, что я пишу, все больше напоминает мне «старые картины», а стоит завершить набросок и сравнить его со своими предыдущими работами, как меня охватывает злость и я готов его располосовать!

14 ноября 1920 года, в день, когда Клоду Моне исполнилось 80 лет, Клемансо в Живерни не было, хотя его имя фигурировало в числе немногих приглашенных на скромное семейное торжество. Он в это время путешествовал по Индии. После отставки, последовавшей 18 января 1919 года, Клемансо не отказывал себе в удовольствии путешествовать. Весной он посетил Египет и Судан, зимой побывал в Юго-Восточной Азии. В его ближайшие планы входила поездка в США. Из Луксора в Живерни пришло от него такое письмо: «Клод Моне, мой добрый друг! Что вы там делаете на берегах Сены, когда есть Нил, который в данный момент разыгрывает с небом и горами Феба такой спектакль света, что вы от него просто потеряли бы голову…»

Из Бенареса — еще одно письмо: «Это великолепие ясной простоты, обволакивающее все вокруг, от реки до небес! Нет, будь я Клодом Моне, я не согласился бы умереть, не увидев этого!»

Итак, Клод Моне отмечал свой день рождения. Событие приобрело национальный размах и дало обильную пищу журналистам.

«Будет ли организовано торжественное празднование восьмидесятилетия Клода Моне — знаменитого мэтра

импрессионизма и почти единственного остающегося в живых представителя этой школы света? — вопрошал на страницах своей газеты редактор „Виктуар“ 28 октября 1920 года. — Мы просто обязаны отдать дань уважения великому человеку, которому хватает благородства жить в уединении, не принимая никаких знаков почтения со стороны современников».

«Этот одинокий художник — настоящий труженик. Он пишет свет и цветы, являя собой образец, достойный мастеров Возрождения», — говорилось в номере от 10 ноября газеты «Сирия», выходившей в Бейруте.

О юбилее Моне писала норвежская, итальянская, английская, американская пресса… Моне при жизни становился легендарной фигурой!

«Величайшему французскому пейзажисту — 80 лет» — так озаглавил свою статью, опубликованную в газете «Пти нисуа» 6 декабря, Камиль Моклер. Ее содержание могло бы заставить зарыдать кого угодно. «Гюстав Жеффруа — один из самых благородных писателей нашего времени и давний друг Клода Моне — напомнил мне на днях о той поре, когда Моне и Ренуар, арендовав на паях картофельное поле, многие месяцы жили, не имея другого пропитания кроме собранного урожая. Еще раньше мне рассказывала Берта Моризо — изумительная женщина и превосходный художник (она приходилась невесткой Эдуару Мане), как однажды друзья Клода Моне собрались на совет. Проблема заключалась в том, что у Моне не было „ничего“. Это короткое слово следует понимать в самом буквальном, самом ужасном смысле. Ни один из них не располагал большими средствами. Но они объединили свои усилия — каждый дал по сотне франков. Мане поручили убедить Клода Моне, что нашелся ценитель, готовый выложить тысячу франков за десять его картин. В те годы никто не соглашался покупать Клода Моне даже за 20 франков! Зато сегодня люди платят за его картины по 50 тысяч!»

Тот же Моклер, правда, уже в другой газете — «Фар де Нант» — 10 ноября объявил: «Мы должны с почтением склониться перед восьмидесятилетним Клодом Моне, который скромно отмечает свой юбилей в кругу друзей. Эта дата подводит итог непрерывной шестидесятилетней творческой деятельности и служит ярким примером неиссякаемой трудоспособности гения, который и поныне ежедневно выпытывает у природы секреты ее красоты. Это самый великий из ныне живущих французских художников, это человек самого благородного и достойного почитания характера, и наш долг — единодушно приветствовать в его лице последнего представителя последнего поколения великих

мастеров кисти, рожденных на свет отечественным гением!»

«Накануне своего восьмидесятилетия этот не знающий усталости поэт по-прежнему, как и 60 лет назад, продолжает писать, перенося на полотно восхитительные строфы пантеистического гимна цвету и свету» — в таких высокопарных выражениях отозвался на событие Поль Ален в номере «Радикала» от 30 октября.

Не обошел его своим вниманием и писатель Жорж Леконт, занимавший в те годы пост президента Общества литераторов. В его статье, напечатанной в газете «Энтрансижан» 23 октября, говорилось: «Самобытному и могучему художнику, известному во всех уголках мира, исполняется 80 лет. Наряду с горделивым пейзажистом Гийоменом, который моложе его всего на несколько лет, он остается сегодня единственным живым представителем героической, творившей чудеса когорты, продолжившей начатое в 1830 году дело поиска истины и света, сумевшей выразить неуловимую, волшебную атмосферу самой природы. Это не значит, что мы должны стрелять из всех пушек в честь восьмидесятилетия Клода Моне, чтобы напомнить самим себе, какие мы хорошие; это значит, что мы должны отдать дань национального уважения этому великому человеку. Что касается государства, которое, заметим кстати, никогда не обращалось к Клоду Моне с официальными заказами и ни разу не отметило его труд ни одной официальной наградой, то разве не должна эта дата стать поводом для исправления допущенной несправедливости, для признания совершенных ошибок и нашей недальновидности? Неужели нам не хватит благоразумия, чтобы отпраздновать — просто и сдержанно, в духе, свойственном образу жизни самого художника, — его чудесный восьмидесятилетний юбилей? Неблагодарность и постыдная невнимательность не прибавляют шарма ни отдельным людям, ни целым народам…»

«Что же мы видим? — распинался и анонимный автор в „Ви де Пари“. — Человека, чья слава успела прогреметь по всему свету, чьи творения рвут друг у друга из рук лучшие музеи мира, чьи заработки — исключительно благодаря живописи — достигают 400–500 тысяч франков в год, — этого человека не сочли достойным орденской ленты! Смехотворная ситуация! Чтобы воздать ему должное, понадобилось бы как минимум присвоить ему сразу звание командора! Вот только ему это совершенно не нужно…»

В числе немногих приглашенных, удостоенных чести присутствовать на скромном торжестве, состоявшемся 14 ноября 1920 года в розовом доме, оказался герцог Эдуар де Тревиз.

Впоследствии он опубликует свое бесценное воспоминание под названием «Паломничество в Живерни». Пока же он преподнес имениннику стихи — пространную поэму в 20 строф, в тот же самый день напечатанную — почти без сокращений — в номере «Фигаро».

Читая написанные герцогом строки, мы, конечно, понимаем, почему их автор — при всей его близости к затворнику из Живерни — так и не сумел оставить сколько-нибудь заметного следа в истории французской поэзии.

О живописец! В чем же ваш
Секрет? Скажите же, откуда
Рождается под вашей кистью чудо —
Живей, чем подлинный пейзаж? —

и так далее в том же духе.

Президент Республики Александр Мильеран, сменивший на этом высоком посту невезучего Дешанеля, утратившего проницательность, не счел нужным приехать в Живерни. Правда, готовность лично поздравить старого мастера высказал Жорж Лег, тогдашний президент совета, сохранявший за собой эту должность рекордно короткое время — с 24 сентября 1920 года по 15 января 1921-го.

— Не стоит утруждаться, — предупредил через секретарей Моне. — Я все равно его не приму!

Преклонный возраст и подступавшая слепота делали Моне особенно несговорчивым. Как мы уже знаем, он дал согласие на размещение своих декоративных панно в музее «Оранжери», однако категорически отказался выставлять их в особняке Бирона, построенном по проекту Бонье рядом с музеем Родена.

— Вы только представьте себе, как потрясающе будет выглядеть там ваш знаменитый пруд! — пытался переубедить его Поль Леон. — Это будет целый мир нимфей!

— Нет! — отвечал Моне. — Мне не нравится форма зала. Она слишком правильная. Это цирк, а не музей!

В апреле следующего года, напомнив об условии, на котором он соглашался подарить государству свои панно — их размещение в выставочном зале должно было отвечать его пожеланиям, — Моне объявил:

— Мне надоели чиновничьи проволочки! Я забираю свой дар назад!

Глава 32
КУТЛА

«Моне никому не позволяет и пальцем дотронуться до своих кистей и тюбиков с красками», — писал в газете «Эксельсиор» от 26 января 1921 года, в статье, озаглавленной «В гостях у отшельника из Живерни», Марсель Пэи.

Что за ужасный характер! На самом деле художник располагал краски на палитре в строго определенном порядке. И делал он это потому, что писать ему теперь приходилось больше по памяти…

В сентябре 1922 года врачи установили, что острота зрения его левого глаза снизилась до одной десятой доли от нормы. Правый глаз сохранил лишь «способность различать свет и тьму».

Ему следовало отдыхать, но об этом он не желал и слышать. Несмотря на приступы дурного настроения, несмотря на стычки с чиновниками, его решимость во что бы то ни стало завершить «Декорации» нисколько не ослабела. Он уже договорился с Клемансо, что панно будут выставлены в двух овальных залах на первом этаже музея «Оранжери».

«Да, я продолжаю работать, — говорил он журналисту Арсену Александру. — Продолжаю сражаться с природой. Но если бы вы знали, каким я чувствую себя старым и неуклюжим! Хотя желание сделать свою работу как можно лучше разгорается во мне только сильнее…»

С июля 1920 года упомянутый Арсен Александр входил в редакторскую группу, созданную при издательстве «Бернхайм-младший» для публикации книги, посвященной не кому иному, как Клоду Моне. Эта первая биография художника увидела свет осенью 1921 года. Таким образом, Арсен Александр опередил Гюстава Жеффруа, напечатавшего свой труд «Клод Моне: жизнь, эпоха, творчество» в издательстве «Г. Кресс» лишь летом 1922 года. Третье исследование, появившееся при жизни художника, вышло в свет в 1924 году за подписью Марка Эльдера («В Живерни, у Клода Моне»). Судя по всему, Эльдер не затаил на Моне зла, хотя в 1913 году, когда решался вопрос о присуждении Гонкуровской премии, последний высказался против него и в пользу Леона Верта. Правда, лауреатом высокой литературной награды все равно стал Марк Эльдер, автор романа «Народ моря»…

В том же 1924 году была издана небольшая работа Камиля Моклера. Наконец, в 1928 году читающая публика смогла

познакомиться с пространным трудом «Моне», написанным Клемансо. Год спустя, в 1929 году, издательство «Галлимар» опубликовало в серии «Жизнь выдающихся людей» сочинение Марты де Фель — милое по стилю, но изобилующее совершенно фантастическими домыслами!

В октябре 1921 года Моне решил дать наконец отдых своим утомленным глазам и устроил себе небольшие десятидневные каникулы. Впрочем, осеннее ненастье не слишком способствовало плодотворным трудам на берегу пруда. Поэтому он и согласился провести несколько дней в Вандее, приняв приглашение своего старого друга.

«Приезжайте, — писал ему Клемансо. — И если к вам здесь вернется аппетит к занятиям живописью, я нисколько не удивлюсь. Небесная и морская палитра переполнена оттенками синего и зеленого, — просто садись и пиши картины!»

Клод вместе с Бланш добрались до Венсан-сюр-Жара, с комфортом устроившись на заднем сиденье лимузина, который вел Мишель.

По возвращении в Живерни Моне уединился ото всех. Никаких гостей, никаких визитов! Надо работать! Надо торопиться писать! Скорее! С каждым днем он видел все хуже…

В феврале 1925 года ему сообщили о смерти Поля Дюран-Рюэля (он скончался 5 февраля). Именно этот девяностолетний старец полвека тому назад рискнул всем, что имел, сделав ставку на импрессионизм. Моне не поехал на его похороны. Во-первых, он чувствовал себя слишком слабым. Во-вторых, он не хотел надолго оставлять свои гигантские панно — боялся, что они ему этого не простят. Для него работа над «Декорациями» давно превратилась в ожесточенную схватку — последнюю в его жизни. Он понимал это и бился как одержимый.

На чьей стороне будет победа?

Клемансо беспокоился. Он хорошо понимал, что Моне в любую минуту может отказаться от своего обещания. С другой стороны, финансовая комиссия сената все тянула и тянула с принятием решения о выделении 600 тысяч франков, необходимых для отделки залов музея «Оранжери».

— Не откладывайте этого дела в долгий ящик! — заклинал он главу Министерства изобразительных искусств Поля Леона, который, по его мнению, демонстрировал прискорбную тенденцию расслабляться раньше времени.

Попутно ему приходилось постоянно подбадривать Моне, уговаривая друга набраться терпения и не терять мужества.

Но вот наконец настало 12 апреля 1922 года, когда Клемансо

смог вздохнуть с облегчением. В этот день, в среду, в конторе вернонского нотариуса мэтра Бодре состоялось подписание акта дарения, при котором присутствовал Поль Леон, недавно избранный в члены Института. Чуть позже, как свидетельствует Жан Марте[232], Моне писал Клемансо в Вандею: «Дни мои проходят в печали… Зрение, увы, слабеет с ужасающей быстротой… Если б вы только знали, что это значит для меня! Очень хотелось бы повидаться с вами…»

Неисправимое стремление к совершенству заставляло его вновь и вновь возвращаться к уже законченным полотнам — здесь поправить водяное растение, там приписать еще один распустившийся цветок нимфеи… К несчастью, чаще он не улучшал, а портил готовые картины. Если ему случалось самому заметить это, то в приступе ярости он хватался за нож и безжалостно кромсал холст.

«Я совершаю глупость за глупостью, — делился он с Марком Эльдером[233]. — Пора мне уже признаться самому себе, что я превратился в развалину и больше не способен творить красоту… Я уничтожил несколько своих панно. Я почти ослеп и вынужден прекратить работу. Печальный конец, хотя в остальном я совершенно здоров…»

«В свои 82 года Моне производил впечатление человека, пышущего силой и здоровьем, — вспоминает Саш***а*** Гитри[234]. — Он походил на могучий дуб, казался неуязвимым. Смерть просто не сумеет к нему подобраться! И что же? Она взяла его подлой хитростью, обрушившись на самый ценный для этого великого человека орган, на смысл всей его жизни, смысл всего его бытия — на его глаза…

Судьба совершила это злодеяние — еще до того как закрыть ему глаза, она украла у него зрение.

В мастерской Моне стояло множество картин, еще не помещенных в рамы. Каждая из них дарила ощущение праздника. Как-то раз я обратил внимание на то, что на одной из картин автор так и не поставил свою подпись, и спросил его почему.

— О! — отвечал Моне. — Я сделал это намеренно, чтобы избежать искушения ее продать. Это моя любимая.

Меня охватило страстное желание получить именно эту картину. Но он мне отказал.

Прошло несколько месяцев, и вот я снова стоял перед этой чудесной картиной, громко выражая свой восторг. Вдруг он ласково сказал мне:

— Да ладно, забирайте! Вам я готов ее продать.

Ни за что на свете я не стал бы обсуждать с ним вопрос о цене. Мы коротко переговорили об этом с его падчерицей, после

чего я снова пришел к нему в мастерскую. Он сам снял картину со стены. Он смотрел на нее так, как смотрят на дорогое сердцу существо, с которым приходится расставаться… Я попросил его подписать картину.

Зрение его в эту пору уже очень сильно ослабело. Он поставил на холсте свою подпись, дату, а потом сказал:

— Послушайте, Саш***а***. Я подписал ее 81-м годом, хотя на самом деле это работа 82-го года. Вас я не хочу обманывать. Просто дело в том, что единицу мне писать легче, чем двойку…»

До наших дней сохранилось письмо Моне от 22 декабря 1922 года, адресованное директору вернонского отделения банка «Сосьете женераль». На самом деле этот исторический документ письмом назвать нельзя — это каракули слепого. Моне писал карандашом, но даже не заметил, что тот не заточен. Буквы — вернее, то, что он полагал буквами, — представляют собой отдельные черточки, похожие на серые пятнышки, усеявшие лист плотной бумаги. Каждая из них выписана под определенным углом, но строки, в которые они должны складываться, то набегают друг на друга, то широко расходятся в стороны… Все письмо — это не буквы и не строчки, а мешанина серых пятнышек, напоминающих мелкие мазки кисти.

Нетрудно представить себе, как удивился банкир, получив это послание. И нам не приходится удивляться, зная, что большую часть его переписки вела в это время Бланш, иногда позволяя себе роскошь немного имитировать почерк любимого отчима.

«В следующий раз, когда я заехал его навестить, — продолжает Саш***а*** Гитри, Бланш, это олицетворение преданности, встретила меня такими словами:

— Как хорошо, что вы приехали! Скорее идите к нему! Он в ужасном состоянии!

Я нашел его в мастерской. Он стоял перед своей палитрой, раздавленный горем. Только что он совершил ошибку — принял белую краску за желтую.

Он взял меня за руки и произнес голосом, буквально разрывавшим сердце:

— Все кончено, мой бедный друг. Я больше не отличаю белого от желтого…

Клемансо пытался его переубедить.

— Ничего подобного! — внушал он ему. — Зрение еще вернется к вам! Нужна операция!»

Он посоветовал — в действительности едва ли не приказал — Моне обратиться к одному из своих старых друзей, известному офтальмологу Шарлю Кутла, который принимал пациентов в

Париже, в доме номер 19 по улице Боэция.

7 сентября 1922 года доктор Кутла вынес свой приговор: оперировать, и немедленно. Начать решили с правого глаза, наиболее затронутого болезнью. Левый глаз пока оставили в покое, ограничившись лечением с помощью препарата, расширяющего зрачок, — в надежде, что таким путем удастся немного смягчить последствия омертвения тканей.

— Операцию проведем в ноябре, — сказал Кутла. Хоть он и пользовался как специалист большим авторитетом, самое его имя — дословно «тесак» — для французского уха звучало более чем угрожающе.

«Что ветеринар сказал вам по поводу ваших глаз?» — нетерпеливо спрашивал художника Клемансо — прекрасно понимая, в каком состоянии тот находится, он явно старался хоть немного разрядить обстановку. Но известие о том, что Моне, довольный тем незначительным улучшением, которое принесло ему лекарство, начал снова тянуть время, пытаясь уклониться от операции, заставила его хорошенько стукнуть тростью об пол.

Он испробовал все: ругался и утешал, сердился и обнадеживал, и в конце концов добился своего. Отец Победы снова взял верх.

Ранним утром 10 января 1923 года Клод Моне переступил порог хирургической клиники «Амбруаз Паре» в Нейи.

Представим себе на минуту, как волновался восьмидесятидвухлетний художник. Кутла намеревался оперировать его под местным наркозом. А что, если станет хуже? Сейчас он все-таки различал хотя бы свет! А вдруг в результате вмешательства он и вовсе ослепнет? Нервозность Моне достигла предела. Он чувствовал себя разбитым, больным. До такой степени, что, стоило хирургу приблизить скальпель к лицу пациента, как у него открылась сильнейшая рвота.

И это была только первая часть операции! Кутла планировал провести ее в два, а если потребуется, и в три этапа.

31 января — новые мучения, и снова под местной анестезией.

— Очень трудный больной! — жаловался врач Бланш, постоянно находившейся рядом с отчимом.

Впрочем, он сразу же добавил, что нисколько не сомневается в успехе операции.

Клемансо не скрывал радости: «До меня дошла новость, что наш блестящий хирург наконец-то обнажил свой тесак!»

Между тем дело едва не кончилось катастрофой. Предписания врача не допускали никаких двойственных толкований: трое суток полного покоя; лежать на спине, без подушки, по возможности неподвижно. И что же? В первую же

ночь после операции на Моне накатил один из свойственных ему приступов ярости.

— Он не мог успокоиться ни на минуту, — вспоминала Бланш. — Несколько раз вскакивал с постели, так что мне с великим трудом удавалось уговорить его снова лечь. Он порывался содрать повязку, кричал, что лучше ослепнет, чем станет терпеть обездвиженность!

17 февраля, когда Моне выписали из клиники в Нейи, встречать его пришел Клемансо. Он приготовил другу приятный сюрприз. Предложил, прежде чем отправиться в Живерни, заехать в «Оранжери» и взглянуть, как идет строительство.

Эта идея оказала на моральное состояние больного самое благоприятное воздействие. Уже в начале марта он писал Полю Леону, возглавлявшему в правительстве управление по делам изобразительных искусств: «Счастлив сообщить вам, что чувствую себя лучше с каждым днем и намерен немедленно возобновить работу»[235].

Но уже несколько дней спустя положение, увы, ухудшилось. Проснувшись утром, Моне с ужасом обнаружил, что перед глазами снова все плывет… Срочно вызванный доктор Ребьер — его друг и сосед, проживавший в Боньере, — констатировал небольшое послеоперационное осложнение.

— Совершенно верно, — подтвердил диагноз Кутла. — У вас утолщение перепоночки. Это неизбежно. Как я и говорил, необходима третья операция.

— Моне в ужасном состоянии, — говорила ему Бланш. — Он полностью деморализован. Его терзает страх потери глаза, и он отказывается вставать с постели…

— Ну что вы! — пытался подбодрить своего пациента Кутла. — Повода для паники нет! Операция ерундовая, можно сказать, просто заключительный штрих! Доверьтесь мне!

Поразмыслив, он добавил:

— Я думаю, что вам даже незачем приезжать в Нейи. Я сам приеду в Живерни и проведу операцию у вас дома. Ассистировать мне будет доктор Ребьер.

Операцию назначили на 18 июля.

За несколько дней до этой даты Клемансо прислал другу из Вандеи письмо, содержание которого, несмотря на упадок духа, наверняка не могло не вызвать у Моне улыбки: «Рассчитываю получить от вас телеграмму сразу после мясорубки у окулиста, которая, по всей видимости, будет почти такой же кровавой, как операция по стрижке волос или ногтей… Что касается меня, то мне никто ничего резать не собирается, потому что резать уже почти нечего…»

Моне плохо перенес эту третью «мясорубку». На сей раз местный наркоз окажется слишком слабым, чтобы снять болевые ощущения, едва не заставившие пациента потерять сознание. Но куда хуже было другое: результаты хирургического вмешательства не оправдали надежд доктора Кутлы. Он не скрывал разочарования и вслух проклинал «злосчастную мембрану, проникшую вглубь».

Кутла утратил былой оптимизм, а Моне… Моне громко негодовал. Да, видеть он стал лучше, но его зрение, несмотря на мощный арсенал прописанных ему очков, деформировалось. О различении цветов и говорить не приходилось! Он вообще перестал адекватно воспринимать окружающее. Желтое — ему всюду мерещилось желтое!

«Однажды, — рассказывает Луи Гийе[236], — я сидел с ним за столом. Вдруг он со свирепым видом схватил свою тарелку и начал потрясать ею перед остальными. „Какого она цвета, по-вашему?! — вопрошал он. И в отчаянии отвечал: — А я ее вижу желтой!“»

Для него, художника, это было невыносимо!

«Лучше бы я ослеп! — с горечью говорил он Клемансо. — Но видеть природу так, как я вижу ее сейчас…»

Само собой разумеется, Клемансо тоже тяжело переживал случившееся. Он слал в Живерни десятки писем. Их шутливый тон, призванный хоть чуть-чуть подбодрить Моне, не мог заглушить пронизывающую эти послания теплоту и нежность: «Что я слышу? Вы по-прежнему настроены бросить свой глаз собакам! Значит, в Шарантоне мест больше не осталось? Сын мой, будьте же последовательны — в этом секрет успеха. Помните, что наша сила наполовину зависит от самого тупого упорства. Не падай духом, старый товарищ, все будет хорошо! Я вам, дурья башка, открою один секрет: у меня самого полным-полно замыслов насчет всяких там панно, но, скорее всего, я так и помру, не осуществив ни одного из них… Терпение, малыш, терпение!»

Терпение? Вот его-то Моне и не хватало! Ему хотелось как можно скорее в последний раз пройтись кистью по почти готовым «Декорациям». Пока он стоял вплотную к холсту, он ясно видел каждый наносимый им мазок. Но стоило ему чуть отступить, как вся картина расплывалась перед его глазами. Он с горечью осознавал, что не может составить целостное представление о том, что у него получается.

Клемансо и Кутла уговаривали его дать согласие на оперативное лечение левого глаза — чем раньше, тем лучше.

И оба встречали решительный отказ. Сварливость Моне в эти

дни достигла предела.

«Если я так безжалостно терзал вас все это время, — писал ему Клемансо, — то лишь потому, что считал это своим долгом, продиктованным дружбой. Но я по-прежнему настаиваю на всем том, что говорил вам раньше. Я абсолютно убежден, что вы не можете со мной не согласиться!»

Он заблуждался. Художник и слышать не желал о том, чтобы в четвертый раз лечь на операционный стол, даже если его оборудуют в Живерни. А вскоре и сам Клемансо оказался на больничной койке. 16 декабря его доставили в клинику в Сен-Жермен-ан-Ле после автомобильной аварии.

Тот день он провел в розовом доме в обществе Кутлы, прибывшего из Парижа для осмотра своего знаменитого пациента. На обратном пути Брабан — шофер Клемансо — не успел вовремя притормозить и врезался в идущую впереди машину. Отец Победы получил несколько сильных ушибов и поранил лицо.

«Они натыкали мне в рот и в нос серебряных ниток, — преодолевая боль, пытался шутить он. — Я было обрадовался, думал, будет мне на что жить в старости, так нет! Жадина Госсе, здешний хирург, сказал, что все нитки потом отнимут. Не повезло мне! Даже в аварию толком не сумел попасть!»

Накануне выписки, намереваясь на несколько дней уехать в Вандею, он снова написал другу:

«Занимайтесь своими панно, только смотрите, не напишите одуванчиков вместо нимфей! Работайте спокойно и не забивайте себе голову пустяками!»

Глава 33
ТЬМА

1924 год начался для Моне неплохо. Несмотря на перепады настроения, художник, по его собственным словам, «вполовину утратив способность видеть», тем не менее смог написать «Облачное панно», которое назвал «законченным шедевром». По свидетельству Жана Марте[237], присутствовавшего на всех трех стадиях создания полотна, ему — полотну — угрожала немалая опасность. Первоначальный набросок удался, но затем, увы, автор едва не испортил дело, сообщив своему произведению «тяжесть». Впрочем, даже полуслепой Моне все равно оставался гением и в конце концов вернул картине «эфирную легкость».

Близкие художника настороженно следили за сменой его настроения. В одном из своих писем Бланш Клемансо писал:

«Мой милый Голубой Ангел! Раз уж наш мазилка работает, и неплохо, проявим к нему благосклонность и не будем ему мешать. А когда ему захочется с нами поговорить, что ж, мы будем рядом и с удовольствием его выслушаем…»

В письме к самому Моне он шутя укоряет его:

«Поскольку мы знаем, что ангелы творят чудеса, я очень надеюсь, что Голубому Ангелу удастся вернуть вам разум… Лично мне вы нравитесь даже больше, когда делаете глупости. Но, несмотря на это удовольствие, мне все же не хотелось бы, чтобы это случалось слишком часто. Ваша творческая мощь, может быть, еще никогда не поднималась столь высоко, так что вы уж постарайтесь взять себя в руки…»

Нет, в самом деле, 1924 год начался совсем недурно. Жозеф Дюран-Рюэль купил у Моне четыре небольших холста (73х92 см), написанных тремя десятками лет раньше, и перечислил на его счет в вернонском отделении «Сосьете женераль» кругленькую сумму — 170 тысяч франков[238].

Очень неплохой год! Один из его коллег, художник Андре Барбье познакомил его с доктором Мавасом, которому стало известно, что в Иене фирма «Цейс» разработала какие-то новые удивительные стекла!

В своей статье, опубликованной в 1973 году[239], Моника Дитьер поведала читателям о том, как проходила встреча офтальмолога с мастером из Живерни. Рассказ приводится в изложении врача, у которого она брала интервью:

«Меня провели в сад, где меня поджидал Клемансо. Моне я раньше никогда не видел. Поначалу Клемансо встретил меня с

ледяной вежливостью:

— Имею честь приветствовать вас, сударь…

Затем меня пригласили к столу, за которым уже сидел Моне. Он пребывал в превосходном настроении.

— Ну вот, значит, вы мной и займетесь, — обратился он ко мне.

После обеда он проводил меня в свою мастерскую. Указывая на свои последние работы, он кипел негодованием:

— Это безобразие! Это мерзость! Мне все видится в синем цвете!

— Но откуда вам известно, что вы пишете именно синим?

— Из тюбиков с краской, откуда же еще?»

К сожалению, довольно скоро выяснилось, что «чудодейственные очки Маваса» ненамного лучше тех, которыми он пользовался прежде. В октябре Моне уже снова жаловался:

«Стал видеть еще хуже. Не в состоянии делать ничего пристойного»[240].

Итак, новый приступ хандры. С кем поделиться своим несчастьем? С другом, разумеется! Вот что рассказывал об этом Клемансо своей последней конфидентке г-же Бальденшпергер:

«Сообщаю вам, что Моне пишет мне очень мрачные письма, как, впрочем, он делает это всю жизнь; что падчерица его плачет, а мне доверено заняться переводом часовых стрелок, которые с упорством бьют полночь среди белого дня. Придется прибегнуть к испытанному средству — набору крепких выражений!»

Но даже у Клемансо вскоре лопнуло терпение. Моне, у которого внутренняя тревога находила выход в беспрестанном брюзжании, все тянул и тянул с завершением «Декораций», хотя последними переделками рисковал испортить готовую работу.

«Вы стремитесь к созданию сверхшедевров! — писал ему Клемансо. — Но теперь, когда вы сами признаете, что ваш глаз утратил совершенство, это невозможно! Вы заключили договор с Францией! И государство сдержало свои обязательства! Вы не только поставили государство перед необходимостью крупных расходов, вы принудили его к этому. И теперь дело надо довести до конца — артистично и достойно. В обязательствах, взятых вами на себя, нет и не может быть никаких „если“!»

Одновременно он постоянно обращается к Бланш — своему «милому Голубому Ангелу», «райскому созданию во власти дьявола» — с призывом удерживать Моне от опрометчивых шагов. Между Бланш и Клемансо сложились отношения, напоминающие взаимное доверие посвященных в заговор сообщников. В этой связи следует отметить, что Клемансо в те годы остро чувствовал свое одиночество. Отстраненный от политики, он не нашел

утешения и в собственных детях, доставлявших ему сплошные разочарования. Дом Клода и Бланш стал для него вторым родным, служил ему источником воодушевления и вдохновлял на новые битвы. А уж биться он любил больше всего на свете! В январе 1925 года в роли его главного «врага» выступил… Клод Моне.

«Ваше зрение ухудшилось только потому, что вы сами этого захотели, не пожелав следовать указаниям по лечению прооперированного глаза и с детским упрямством отказавшись от операции на втором. А ведь врачи сотворили настоящее чудо: вы смогли писать и создали самое большое и самое прекрасное из своих произведений! И что же я от вас слышу? Лепет избалованного ребенка! Вы решили, что ваша живопись никуда не годится. Вы цинично отказываетесь от данного вами слова и заявляете, что, несмотря на вашу собственноручную подпись, она имеет нулевую ценность!»[241]

Двери розового дома в эти годы редко для кого распахивались. Судя по всему, Моне погружался во все более жестокую депрессию. Только для нескольких художников он изредка делал исключение: для Альбера Андре и Мориса Дени, которым даже удалось набросать последние портреты старого мастера; для Андре Барбье, посвятившего теперь все свое время поиску новых очков, которые позволили бы Моне вновь увидеть хоть немного солнечного света; для Пьера Боннара, поселившегося в двух лье от Живерни, в местечке под названием «Деревушка», в домишке под названием «Фургончик», стоявшем на берегу Сены; для Вламинка с писателем Флораном де Фелем. Как рассказал позже Флоран де Фель[242], Вламинк ожидал встречи с Моне как с «каким-то речным Нептуном, ожившей аллегорией античного речного божества», и испытал потрясение, увидев перед собой «невысокого спесивого старичка, осторожно пробующего, куда поставить ногу, в очках с толстыми стеклами, из-за которых смотрели его глаза, похожие на глаза насекомого, с усилием ловившие ускользающий свет…».

Если верить торговцу картинами Рене Жемпелю, сам Моне так отозвался об этом визите:

— Ко мне привели какую-то грубую скотину да еще и представили: Вламинк, художник!

Бывал ли у него Фернан Леже? Это вполне вероятно, поскольку в то время он жил в Верноне, на берегу Сены, в доме номер 25 по улице Андре Бурде. Фернан Леже вынашивал мечту превратить Вернон в то же самое, чем благодаря Моне стала деревня Живерни. Он поделился этим замыслом с одним из своих друзей:

«Я обосновался в Верноне, маленьком тихом городке. Это симпатичное провинциальное местечко, наполненное ясным светом. Здесь множество женщин в белых нарядах, на велосипедах, и совсем мало пожилых дам в черном. Мне этот край очень нравится. Пытаюсь сейчас сделать здесь что-то вроде летнего художественного центра. Я пригласил сюда немало своих друзей, и иностранцев, и французов, и все в один голос говорят, что Вернон — одно из самых приятных во Франции мест»[243].

В воскресенье 22 марта, в первый по-настоящему весенний день, художника после долгого перерыва навестил Клемансо. Плохое настроение хозяина дома улетучилось без следа. Наконец-то старые приятели вдвоем сидели за обедом в желтой столовой! Спор о судьбе «Декораций» оба предпочли на время отложить.

В мае в Живерни пришла печальная весть — умерла Марта. Старшей из дочерей Ошеде, ставшей второй женой Т. Э. Батлера, минул 61 год. Ее похоронили в Живерни, на маленьком кладбище при церкви Святой Радегонды.

«Смерть дарит утешение от смерти и даже от жизни, — соболезнуя другу, писал Клемансо. — Это неоценимая милость…»

Благодаря его участию, Моне сумел преодолеть очередной период подавленности. Мало того, прислушавшись к мудрому совету доктора Маваса, рекомендовавшего ему оберегать от света левый глаз, он испытал некоторое облегчение и вновь почувствовал вкус к живописи, а значит, и к жизни. По его собственным словам, он «с радостью погрузился в работу».

Нетрудно представить себе, как радовался этому Клемансо!

«Достопочтенная Развалина! — писал он ему в эти дни. — Ваше письмо доставило мне невыразимое удовольствие, поскольку я вижу, что вы стали таким же, как раньше. Если будете продолжать в том же духе, придется вам жить вечно, что, в конце концов, как я подозреваю, вам сильно надоест».

Моне и в самом деле снова обрел способность творить чудеса. Поль Валери, приехавший провести день на берегу его пруда вместе с Жюли Мане и Анри Руаром, оставил в своих «Записных книжках»[244] такую запись: «Визит к Моне. Весь седой. (Я не видел его целых десять лет.) Очки. Одно стекло черное, другое тонированное. Показал нам свои последние работы. Странные купы роз на фоне голубого неба. Чистая поэзия…»

Между тем музей «Оранжери» еще не получил обещанных «Декораций». Но Клемансо перестал волноваться по этому поводу. В свое время это случится, а пока… К чему портить себе кровь?

«Прижмемся друг к другу нашими поредевшими усишками, если это даст нам возможность вновь почувствовать себя молодыми! Обнимаю тебя, Моне! Твой старый друг и призрак

былых времен…»[245]

В другом письме Клемансо снова обыгрывает «бородатую» тему: «Целую вас в вашу старую мочалку, желтую от табака…»

Да, Моне, всю жизнь много куривший, так и не оставил этой привычки. Зима 1926 года выдалась холодной, ветреной, с нездоровой сыростью. Художник, которого донимал насморк и кашель, жаловался на мучившие его межреберные боли.

«Ба! — отвечал на его жалобы Клемансо, как всегда, старавшийся шуткой подбодрить друга. — Подозреваю, ваш доктор объявил запрет на вашу рюмку водки, вот вы и клянете судьбу!»[246]

Но в глубине души бывший стажер клиники Бисетр, кстати сказать, выигравший конкурс интернов (аж в 1862 году!) именно по результатам лечения межреберной мышечной ткани, не мог не догадываться, что изношенные легкие Моне поражены действительно тяжкой болезнью.

Однако еще в мае 1926 года он не думал, что положение настолько серьезно. Вернувшись из очередной поездки на берега Эпты, он делился впечатлениями с г-жой Бальденшпергер[247]: «Моне чувствует себя так себе. Он еще способен оседлать своего конька, но для этого ему необходимо помочь, а то и подтолкнуть. Врач лечит его, вот только непонятно, от каких болезней. Он просто стареет, вот и все. Если б я жил с ним, он у меня через две недели поднялся бы на ноги. Когда я к нему приехал, он уже три недели не вставал с постели. После обеда я больше часа продержал его в саду. Он ничего не ел, пришлось его насильно накормить…»

Несколькими днями позже Клемансо оставил такую запись:

«Панно наконец закончены, и больше он к ним не прикоснется. Но расстаться с ними — это выше его сил. Лучше оставить его в покое, пусть все идет своим чередом».

14 июня во мраке существования мелькнул яркий солнечный луч — Моне присутствовал на свадьбе Алисы Батлер, которую домашние звали Лили. Дочери Сюзанны Ошеде, воспитанной тетушкой Мартой, исполнился 31 год. Она вышла замуж за парижского декоратора Роже Луи Фердинана Тульгуа, плененного красотой Живерни и, разумеется, прелестью хорошенькой Лили. В его доме, выстроенном в деревне, ни на минуту не стихали голоса многочисленных гостей. И что это были за гости! Весь литературный цвет того времени! Тристан Тцара, Пьер Дрие-Ларошель, Эрнест Хемингуэй, Андре Бретон… И, разумеется, Арагон. Во время работы над «Орельеном» он любил вспоминать о «доме Тульгуа» и еще об одном доме — том, в котором жил «великий старец, притча во языцех всего края». «Взору Береники

предстали синие цветы — они росли повсюду, — пишет он. — Земля под ними была тщательно взрыхлена. Куда ни кинь взгляд — сплошные синие цветы. К дому вела неширокая аллея. Ровно подстриженный газон и — снова — синие цветы. Она прислонилась спиной к решетке сада и отдалась во власть мечтаний. Что это за синие цветы? Говорят, цветов настоящего синего цвета не бывает. Но как знать… Может, великий старец, который тут живет, видит их совсем иными? Говорят, у него очень больные глаза. Он даже может ослепнуть. Ужас какой, подумать страшно. Человек, вся жизнь которого заключалась в его глазах! Ему уже больше 80 лет… Что, если он все-таки ослепнет?.. Дом, утопавший в зарослях цветов, казался тихим, словно пустым. Может, его обитатели еще спят? Зеленые ставни, красная крыша… Немножко похож на дома в колониальном стиле. На каменистую аллею ложатся тени синих цветов. Может быть, здесь и нет никого — только тени неслышно шагающих садовников?..»

В июле Моне бросил курить. Мы знаем об этом от Рене Жемпеля, который приезжал в Живерни, чтобы купить два полотна. Торговец картинами не упустил возможности расспросить Бланш.

— Как он?

— У него совсем нет сил, вот в чем беда. Нет сил писать, и это его мучает. Перенес сильный трахеит, два месяца кашлял. И после этого в нем как будто что-то сломалось. Даже желудок ему изменил, а уж на него он никогда не жаловался. Раньше совсем ничего не ел, теперь немножко ест, но курить перестал. Задыхается. Спиртное тоже больше не переносит…

Бланш могла бы добавить, что Моне очень тяжело пережил известие о смерти Гюстава Жеффруа. Его биограф и друг, с которым он случайно познакомился в Бель-Иле, скончался 3 апреля. Накануне Моне отправил ему письмо, в котором сетовал на то, как трудно ему стало царапать пером по бумаге, и называл его своим любимым другом.

В сентябре Моне получил замечательное письмо от Клемансо. Впрочем, все 153 письма, адресованные Отцом Победы отцу импрессионизма, сегодня хранящиеся в музее Клемансо, достойны восхищения. Но то письмо, о котором идет речь, выделяется особенно глубоким чувством.

«О мудрец, один из семи мудрецов Шарантона, вы, в общем-то, славный малый, несмотря на ваши бесчисленные недостатки. А я, как старая мельница, у которой крылья отвалились, а жернова унесло море, все машу своими обрубками, бабочек пугаю… Я хочу сказать, что я такой же ненормальный, как и вы,

только мое безумие другой природы. Вот почему мы с вами так хорошо понимаем друг друга и остаемся вместе до конца…»

До конца… Его приближение Моне ощущал все явственнее. Он еще надеялся, что ему станет лучше и тогда он сможет поехать в Париж и встретиться с Полем Леоном, заведовавшим делами изобразительных искусств, посмотреть залы музея «Оранжери», в которых завершились строительные работы. Он еще улыбался 25 октября на свадьбе дочери Жермены Ошеде — Симоны Салеру, родившейся в его доме 23 года назад… Он еще верил в эффективность нового лечения, предписанного ему доктором Антуаном Флораном, парижским специалистом по хроническим бронхитам, который лично приехал в Живерни по просьбе Клемансо. Флоран обещал ему скорейшее выздоровление! И он тысячу раз прав!

Между тем доктор Флоран обнаружил у больного склероз легкого и сообщил Клемансо, что следует ожидать более или менее быстрого развития болезни. Скорее менее, чем более, все-таки обнадежил он. И больной протянет еще долго… Его оптимизма не разделял доктор Ребьер[248], живший поблизости, в Боньере. Сильные боли, которые испытывал его пациент, заставляли его подозревать рак легкого… Он также опасался обильного кровотечения, которое могло наступить со дня на день.

«Он всю жизнь работал не щадя себя, и теперь, боюсь, его организм изношен…» — написал Клемансо[249] 3 октября 1926 года.

Моне оставалось жить два месяца.

«Он ужасно страдал эти два последних месяца, — вспоминает Бланш[250]. — О живописи он больше не думал, говорил только о своих цветах и своем саде. С нетерпением ждал посылки от японских друзей, которые обещали прислать ему луковицы лилий…»

При этом он совсем не утратил ясности сознания, во всяком случае, если верить Даниелю Вильденштейну, которому удалось разыскать в архивах музея Мармоттана счет от позолотчика на сумму 3230 франков[251]. Не интересуясь мнением поставщика, Моне без колебаний потребовал пятипроцентной скидки и своей рукой начертал другую сумму!

В воскресенье 21 ноября в Живерни ждали к обеду Клемансо, вернувшегося из своей Вандеи. Своими впечатлениями от этого визита он поделился с журналистом Тиебо-Сиссоном, в свою очередь, повторившим его рассказ на страницах «Тан» 8 января 1927 года.

«По правде говоря, сильных болей Моне не испытывал.

Время от времени на него накатывал приступ удушья, но он

не слишком задумывался о его природе, поскольку не лежал в постели. За 15 дней до его смерти я еще обедал с ним. Он говорил о своем саде. Рассказал, что со дня на день ждет не то два, не то три ящика очень дорогих семян, из которых вырастут цветы восхитительных сортов. „Весной вы их увидите! — добавил он. — Вот только меня уже не будет“. Но мне казалось, что в глубине души он сам не верил в это и надеялся, что в мае еще сможет насладиться красотой этих растений».

2 декабря Бланш телеграфировала Клемансо: Моне не встает, он перестал есть, у него страшные боли. С ним постоянно находился доктор Ребьер. Уколами ему удавалось немного облегчить состояние больного. Зеленые ставни оставались плотно закрытыми.

Клемансо немедленно примчался в Живерни. Поднявшись по лесенке, он вошел в комнату умирающего. Он больше не шутил. Сказал другу несколько простых и теплых слов. Моне его узнал и попытался улыбнуться.

Вечером Клемансо — убитый горем, вмиг постаревший — вернулся в Париж.

Утром в воскресенье 5 декабря он снова отправился в Живерни.

«Пока он ехал в машине, опустив все стекла, без конца торопил Брабана, своего шофера: „Скорее! Да скорее же!“ Этот ни на кого не похожий старик спешил в последний раз обнять навсегда уходящего друга. Он успел вовремя, и Клод Моне умер у него на руках»[252].

«Так и было, — рассказывал Клемансо Тиебо-Сиссону. — Я видел, что дышать ему становится все труднее, взял его за руку и спросил: „Больно?“ — „Нет“, — ответил он едва слышно. Через несколько минут он издал слабый хрип. И все было кончено».

«Так и было, — подтверждает его рассказ Мишель Моне. — Кончина отца была тихой. Он не сознавал, что умирает, и это большое утешение для всех нас…»

На следующий день в Живерни приехал журналист из «Депеш де Руан». «На скрип моих шагов по посыпанной гравием дорожке распахнулась дверь дома, — написал он. — Появился один из сыновей Клода Моне. Он молча стоял передо мной, и я видел его лицо, искаженное горем. Он не хотел ничего говорить, не желал никого видеть. „Да, вчера, в половине первого, — еле выдавил он из себя. — Не спрашивайте больше ни о чем… Он теперь отдыхает. Оставьте его в покое. Оставьте нас в покое…“»

Похороны назначили на среду, на половину одиннадцатого утра.

— Похороните меня по гражданскому обряду! — так

потребовал перед смертью этот старый безбожник и образец религиозной терпимости.

Если верить Жану Ботро, тогдашнему обозревателю газеты «Журналь»[253], Моне оставил еще более подробные указания:

«Похороните меня как обычного местного жителя. И пусть за моим гробом идут только свои — вы, мои близкие. Не хочу заставлять друзей печалиться, провожая меня в последний путь. Главное, запомните — не надо ни цветов, ни венков. Это все пустая суета. Да и жалко мне губить цветы. Им место в саду. Так что нечего святотатствовать…»

И вот владелец похоронной конторы Ашиль Коломб уже отпирал двери усыпальницы, где Клода 15 лет ждала его любимая жена Алиса. Здесь же уже 35 лет покоился прах Эрнеста Ошеде — его покровителя и соперника. Здесь спали вечным сном его сын Жан, унесенный болезнью в 1914 году, и хрупкая Сюзанна Ошеде-Батлер, умершая в 1899 году, во цвете лет.

— Не надо никаких речей! — убеждал Теодор Батлер деревенского мэра Александра Жана.

Жан Пьер Ошеде в это же время звонил в префектуру Эвре:

— Обязательно предупредите префекта, чтобы воздержался от произнесения речи, даже самой короткой. Воля Моне в этом отношении категорична!

Утро 8 декабря было холодное и мрачное. Над Эптой клубился густой туман, окутывая своим ледяным дыханием плакучие ивы, склонившиеся над водой. Это был один из тех дней, когда кажется, что солнца больше не будет никогда.

Приехал Клемансо. Он сердился. Перед решеткой сада собралась толпа — и друзья, и просто зеваки. С трудом пробравшись сквозь плотные ряды людей, он вошел в дом. Увидев в комнате гроб под траурным покровом, воскликнул:

— Нет, нет, только не черное! — и решительно сдернул покрывало. — Только не для Моне! Черное — это не цвет!

«По-моему, это госпожа Бланш предложила взять вместо него отрез кретона, — вспоминает Дениза Тибу, мать которой работала в доме Моне прачкой. — Это была ткань в цветочек, голубовато-сиреневого цвета…»

Траурный кортеж направился на кладбище. Отпевания не было. Впереди колонны шагал мэр. Гроб с телом несли деревенские жители.

Клемансо пропустил вперед себя участников процессии, оказавшись в самом конце кортежа. Он шел медленно, опираясь на руку доктора Ребьера.

И вдруг он остановился. Сил идти дальше не осталось. Руки в перчатках, которых он никогда не снимал, дрожали. Глаза

Клемансо наполнились слезами.

— Брабан, на кладбище! — позвал он своего шофера. — Я должен видеть, как его похоронят…

ПОСТСКРИПТУМ

Клемансо не случайно не снимал перчаток. Он страдал экземой, не поддававшейся лечению. Последняя пара его перчаток в конце концов оказалась у Саш***а*** Гитри, который выставил их в своем музее на улице Элизе-Реклю.

Так же, в перчатках, Клемансо 16 мая 1927 года явился в музей «Оранжери». Вместе с ним пришли Поль Леон, директор Управления государственными музеями Анри Верн и Мишель Моне. Торжественное открытие экспозиции назначили на следующий день.

Завершив осмотр залов, Клемансо попросил всех ненадолго оставить его наедине с картинами. Когда он снова подошел к своим спутникам, они заметили, что он плакал.

В ноябре 1929 года, спустя три года после смерти Моне, Клемансо скрежетал зубами от боли: «Смерть! Это облегчение!»

У него случился сильнейший приступ уремии.

— У меня есть надежда? — спросил он своего врача, доктора Лобре.

— Нет.

В пятницу 22 ноября, когда Саш***а*** Гитри выходил из дома по улице Франклина, его обступили журналисты.

— Есть битвы, которые нельзя выиграть… — отвечал он на все их вопросы.

В субботу утром Клемансо потребовал, чтобы его одели в его легендарный костюм. Генерал Гуро сказал по этому поводу:

— Он умер, как умирают солдаты в траншеях. В полной форме.

Старый друг Моне скончался в воскресенье 24 ноября в 1 час 45 минут ночи.

Но до того как обрести вечный покой в земле Вандеи, он еще успел написать книгу, посвященную «нимфеям».

«Из всех людей, которых я знал, — говорил он Жану Марте, — может быть, именно Моне стал тем, кто сделал мне больше всего всевозможных открытий. Вот он, смотрите! Он весь на свету! Он берет этот свет, дробит его и воссоединяет по законам науки. Что может быть интереснее?»

Критика довольно сурово восприняла выставку картин Моне в «Оранжери»: «Работа старика!», «В картинах чувствуется усталость»… и тому подобное.

Пусть так. Но все равно, какое наслаждение очутиться на «хорах» этого водного собора, задуманного архитектором, поэтом

и художником из Живерни! Какое потрясающее чувство полной отрешенности охватывает каждого, кто приходит в эту «Сикстинскую капеллу» импрессионизма!

Живописец, чей прах покоится в земле под покровительством святой Радегонды, оставил почти две тысячи картин. Специалисты фонда Вильденштейна, приложив немало трудов, опубликовали исчерпывающий каталог с комментариями его поистине необъятного творчества. Но, когда речь идет о столь выдающейся плодовитости, нельзя исключить, что то или иное полотно может оказаться вне поля зрения искусствоведов. Впрочем, послушаем людей посвященных. Вот что, например, писал Леон Верт в своей статье в газете «Ар» от 5 декабря 1947 года: «В молодости Моне и Ренуар в одно и то же время писали одни и те же сюжеты: листву, воду, уток… Сорок лет спустя одна из этих картин оказалась в галерее Дюран-Рюэля. Встал вопрос об авторстве. Моне или Ренуар? Обратились к самим художникам, но ни тот ни другой так и не смогли вспомнить, что писали именно эту картину. Этот факт известен мне со слов самого Моне».

После смерти Клода Моне в Живерни в его мастерской осталось несколько холстов. Завещания художник не оставил. По закону, следовательно, единственным его наследником мог считаться Мишель. В 1926 году сыну Клода и Камиллы исполнилось 48 лет. Никакой профессии он так и не получил и жил, посвящая все свое время увлечениям — сафари и автомобилям.

14 июля 1931 года в возрасте пятидесяти трех лет он женился на прелестной женщине по имени Габриэль Бонавантюр — бывшей манекенщице, двенадцатью годами моложе его.

После свадьбы Мишель уехал из Живерни в маленькую деревушку Сорель-Муссель, что на побережье Эры, между Дре и Ане. Здесь он построил себе очень милый дом, который украшал охотничьими трофеями, привезенными из Африки.

Бланш по-прежнему жила в Живерни. Наследник поручил ей заботу о розовом доме и картинах. Для безбедной жизни им всего-то и требовалось, что время от времени продавать одно из полотен.

Бланш посвятила себя двум занятиям — живописи и саду. Сегодня ее картины продаются на вес золота. Кроме того, она, как рассказывает Жан Пьер Ошеде, очень хотела, чтобы «ирисы, японские пионы и нимфеи нисколько не сомневались: время забвения еще не пришло и они могут цвести в свое удовольствие. Голубой Ангел превратился в ангела-хранителя для всех цветов,

которые так любил Моне»[254].

Наступил 1940 год. Грохот пушек, вой немецких пикирующих бомбардировщиков, оккупация… Бланш пришлось покинуть Живерни. Вместе с Лили, Роже Тульгуа и их сыном Жан Мари она укрылась в Эксан-Провансе. Но ненадолго. Как только прекратились военные действия, она вернулась в деревню. Снова распахнула зеленые ставни. И не сдержала вздоха облегчения. Разрушения оказались минимальными.

Оставалось пережить годы оккупации, но главное — любым путем воспрепятствовать возможной реквизиции дома.

«Через посредничество нашего зятя Альбера Салеру[255], который в те годы занимал пост мэра Живерни, она обратилась в Министерство изобразительных искусств, — рассказывает Жан Пьер Ошеде[256]. — Полученный ответ немного ее успокоил. Были предприняты необходимые меры, в частности, направлено письмо графу Меттерниху, возглавлявшему комиссию по охране произведений искусства во Франции. Тем не менее спустя некоторое время вновь возникла опасность реквизиции, на сей раз со стороны немецкой армии. Сестра снова, теперь самостоятельно, обратилась в министерство, которое добилось от немецких властей специального ордера для дома в Живерни. Согласно этому документу ни один оккупант не имел права переступать его порога. Ордер висел на калитке, выходившей на улицу, и, надо сказать, никто никогда не пытался его нарушить».

Тем не менее в 1944 году однажды вечером возле решетки сада остановились двое немецких офицеров. Нет-нет, они не несли с собой никаких угроз. Просто попросили разрешения осмотреть «дом великого художника». Бланш разрешила. Как выяснилось, офицеры приехали из Ларош-Гюийона, местечка, расположенного в нескольких километрах от Живерни, выше по течению реки, в котором фельдмаршал Роммель устроил свой командный пункт. Одного из них звали Фридрих Руге, он был адмирал, второго — Ганс Шпайдель, он был начальником штаба армии Роммеля.

Руге оставил об этом посещении воспоминания[257]: «Дом художника Моне стоит посреди восхитительного сада, утопающего в цветах. Следит за ними пожилая дама, падчерица живописца. Картины с изображением ирисов и нимфей производят очень сильное впечатление…»

Итак, розовый дом избежал участи быть ограбленным. Зная о методах некоторых высокопоставленных офицеров рейха, мечтавших задешево собрать собственные богатые коллекции, это можно считать редкой удачей. В доказательство своих слов приведем текст заметки, появившейся в газете «Спектатер» 27

апреля 1948 года: «Британскими властями обнаружено около 50 художественных полотен, украденных во Франции Риббентропом. Картины нашлись в замке Юлианика и в здании Министерства иностранных дел. Среди них — картины Мане, Курбе, Моне и других мастеров. В настоящее время они переданы под попечительство французской миссии в музее Гамбурга и в ближайшее время будут возвращены законным владельцам».

Но розовый дом все же пострадал — от английских снарядов, рвавшихся над отступавшей немецкой армией.

«Но и в этом случае ущерб оказался намного меньше возможного, — отмечает Жан Пьер Ошеде[258]. — В несколько картин попали осколки, рухнула теплица, разбились стекла витражей в большой мастерской и пострадал паркетный пол. Кроме того, по всему дому обнаружились многочисленные мелкие повреждения».

Утром 8 декабря 1947 года Голубой Ангел, любимая приемная дочь, спутница последних лет жизни мастера, не проснулась. Она находилась тогда в Ницце, и ее тело перенесли в семейную усыпальницу в Живерни, где Моне поджидал ее вот уже 20 лет…

Заботу о поддержании порядка в доме «папы Моне» пришлось взять на себя Жан Пьеру Ошеде, который к этому времени превратился в сухонького семидесятилетнего старичка. Тогда он смог наконец заняться своими мемуарами, которые вышли в двух томах в женевском издательстве «Пьер Кайе» за несколько месяцев до его смерти. Автор назвал их «Незнакомый Клод Моне». Жан Пьер Ошеде — вероятно, приходившийся Клоду родным сыном, на что сам он довольно прозрачно намекал, — скончался в Живерни, в своем «Синем доме», 27 мая 1961 года. Если читатель забыл, напомним ему, что родился он в 1877 году, в поезде, на всех парах мчавшемся к Биаррицу.

Жермена, супруга Альбера Салеру, оставалась последней из детей Алисы и Эрнеста Ошеде. Она родилась в замке Монжерон в 1873 году, а умерла 25 ноября 1968 года в Живерни, на небольшой вилле «Зяблики», расположенной на улице Клода Моне. Ее дочь Симона, родившаяся в 1903 году, вышла замуж за г-на Пиге и произвела на свет 12 детей, один из которых, Филипп, написал замечательную книгу о Моне — отчиме своей бабушки.

За два года до смерти Жермены ушел из жизни и Мишель Моне.

Когда-то Клемансо говорил о нем:

— С этими машинами он свернет себе шею!

Пророчество Клемансо сбылось.

В четверг 3 февраля 1966 года, возвращаясь из Живерни на своем роскошном автомобиле, Мишель врезался в грузовик. Спешил он в Сорель-Муссель, а в Живерни приезжал, чтобы поговорить с садовником Бленом и его женой, исполнявшей в имении обязанности сторожихи. Этим славным людям он полностью доверял. Заглянул он и на кладбище при церкви Святой Радегонды, постоял перед могилой отца, в которой теперь покоился и прах его любимой Габриэль, умершей двумя годами раньше. И вот он ехал по мосту в Верноне, по левой стороне… Впрочем, приведем лучше сообщение газеты «Демократ вернонне»[259]: «В нынешний четверг, в 15 часов 45 минут, автомобиль, сделанный „по особому заказу“ и принадлежащий Мишелю Моне, восьмидесятивосьмилетнему господину, не имеющему определенной профессии, съезжал с восточного конца моста Клемансо, намереваясь повернуть на бульвар Маршала Леклерка, в направлении к Руану, когда на него налетел грузовик, за рулем которого сидел Реймон Бруа, двадцатисемилетний житель Марей-Марли, работающий в фирме Лежандра, в Сартрувиле, двигавшийся по шоссе из Парижа в Руан.

После столкновения грузовик остановился у левого тротуара, тогда как машина г-на Моне продолжала движение. Она задела стоявшую на стоянке другую машину, после чего врезалась в парапет, ограждающий берег Сены.

Г-н Моне был извлечен из автомобиля в бессознательном состоянии бригадой пожарных и доставлен в больницу, где скончался в тот же вечер».

— Мы сделали все от нас зависящее, — рассказала Жизель Руа-Берри, работавшая в те годы анестезиологом в вер-нонской больнице. Но его грудная клетка была полностью раздавлена… Он даже не пришел в сознание…

Мишель встретил смерть в двух шагах от великолепного дома Пантиевра — того самого, который его отец, мечтавший уехать из Пуасси, хотел в 1883 году снять для семьи[260]. Похоронен Мишель Моне в семейной усыпальнице.

За год до кончины он передал в дар отделению социальной работы в Живерни пять миллионов франков (старых). В мае 1964 года он подарил музею Вернона картину «Закат солнца на скалах в Пурвиле». В этом же музее с 1925 года хранятся небольшой медальон, подаренный ему отцом, а также несколько картин с изображением нимфей. Так что туристам имеет прямой смысл сделать небольшой крюк и заехать в Вернон!

Мишель Моне умер, не оставив наследников. 4 марта 1964 года в Сорель-Мусселе он написал завещание, в котором

говорится: «Законным распорядителем всей моей собственности назначаю парижский музей Мармоттана».

На самом деле музеем Мармоттана называют Академию изящных искусств[261]. Воображаем, какая суматоха началась вокруг Живерни, когда после смерти Мишеля был вскрыт пакет с его завещанием! Члены академии, судебные исполнители, нотариусы, жандармы, друзья, друзья друзей… Все хотели попасть сюда, все хотели увидеть происходящее в доме своими глазами! Набежала целая толпа! И никто из прибывших не обманулся в своих ожиданиях. Действительно, их ждало немало открытий. Около 120 картин! Из них 80 принадлежало кисти самого Моне, включая неоконченные, но не менее ценные. Остальные 40 составляли личную коллекцию старого мастера: Ренуар, Берта Моризо, Буден, Йонкинд, Синьяк, Кайбот, Сислей, Мане… Наследство оценили в 70 миллионов франков[262]. Нетрудно предположить, что на аукционах эта цифра выросла во много раз.

Академия срочно сделала ремонт в музее Мармоттана и подготовила залы для экспозиции коллекции из Живерни. Выставка прошла под названием «Моне и его друзья». Разумеется, вступая во владение наследством, академия тем самым брала на себя обязательство содержать розовый дом и окружающий его сад.

Вот тут-то и начались осложнения.

Весной 1973 года, с превеликим трудом раздобыв у хранителя музея Мармоттана Жака Карлю и постоянного секретаря Академии изящных искусств Эмманюэля Бондевиля разрешение на посещение розового дома, автор этой книги в указанный день и час стоял перед зеленой садовой решеткой.

Сторож и садовник Эжен Блен смерил меня взглядом инквизитора. Рядом с ним стояла огромных размеров собака — помесь немецкой и бельгийской овчарок, всем своим видом дававшая понять, что шутить она не намерена. Впоследствии я узнал, что эта псина, которую звали Ванда, совсем не такая злобная, как казалось. Пока же я протянул сквозь прутья решетки свой пропуск.

— Ну ладно уж, заходите…

Но в голосе и глазах сторожа я заметил не только подозрительность. Гораздо больше меня смутил мелькнувший в них… страх?

— Эй, вы! Только никаких фотографий!

— Мне очень жаль, месье, но в письмах, подписанных господами Карлю и Бондевилем, — вот они, у меня в кармане, — ни слова не говорится о том, что мне запрещено производить в

помещении фотосъемку…

— Ну ладно…

Обходя комнаты — не скажу, что легким шагом, ибо по пятам за мной следовала Ванда, ежеминутно напоминая, что я здесь нежеланный гость, — я понял, почему визит в дом Моне был связан с такими сложностями.

Какое запустение! Какое уныние! Сад? В полном упадке. Я вспомнил, что у Моне работали семь садовников! Ясное дело, бедняга Эжен Блен и его немолодая жена Маргарита делали что могли, но они же были не чудотворцы!

— Что вы хотите, уважаемый, у меня же не десять рук…

Мастерская заставила меня содрогнуться. В углах какие-то пустые рамы, похожие на скелеты, какие-то драные, грязные холсты, словно скомканные саваны… На полу вода — недавно прошел дождь. Большой диван весь в пятнах, засыпанный каким-то мусором, чуть ли не птичьим пометом… Бедный Моне!

Теперь-то я понял, почему хранитель музея Мармоттана написал мне в своем письме: «Должен ли я добавить к сказанному, что Мишель Моне не оставил никаких распоряжений относительно поддержания порядка в доме и содержания музея? Это простая констатация факта, ибо упрекать его в этом было бы слишком большой бестактностью. Равно как и высказывать критические замечания в адрес Академии изящных искусств, так и не сумевшей разрешить все проблемы, связанные с этим замечательным наследством».

А потом случилось чудо!

И совершил его «бог из машины» по имени Джеральд Ван дер Кемп.

Этот человек уже спас Версаль. Теперь он решил, что пришла пора спасать Живерни. В 1977 году он получил назначение на должность хранителя дома-музея Моне и немедленно принялся за дело. Как и при реставрации жилища короля-солнце, прежде всего требовалось найти «нервы войны» — деньги.

— У нас очень мало франков, — сообщили ему в академии.

— Это не имеет значения, — ответила супруга Джеральда — Флоранс Ван дер Кемп. — Мы найдем доллары!

Американка по происхождению, именно она сумела найти за океаном финансовые источники, позволившие спасти Версаль. Почему бы не повторить этот опыт и в отношении Живерни? Всего-то и надо, что убедить вашингтонских политиков, что суммы, перечисленные на восстановление цитадели импрессионизма во Франции, в деревушке на берегу Эпты, от лица благодетельных янки, будут автоматически вычитаться из налогооблагаемого дохода.

Как-то раз, в 1978 году, Джеральд Ван дер Кемп остановился, пораженный, перед входом в нью-йоркский Метрополитен-музей. Сколько же здесь цветов! Повсюду цветы! Море цветов! Он навел справки. Оказалось, что дважды в неделю некая дама, поклонница не только живописи, но и цветов, фрахтует специальный самолет, который и доставляет ей из Голландии свежесрезанные букеты. Фантастика!

Ван дер Кемп узнал, что даму зовут миссис Эйчизон Уоллис. Он встретился с ней. Она показала ему три хранящиеся у нее работы Моне.

— Она знала о Живерни! — улыбаясь, рассказывал Джеральд Ван дер Кемп. — А я могу назвать вам немало французов, которые путают Живерни с Шеверни!

Прошло несколько дней, и миссис Уоллис, совершенно очарованная замыслами хранителя, велела своему адвокату выписать чек на миллион долларов. Деньги предназначались для спасения дома того самого человека, который привлек во Францию, на берега Сены, множество американских художников.

Между тем чудеса продолжались. Бывший посол США в Лондоне Уолтер Х. Анненберг узнал, что между садом и прудом проходит скоростное шоссе, и предложил 200 тысяч долларов на сооружение подземного туннеля. Фантастика!

В подобных обстоятельствах генеральному совету департамента Эры, хочешь не хочешь, пришлось сделать широкий жест. И он его сделал. Оплатил наем на работу трех садовников.

Семейство Давид-Вейль, также с французской стороны, предложило за свой счет отреставрировать мебель, сильно пострадавшую от сырости и жучка-древоточца.

Занялись садом. Жан Мари Тульгуа, сын Лили и правнук Алисы и Эрнеста, провел поистине научные изыскания (дополненные воспоминаниями) и восстановил весь перечень цветов, которые любил Моне. Удалось даже определить, где какие виды росли раньше.

— Приведенное в должный порядок, — не скрывая счастья, говорил Джеральд Ван дер Кемп, — имение в Живерни представляет собой уникальное место. Если в Овер-на-Уазе, где жил Ван Гог, изменилось буквально все, то здесь, на берегах Эпты, сохраняется та же атмосфера подлинности, какая царит, например, в доме Рубенса в Бельгии, в доме Франца Хальса в Голландии или в доме Дюрера в Германии.

Теперь уже не приходится удивляться, что дом-музей в Живерни — наряду с Мон-Сен-Мишелем — планируется внести в список «главных достопримечательностей Франции».

Оба сына Клода и Камиллы — и Жан, и Мишель — умерли, не оставив наследников. Не обзавелся детьми и Жан Пьер Ошеде — вероятный отпрыск художника.

Но это не значит, что носителей крови Моне на свете не осталось. У брата Моне Леона, умершего в Маромме в 1917 году, была дочь Луиза. В свое время она вышла замуж за доктора Лефебра, и их потомки имеют сегодня полное моральное право считать творчество своего великого двоюродного деда семейной собственностью. И они горячо и искренне радовались воскрешению сада в Живерни.

Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули еще об одном воскрешении — воскрешении Жана Моне! Признаемся, что это очень странная история, но мы ее все же приводим.

2 декабря 1980 года в комиссариат полиции Нанта пришел сильно взволнованный человек — владелец книжного магазина с площади Биржи.

— Господин Жан пропал!

— Какой еще Жан?

— Жан Моне, внук художника! Я ему передал сорок пять тысяч франков, он обещал поместить их в банк, и вот… Его нигде нет! Господин комиссар, это похищение! На него напали! Такой прекрасный человек! Талантливый! Не хуже деда!

— Похищение? А может, он просто сбежал? Или покончил с собой?

— Да нет же, господин комиссар, не мог он покончить с собой! Если бы вы знали, как ему нравилось жить у нас!

И книготорговец поведал всю историю с самого начала. Жан Моне прибыл в Нант в ноябре 1976 года. С густой белой бородой и улыбкой, чуть насмешливой, он выглядел очень симпатичным.

— Мы сразу приняли его в семью. А дети и вовсе признали в нем дедушку! Образ жизни он вел очень спокойный. Писал картины, ходил на рыбалку, иногда помогал мне в магазине. Мы ему полностью доверяли. Да вот вам доказательство — у него были ключи от дома! Он часто заполнял чеки и относил их в банк. И суммы бывали немаленькие — больше, чем в этот раз, когда он пропал. Я просто не знаю, что и думать! Жан Моне много рассказывал нам о своем деде, правда, своего прошлого почти не касался. Мы только знали, что до приезда в Нант он жил в Германии. А больше мне и вспомнить о нем нечего. Да меня это и не интересовало. Ах да, он говорил, что у него хранится 26 картин покойного деда — в надежном месте, в сейфе, в Париже. Нет-нет, он никогда их мне не показывал. Он даже был членом

жюри «Биеннале Рикар», ну, знаете, это конкурс художников-любителей… Он утверждал, что родился в Париже, на улице Лепик, 31 декабря 1895 или 1 января 1896 года. Он собирался купить ресторан «Сирена» здесь, в Нанте, на улице Бон-Секур, и мечтал, что полностью его переоборудует в духе этих заведений на Монмартре… Как раз на сегодня у него назначена встреча с нотариусом… Ну да, на 2 декабря…

Что ж, судя по всему, под прекрасной белой бородой «а-ля Моне» скрывался обычный мошенник.

Тем не менее удивления достойно то, что на протяжении целых четырех лет ему удавалось морочить голову многим жителям Нанта, и далеко не самым глупым. На фотоснимках, опубликованных после его исчезновения в газете «Пресс осеан», мы видим его в обществе заместителей мэра Нанта, которые внимательно его слушают. А он улыбается чуть насмешливо…

Он рассказывал, что в юности провел 15 прекрасных лет рядом с Пикассо. Он даже утверждал, что удостоен премии Римской академии! Очевидно, достигнув в своем обмане предела, он предпочел исчезнуть, пока его не разоблачили. 5 мая 1983 года исправительный суд Нанта приговорил его — заочно, поскольку отыскать его так и не смогли! — к четырем годам тюрьмы. За присвоение чужой личности и кражу крупной суммы денег.

Лжемоне арестовали 25 апреля 1986 года в Реймсе. 29 мая суд подтвердил первоначально вынесенный вердикт: четыре года заключения, из них два — в тюрьме строгого режима.

Человек, называвший себя Жаном Моне, обладал несомненным даром рисовальщика. Особенно ему удавались портреты. Ну как не вспомнить тут Клода — в те поры, когда его еще звали Оскаром? Когда любители рвали друг у друга из рук его карикатуры, продававшиеся в лавке гаврского торговца писчебумажным товаром, а сам он мечтал об одном — уехать в Париж?

— Я не дам тебе ни гроша! — сказал ему отец.

— Ну и не надо!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Графологический анализ почерка Моне

— Что за удивительный почерк! — воскликнул Андре Кастело, которому я показал однажды несколько рукописных строк, оставленных мастером из Живерни.

На следующий день я уже явился пред очи Элен Бежо, давным-давно постигшей все тайны графологии.

С собой я принес несколько документов, написанных рукой Моне в разные годы его жизни, вплоть до старости, потрудившись предварительно тщательно прикрыть адрес (Живерни, близ Вернона, Эра) и подпись. Кроме того, содержание писем не давало ни малейшего намека на личность их автора, которая оставалась для графолога полной загадкой. Правда, я сообщил, что речь идет о человеке, жившем в XIX–XX веках.

Прошло еще несколько дней, и Элен Бежо принесла мне результат проведенного ею исследования. Ознакомившись с текстом ее отчета, я едва не потерял дар речи. И потому не могу отказать себе в удовольствии привести его здесь полностью. Итак:

«Страстность и склонность к размышлению, обостренная чувствительность, высокая эмоциональность, тонкая одухотворенность и любовь к природе неопровержимо свидетельствуют, что перед нами личность исключительная, самые противоречия которой служат к ее внутреннему обогащению».

И это только введение! Но вот и продолжение:

«Автор рукописей наделен всепобеждающей жизненной силой и чрезвычайно мощной волей, что помогает ему обуздывать собственный взрывной темперамент и ранимый характер. Потребность активных действий служит ему гарантом равновесия, самоутверждения и независимости, которую он ценит весьма высоко. Обладая мужеством, энергией и упорством в достижении поставленных целей, он готов во всем идти до конца, вести постоянный поиск новых возможностей и путей, позволяющих ему вырваться из-под влияния традиций, прошлого, собственного детства…

Порыв к свободе и стремление к нонконформизму могут стать основой гуманистического мировоззрения и источником творческой оригинальности, составив смысл жизни этого человека. Горячий темперамент побуждает его со страстью отдаваться замыслам, диктуемым его способностями. Он вполне

способен на отважные поступки. Стоящая впереди цель и средства, необходимые для ее достижения, будут постоянно напоминать ему о себе.

Качествами, способствующими укреплению динамизма и готовности к преодолению трудностей, являются его выраженное самолюбие и стремление к личному успеху.

Это свободолюбивый человек. Он любит простор и дикую природу. Он хочет, чтобы его жизнь протекала в мире, не ограниченном мертвящими рамками условностей.

Интеллект его носит прагматический характер, он нацелен в будущее. Его отличают широта взглядов, оригинальный склад гибкого ума, склонного к синтетическому мышлению и открытого любому новому знанию. Он наделен богатым и плодотворным воображением — признаком творческой одаренности, умеющей подняться выше простого восприятия.

Тонкое чутье, свидетельствующее о внутренней глубине, позволяет ему особенно остро и эмоционально воспринимать зрительные ощущения. Вместе с тем он обладает способностью к передаче своих ощущений в поэтической или изобразительной форме, преломляя их сквозь призму собственного воображения. Он должен испытывать потребность близкого общения с природой и чувствовать ее глубокую гармонию.

Это эпикуреец, одержимый любовью к прекрасному. Ему свойственно стремление к абсолюту, к подлинности, способствующее формированию ярко выраженного чувства справедливости и идеала добра, которое в его сознании неотделимо от идеала красоты.

Под внешней маской „немного рассеянного жизнелюба“ скрывается человек, способный на глубокое чувство. Он прячет от окружающих свое мягкосердечие, словно бы загоняет его внутрь — из стыдливости, гордыни или осторожности.

Обладая цельным характером, он отдается собственным переживаниям — любви, стремлению нравиться или презрению — с ясно сознаваемым чувством превосходства над окружающими.

Он нетерпелив, легко загорается и способен столкнуть со своего пути людей менее решительных. Его нельзя назвать легким в общении человеком.

К старости его отношения с другими людьми становятся более неровными. Ему лучше удается контролировать свои порывы, но любопытство к окружающим ослабевает, а потребность в уединении возрастает. Воинственная энергия, служившая выходом его внутренней тревожности, с возрастом теряет накал, и он проявляет все больше склонности к вдумчивому размышлению. В нем усиливается склонность к

удержанию своих эмоций в себе. Все его силы уходят на созидательное творчество, по-прежнему имеющее для него первостепенное значение. Он до последнего дня будет вести борьбу за свой идеал, постоянно сомневаясь в возможности его достичь».

Ну разве не удивительно?

«Красота — всего лишь обещание счастья», — добавила к своему комментарию исследовательница почерка Моне.

Авторская благодарность, источники и библиография

На самом деле автор вот уже два десятка лет «живет» с Клодом Моне. В начале 1970-х годов, когда я готовил несколько статей для небольшой газеты, выходившей в Нормандии, меня осенила одна мысль. И я сделал своему редактору предложение:

— Хотите, я напишу пару материалов о доме в Живерни?

— Отличная идея! Даю вам зеленый свет!

Но почему Живерни? Да просто потому, что моя «Жирондистка» — так я называю свой домишко, в котором живу и работаю, — расположена почти точно напротив большого розового дома с зелеными ставнями, только мой дом — на левом берегу Сены, а тот — на правом.

И иногда по вечерам — это чистая правда, можете мне верить! — когда ветер дует с востока, из сада Моне летят ароматы, добираясь до моего письменного стола!

И вот я приготовил блокнот, зарядил диктофон новыми батарейками и с легким сердцем отправился на охоту за свидетельствами очевидцев. Дело в том, что я любил Моне и дружил с семьей Жан Мари Тульгуа — сына Лили Батлер и правнука Алисы и Эрнеста. Благодаря ему и его жене Клер Жуа — особе столь же очаровательной, сколь и эрудированной, — я и смог потихоньку начать «поднимать» эту «целину». Внук Жермены Ошеде Филипп Пиге проявил большую любезность, раскрыв передо мной альбомы семейных фотографий и снабдив каждую из них собственным комментарием. Я горячо благодарен этим людям.

Потом я разыскал портних, прачек, садовников, кухарок, гладильщиц — тех из них, кто еще оставался в живых, разумеется, ибо, к несчастью, большинство этих людей успели уйти из жизни. Они не скупились на рассказы о «господине Моне», которого хорошо знали. Все их имена приведены в книге — я многим им обязан.

Я провел много времени в беседах с мэтром Раулем Тексье — нотариусом, возглавившим ту самую контору (а значит, и ее архив!), в которой Моне подписал акт дарения своих картин музею «Оранжери». Он даже позволил мне снять в его офисе небольшой документальный фильм для канала FR3, который получил название «Два друга». Под друзьями я подразумевал Моне и Клемансо. В этой короткометражке, отснятой по моему сценарию Франсуа Жиром, в одном из кадров появляется мэтр Тексье, позирующий на фоне рисунка углем, на котором он — тогда еще мальчик — изображен стоящим рядом с Клемансо. Сам рисунок в увеличенном масштабе был сделан с фотографии 1919 года, снятой в Вандее, на песчаном пляже близ Транш-сюр-Мер. Так что по всему выходит, что конторе мэтра Тексье самой судьбой было предназначено существовать под покровительством Отца Победы!

Я признателен своему другу Мишелю Ронсерелю, предоставившему в мое распоряжение ряд документов, сохранившихся у его отца — бывшего банкира вернонского отделения «Сосьете женераль».

Я также говорю спасибо:

скульптору из Живерни Даниелю Гупилю, в самом начале моих поисков снабдившему меня пространным библиографическим перечнем;

Роберу Тюффье, возглавляющему в Анделисе превосходную картинную галерею и являющемуся специалистом по творчеству Бланш Ошеде;

Анник, которая читала, перечитывала и, наверное, еще не раз будет перечитывать мои тексты и которая стоически терпела мои долгие бессонные ночи (белые, а не черные, ведь черное — это не цвет!), проведенные с тихой Камиллой, Алисой, Бланш, Сюзанной и многими другими персонами;

моему отцу, Орелии, Ингрид и Жан Себастьену, моему другу Патрику Левиллю (секретарю Союза писателей Нормандии), выступившим в роли прилежных читателей — и корректоров — рукописи;

Эрику Ле Набуру, также сотруднику картинной галереи, оказавшему мне большую поддержку;

Андре Кастело, моему другу и деревенскому соседу, перед которым я в неоплатном долгу. Именно он сподвигнул меня — 13 лет назад! — опубликовать мою первую книгу в издательстве «Перрен», в серии «Академической библиотеки», которой он руководит.

Составляя список книг, к которым я обращался во время работы над рукописью, — эти книги я горячо рекомендую

каждому, кто желает расширить свои познания в затронутой нами области, — я выстроил его в алфавитном порядке, по именам авторов.

Однако затем мне пришло в голову представить этот список «задом наперед», то есть в обратном порядке — по той простой причине, что это позволяет открыть его буквой W и тем самым первым представить человека, который этого заслуживает больше, чем кто-либо другой. Итак:

Wildenstein Daniel, de l'institut, qui a publié jusqu'à ce jour quatre superbes volumes (à la Bibliothèque des Arts) consacrés à la Biographie et au Catalogue raisonné de Claude Monet. Le premier a été édité en 1974, le quatrième en 1985. Le cinquième reste à paraître.

Walter Rodolphe, qu'il convient de saluer ici, car ce directeur de la fondation Wildenstein a accompli un véritable travail de bénédictin pour mener à bien la publication de ces quatre gros volumes. J'ai parfois eu l'occasion de collaborer avec lui. Rodolphe Walter est aussi l'auteur d'une biographie du docteur Rebière, de Bonnières, le dernier médecin de Monet.

Vollard Ambroise. Souvenirs d'un marchand de tableaux.

Trévise duc de. «Le pèlerinage de Giverny», Revue de l'art ancien et moderne, Paris, 1927.

Rewald John. Histoire de l'impressionnisme, Albin Michel, 1955.

Roger-Marx C. Monet, 1950.

Rouart Denis. Monet, Genève, 1958. Manet, Paris, 1960.

Ruge Friedrich. Rommel face au débarquement, Presses de la Cité, 1960.

Perruchot Henri. La Vie de Manet, Paris, 1959.

Piguet Philippe. Monet à Venise.

Poulain G. Bazille et ses amis, Paris, 1932.

Manet Julie. Journal 1893–1899, Paris, 1979.

Martet J. Clemenceau peint par lui-même, 1929. Le Tigre, 1930.

Mauclair Camille. Claude Monet, éd. Rieder, 1924.

Mirbeau Octave. La 628 EF8, 1908.

Montfort Eugène. Vingt-cinq ans de littérature française, éd. Librairie de France, 1925.

La Varende Jean de. En parcourant la Normandie, éd. Les Flots Bleus, Monaco 1953.

Léon Paul. Du Palais-Royal au Palais-Bourbon, Paris, 1927.

Joyes Claire. Monet at Giverny, Londres, 1975. Les Carnets de cuisine de Monet, Le Chêne, 1989.

Joyes Claire et Toulgouat J.-M. Claude Monet et Giverny, Le Chêne.

Hoschédé Jean-Pierre. Claude Monet ce mal connu (2 tomes), Genève, 1960.

Huysmans J. K. L'Art moderne, Paris, 1883.

Geffroy Gustave,_ de l'Académie Goncourt. Claude Monet, sa vie, son temps, son oeuvre, Éd. de Crès, 1922.

Gimpel René. Journal d'un collectionneur, marchand de tableaux, Paris, 1963.

Grappe G. Monet, Pion, 1941.

Guillaud Jacqueline. Maurice et leurs collaborateurs. Catalogue de l'exposition «Claude Monet au temps de Givemy», Centreculturel du Marais, 1983.

Guitry Sacha. Le Petit Carnet rouge, Perrin, 1979. A bâtons rompus, Perrin, 1981.

Fels Marthe de. La Vie de Claude Monet, Gallimard, 1929.

Fénéon Félix. Les Impressionnistes en 1886, Paris, 1886.

Elder Marc. A Givemy, chez Claude Monet, Paris, 1924.

Erlanger Philippe. Clemenceau, Perrin, 1979.

Daubervіlle Henry. La Bataille de l'impressionnisme, J. et H. Bemheim-Jeune éd., 1967.

Decker Michel de. Les Grandes Heures de la Normandie, Perrin, 1988.

Dufresne Claude. Yvonne Printemps, Perrin, 1988.

Duret T. Les Peintres impressionnistes, 1878, Paris.

Duroselle Jean-Baptiste, de l'institut. Clemenceau, Fayard, 1988.

Castelot André. L'Almanach de Clio, Perrin, 1985.

Clemenceau Georges. Claude Monet, les Nymphéas, Paris, 1928.

Conte Arthur. Le 1 janvier 1900, Pion, 1975.

Coquiot G. Renoir, 1925.

Crespelle Jean-Pau. La Vie quotidienne des impressionnistes, Hachette, 1981.

Beaurepaire François de. Les Noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, Picard, 1981.

Adhémar Hélène, maître d'œvre du catalogue Hommage à Claude Monet, Exposition du Grand-Palais, 1980.

Aitken Geneviève et Delafond Mariane. «La collection d'estampes japonaises de Claude Monet», Bibliothèque des Arts, 1983. Préface de Gerald Van der Kemp, de l'institut, conservateur du musée Monet à Giverny.

Anne Eugène. Quelques grands amis de la terre normande, Maugard, Rouen, 1942.

Ardouin-Dumazet J. Voyage en France. La Seine de Paris à la mer, Berger-Levrault, 1902.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

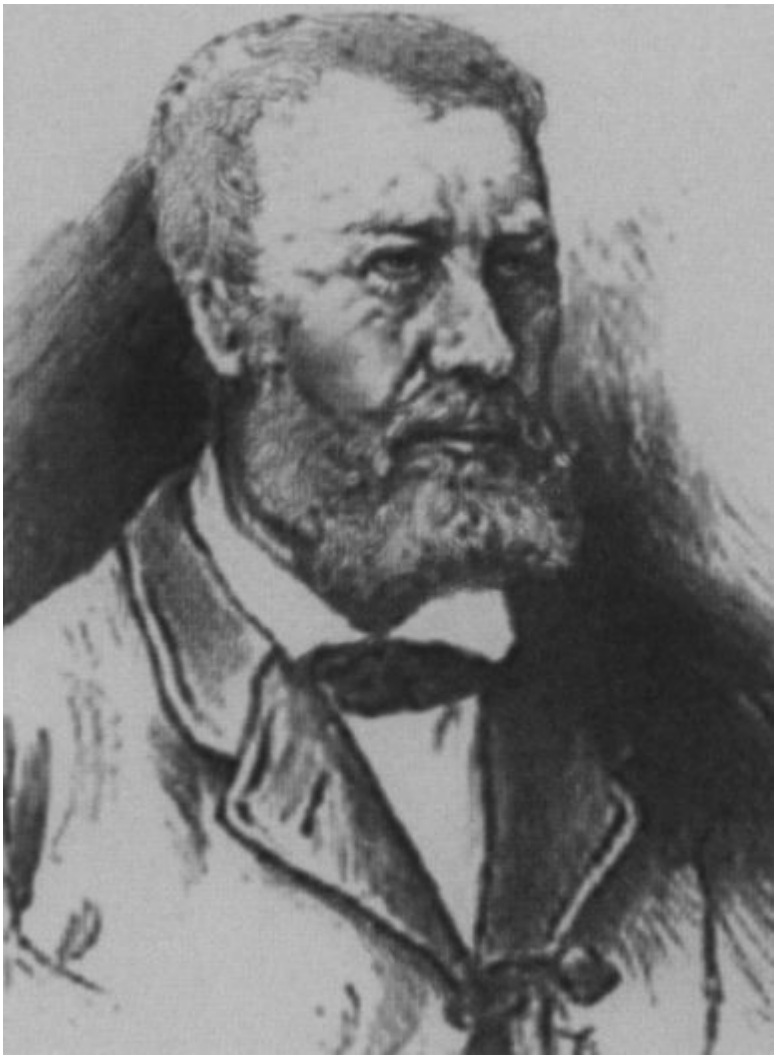
Клод Моне в молодости.

Карикатура на писателя Шанфлери (Ж. Ф. Ф. Юссона). Около 1858 г.

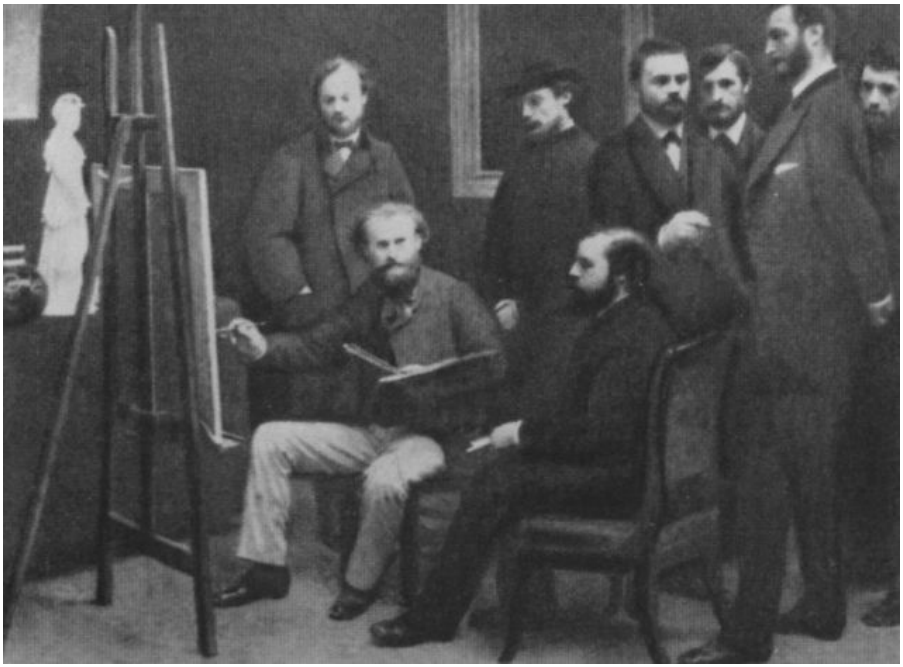
Карикатура на Р. Крутинелли. (Вероятно, изображен гаврский художник Кассинелли.) 1856–1858 гг.

Портрет Камиллы Моне. 1866–1867 гг.

Портрет Жана Моне. 1880 г.

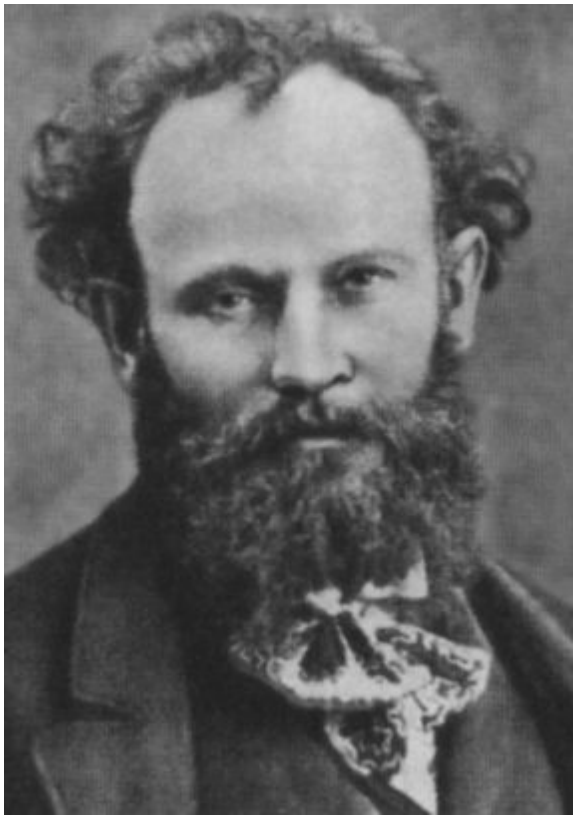


Йохан Бартольд Йонкинд.

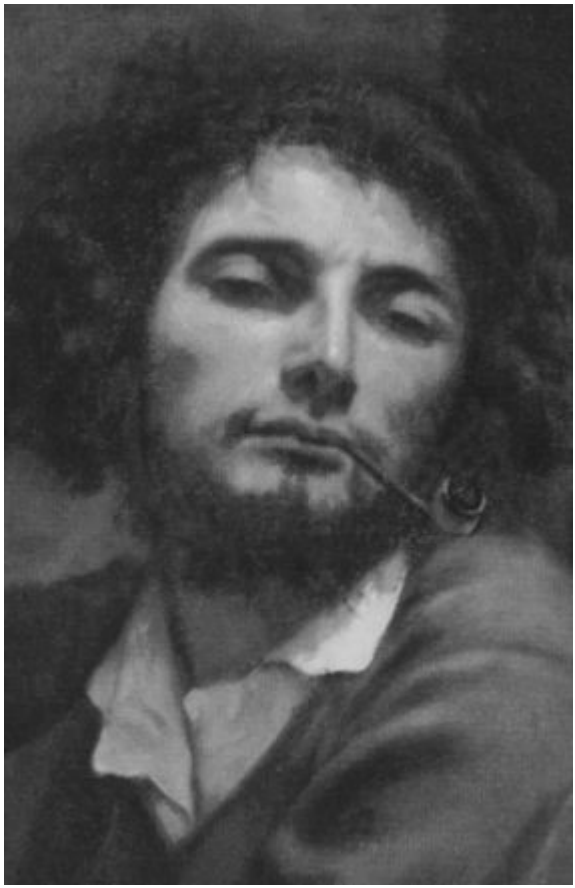


Мастерская в Батильоне. Перед мольбертом — Эдуар Мане, рядом в кресле — Закари Астрюк, стоят слева направо — Отто Шольдерер, Огюст Ренуар, Эмиль Золя, Эдмон Мэтр, Жан Фредерик Базиль, Клод Моне. Париж, 1870 г.

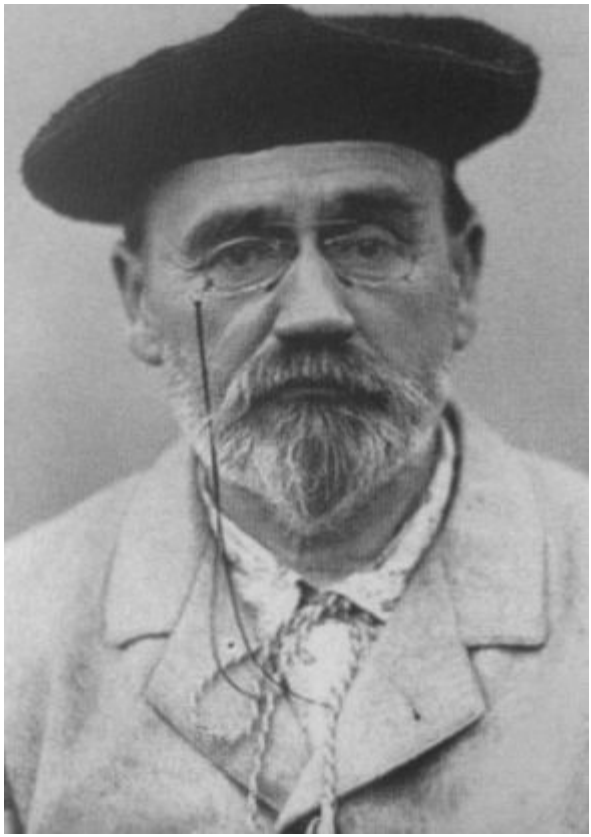
Жан Фредерик Базиль.



Эдуар Мане. Фотография Надара. 1867 г.

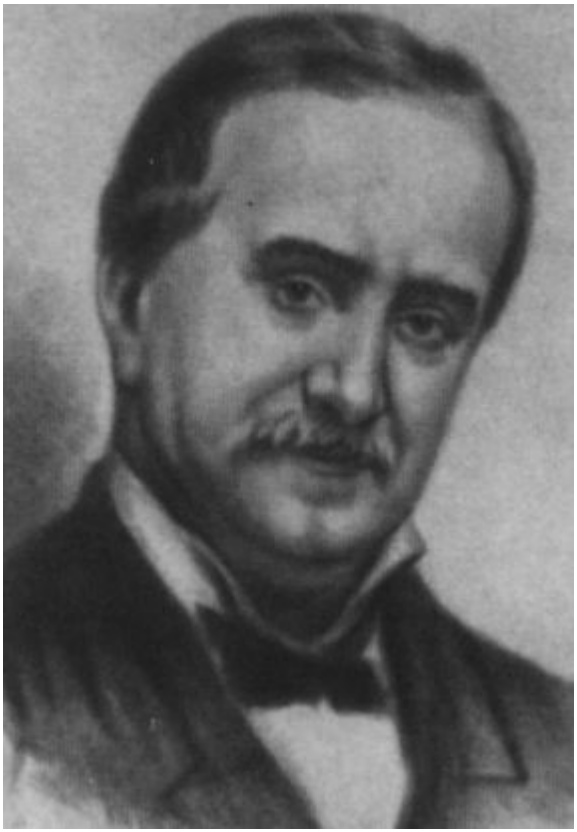


Гюстав Курбе.



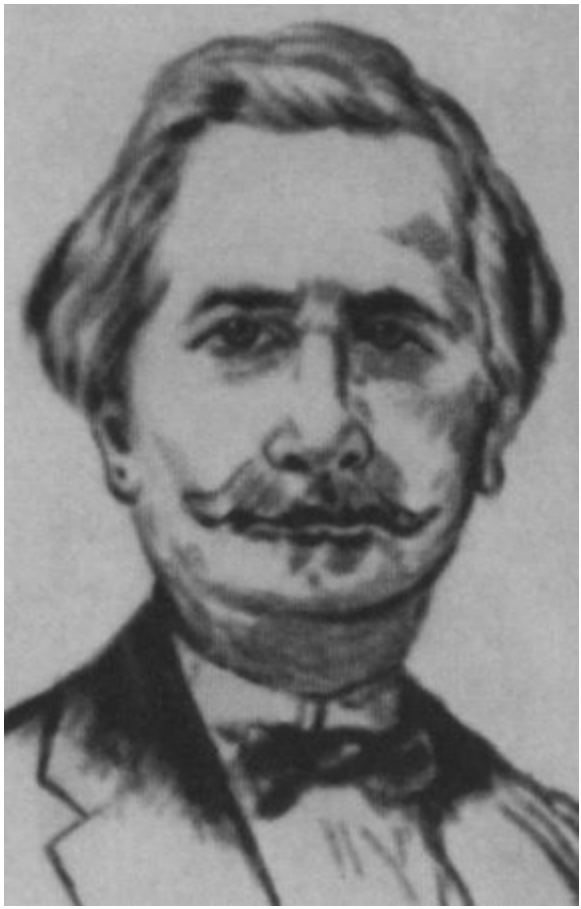
Эмиль Золя.

Эжен Буден.



Поль Дюран-Рюэль. Гравюра М. Дебутена.

Жорис Карл Гюисманс. Гравюра Ф. Демулена.

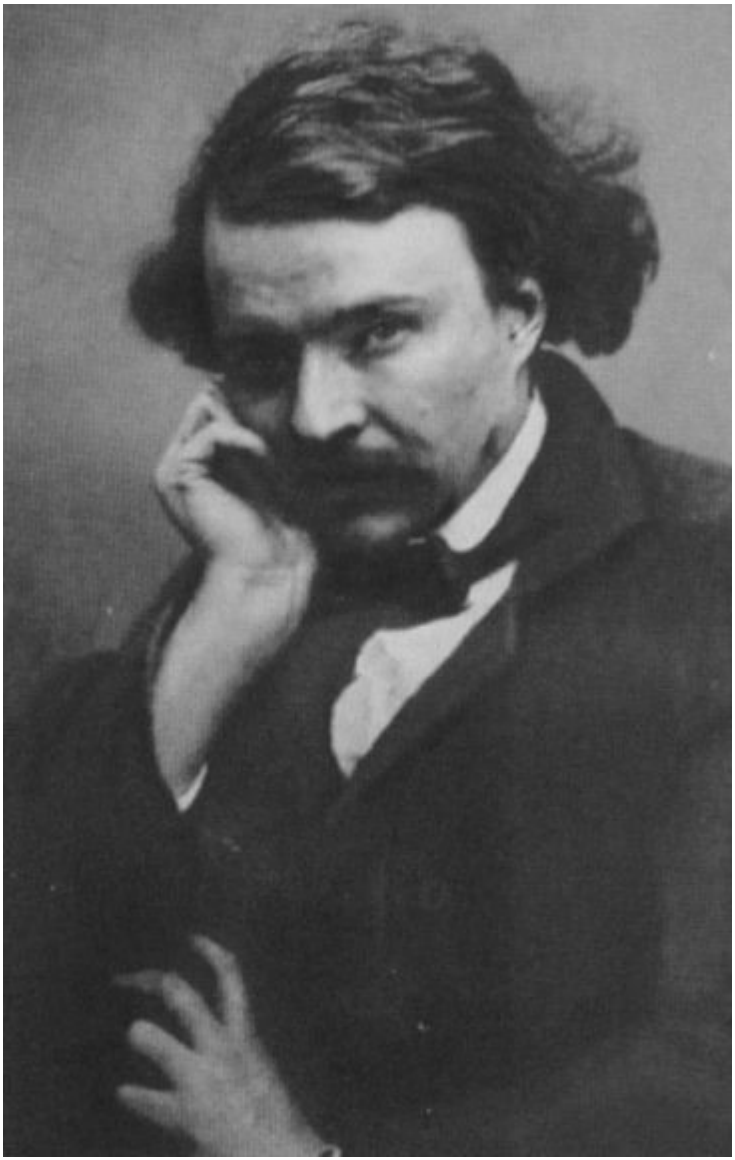


Эрнест Ошеде. Гравюра М. Дебутена.

Гюстав Жеффруа. Гравюра М. Бракмон.

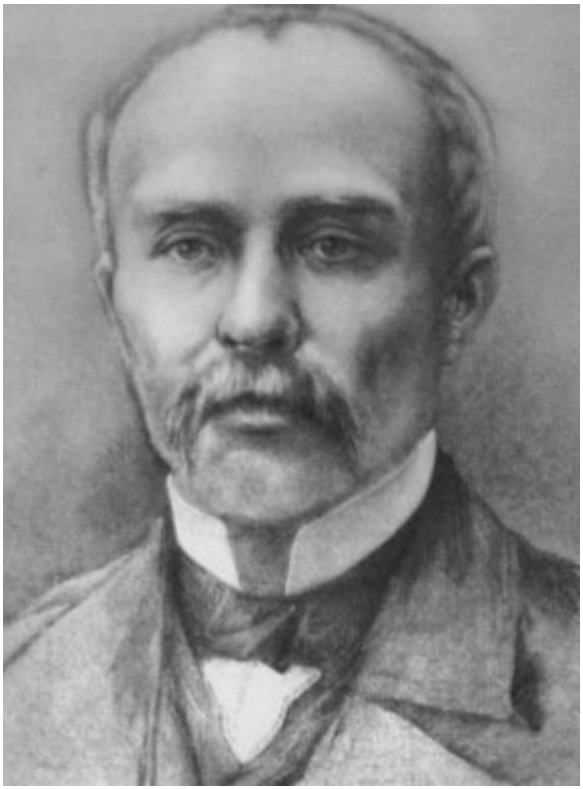
Карикатура Ж. Ренара «Визит к импрессионистам» на картины Кайбота, Моне, Писсарро, Ренуара и других художников-импрессионистов, выставлявших свои работы на Седьмом салоне в 1882 году.

Американец Т. Робинсон был одним из первых иностранных художников, посетивших Живерни. Таким он запечатлел Клода Моне.



Гаспар Феликс Турнашон, псевдоним Надар.

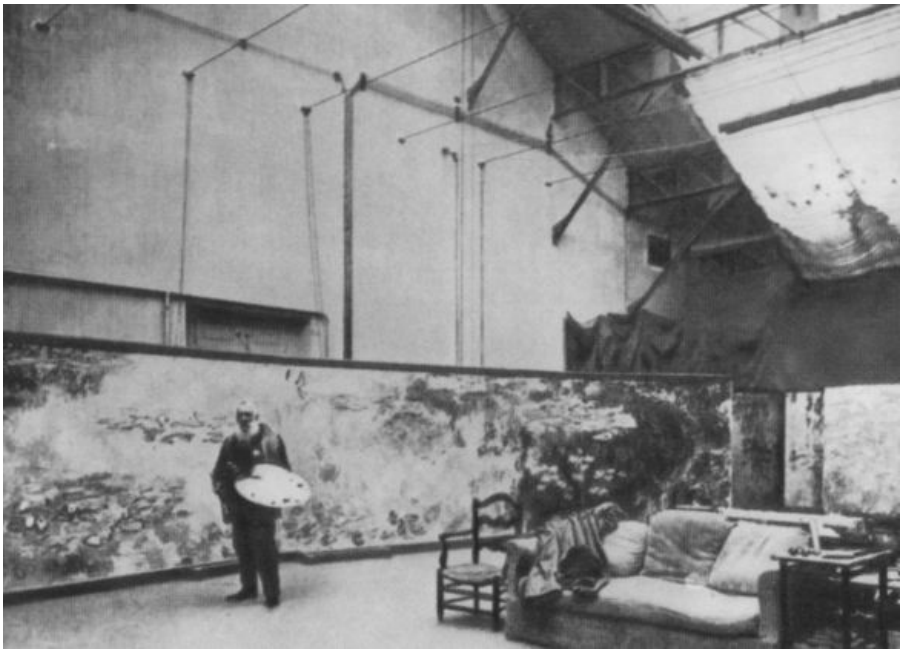
Дом Моне в Живерни.



Жорж Клемансо.

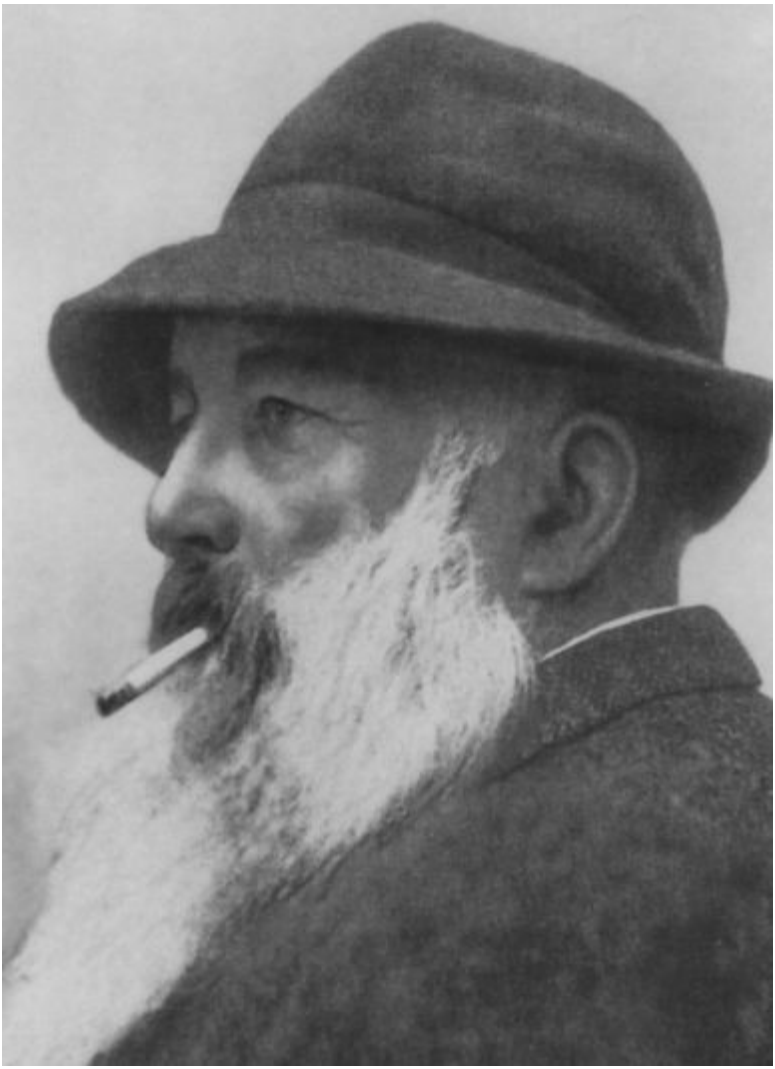
Моне и Саша Гитри.

К. Моне. Автопортрет в берете. 1886 г.



Моне в своей мастерской в Живерни. Около 1920 г.

Моне в своем саду в Живерни. Около 1920 г.



Клод Моне.

Моне на фоне пруда с кувшинками. 1920-е гг.

Моне в своей мастерской в Живерни. 1924 или 1925 г.

Моне в саду в Живерни незадолго до смерти. 1926 г.

Похороны Клода Моне. Крайний справа — Ж. Клемансо.

Камилла Донсье (Дама в зеленом). 1866 г.

Женщины в саду. 1866 г.

Лягушатник. 1869 г.

Мельница в Заандаме. 1871 г.

Гайд-парк. 1871 г.

Впечатление. Восход солнца. 1872 г.

Лондонский парламент. 1871 г.

Поле маков. 1873 г.

Сирень на солнце. 1873 г.

Лодка-мастерская в Аржантее. 1873 г.

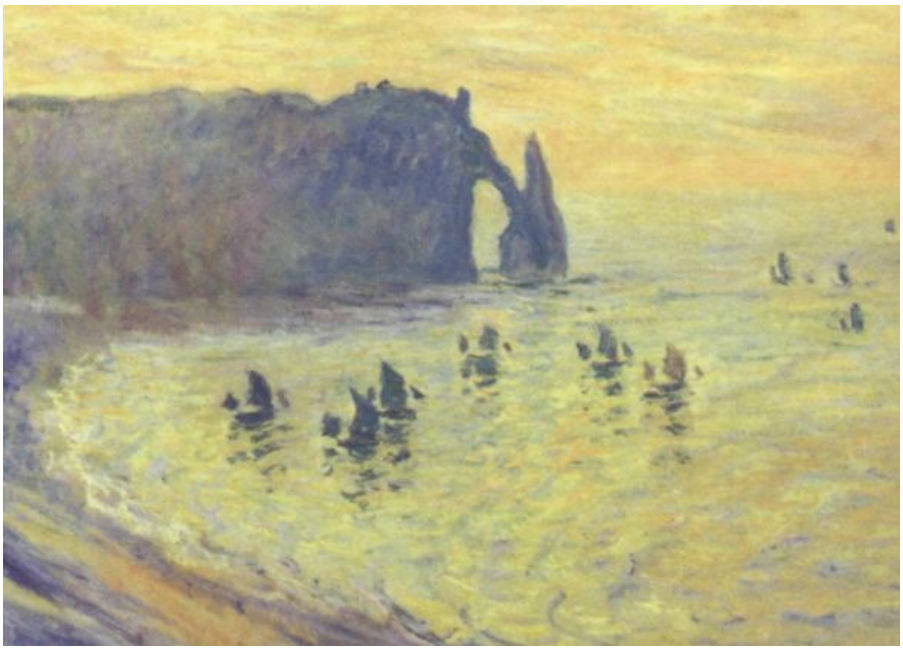
Камилла Моне на смертном одре. 1879 г.

Ветей летом. 1879 г.

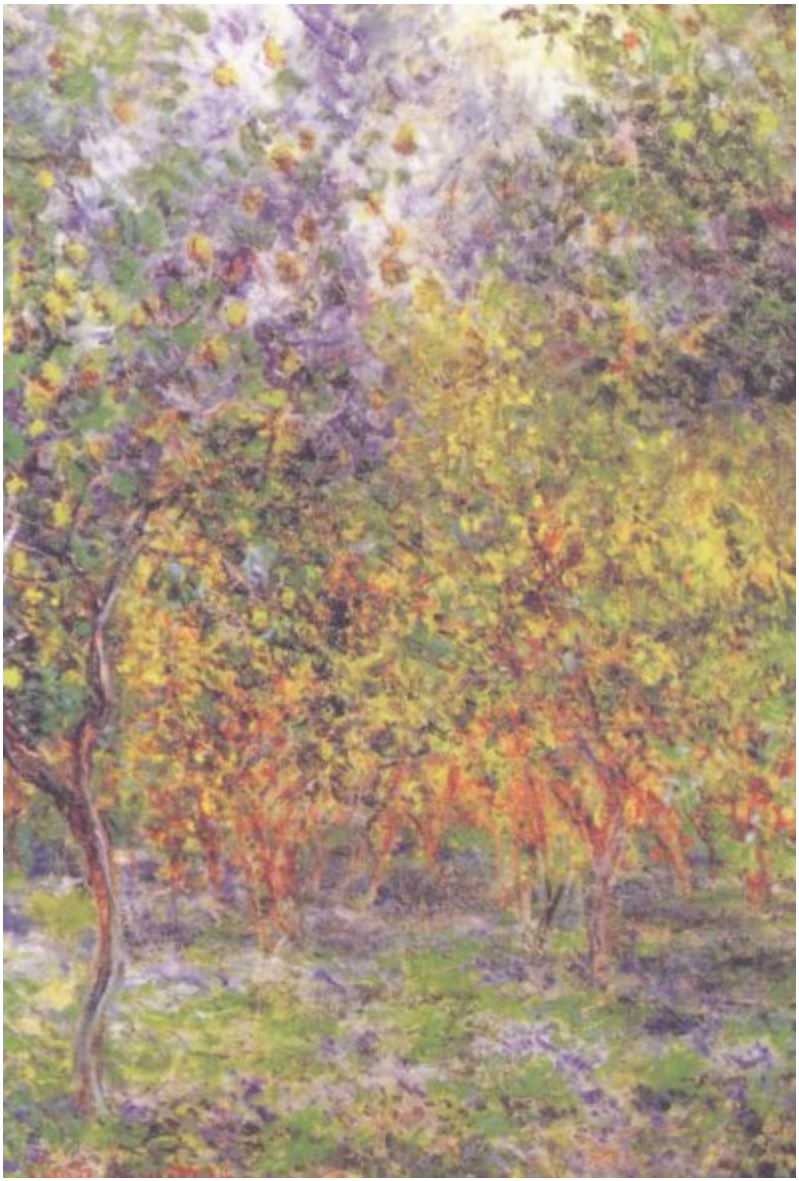
Ветей зимой. 1879 г.

Ваза с цветами. 1880 г.

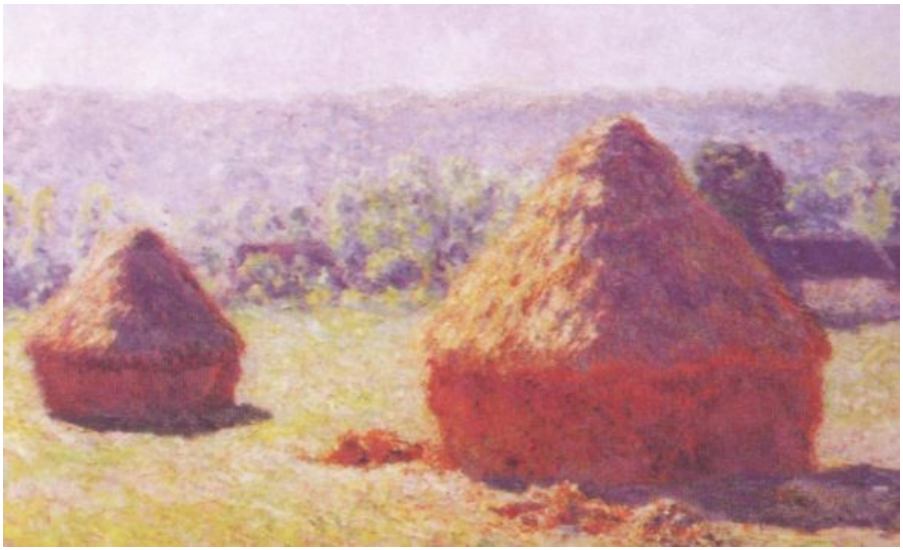
Скалы в Бель-Иле. 1886 г.



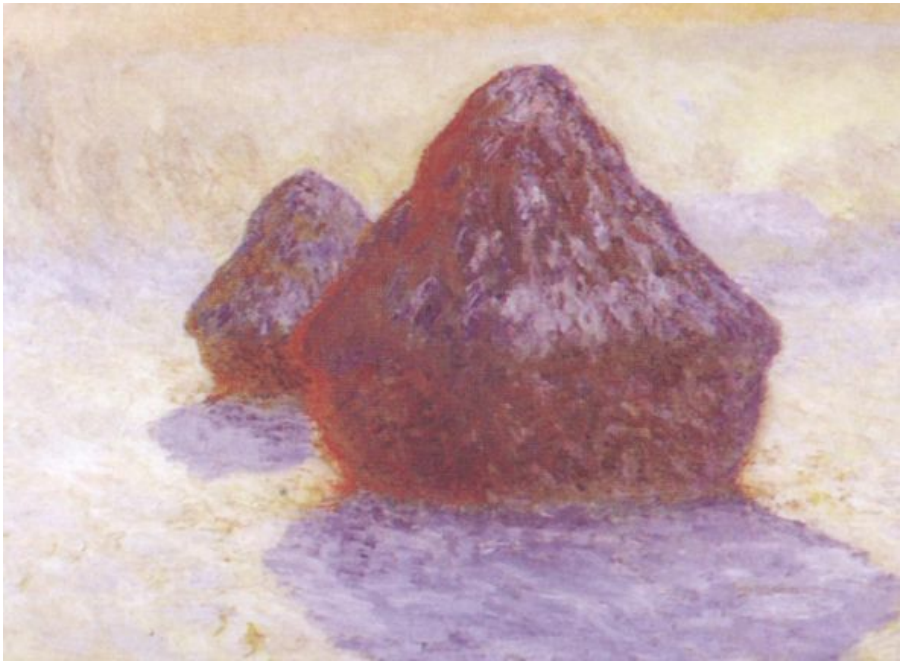
Скалы в Этрета. 1886 г.



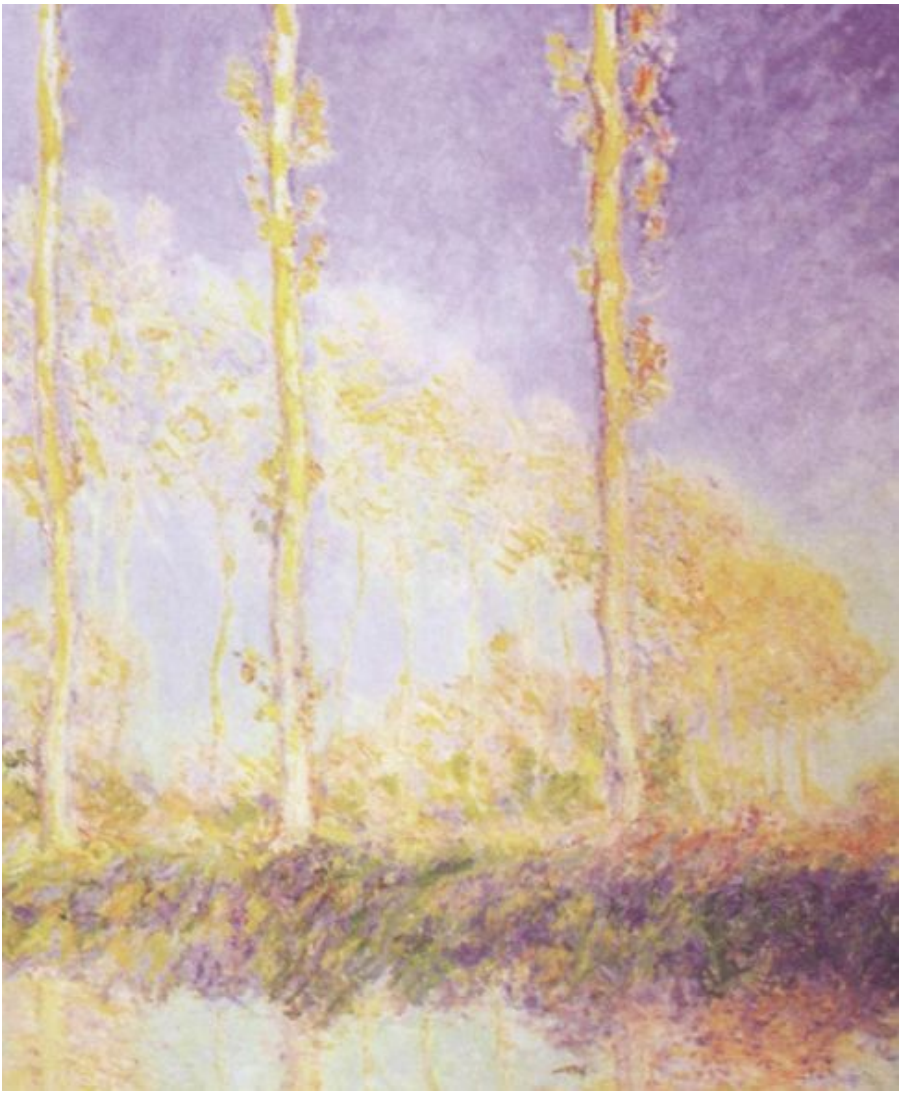
Лимоны в Бордигере. 1888 г.



Стога в конце лета. 1890–1891



Стога. Эффект снега. 1891 г.



Тополя. 1891 г.

Тополя. 1891 г.

Утреннее солнце. Из серии «Руанские соборы». 1890–1891 гг.

Сад в Живерни. 1900 г.

Дворец дожей. 1908 г.

Пруд с кувшинками. (Фрагмент.) 1900 г.

Нимфеи. Около 1917 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА КЛОДА МОНЕ

1840, 14 ноября — в Париже в семье Адольфа и Луизы Моне родился второй сын Оскар Клод.

1845 — семья Моне переезжает из Парижа в Гавр-де-Грас.

1851, 1 апреля — Клод Моне поступил в коммунальный коллеж, где увлекся рисованием, главным образом карикатур.

1857, 28 января — скончалась мать Клода, Луиза Моне; Клод знакомится с Эженом Буденом и под его влиянием начинает заниматься живописью.

1858, сентябрь — Клод Моне выставляет свою первую картину на муниципальной выставке в Гавре.

1860 — Клод едет в Париж и поступает в Академию Сюисса.

1861, июнь — Клода призывают в армию, он едет служить в Алжир в полк африканских стрелков кавалеристом второго класса.

1862, лето — после тяжелой болезни Клод получает отпуск для поправки здоровья и едет в Гавр; вскоре знакомится с Ионкиндом; *ноябрь* — освободившись от воинской повинности за определенную сумму, Клод едет в Париж и поступает в мастерскую Глейра.

1864 — Моне покидает мастерскую Глейра, пишет много картин; поселяется у своего друга Фредерика Базиля.

1865 — выставляет пейзажи на Салоне во Дворце промышленности; знакомится с Гюставом Курбе.

1866 — Моне выставляет на Салоне картины «Мостовая в Шайи» и «Дама в зеленом» («Камилла Донсье»); спасаясь от кредиторов покидает Париж.

1867 — пишет картину «Женщины в саду»;

8 августа — натурщица Камилла Леонсия Донсье рожает Клоду Моне сына Жана Армана Клода.

1868 — Моне выставляет на Салоне картину «Корабли, покидающие порт Гавра»; переезжает из города в город; пишет «Волны»; Курбе знакомит его с Дюма-отцом.

1870, *28 июня* — Клод Моне зарегистрировал в мэрии брак с Камиллой Донсье;

июль — Франция объявила войну Пруссии;

осень — художник уезжает в Лондон, где знакомится с Дюран-Рюэлем;

28 ноября — на фронте погиб Фредерик Базиль.

1871, *17 января* — скончался отец Клода, Адольф Моне;

май — Клод с семьей на несколько месяцев едет в Голландию.

1872 — Моне участвует в муниципальной выставке в Руане.

1874 — едет ненадолго в Голландию; переименовывает картину «Корабли, покидающие порт Гавра» во «Впечатление. Восход солнца» и выставляет ее на Салоне Надара;*15 апреля* — Моне с друзьями устраивает свой неофициальный Салон.

1876 — Дюран-Рюэль организовывает выставку импрессионистов; у Моне завязывается роман с женой друга, Алисой Ошеде.

1877 — Алиса Ошеде рожает от Моне сына Жан Пьера.

1878, *март* — *у* Клода и Камиллы Моне родился сын Мишель;

апрель — Моне выставляет на выставке импрессионистов картину «Женщина с букетом цветов»;

конец года — семейства Моне и Ошеде поселяются вместе в Ветее.

1879, *апрель* — картины Клода Моне выставляются на четвертом Салоне импрессионистов;

31 августа — аббат Амори обвенчал Клода Моне и Камиллу;

5 сентября — Камилла Моне скончалась в возрасте тридцати двух лет.

1880, *май* — на вернисаже во Дворце промышленности выставляется лишь одна картина Моне — «Лавакур»;

7 июня — в Париже в небольшой галерее открылась первая персональная выставка Моне.

1881, *декабрь* — Моне с домочадцами переезжает в Пуасси.

1882–1883 — художник путешествует по Нормандии, его работы выставляются на седьмом Салоне импрессионистов, именующемся теперь Выставкой независимых художников, и в галерее Дюран-Рюэля; в деревушке Живерни арендует дом для семьи.

1884, *январь* — Моне отправляется в Италию.

1885–1887–1888 — принимает участие в международных выставках, путешествует по Нормандии; совершает поездку в Лондон.

1889–1890 — Моне начинает кампанию за размещение картины Э. Мане «Олимпия» в одном из государственных музеев Франции.

1891–1892— художник пишет циклы картин «Стога», «Тополя», «Руанские соборы».

1893 — Моне пишет нормандские соборы;

март — приобрел земельный участок в Живерни;

июль — женился на Алисе Ошеде.

1895, январь — март — Моне пишет этюды в Норвегии;

май — Дюран-Рюэль устраивает в своей галерее персональную выставку Моне.

1896, 1897, *зимы* — художник пишет этюды в Пурвиле.

1899— Клод и Алиса Моне совершают поездку в Лондон.

1900 — Моне вновь посещает Лондон;

апрель — май — участвует во Всемирной выставке в Париже;

осень — выставляет свои полотна в галерее Дюран-Рюэля и других залах.

1901, *январь* — март — Моне пишет этюды в Лондоне.

1902, *декабрь* — участвует во Всемирной выставке в Париже.

1904, *осень* — Моне с женой и сыном Мишелем совершает поездку в Испанию;

7 *декабря* — художник приезжает в Лондон для участия в выставке, устроенной Дюран-Рюэлем в галерее Грэфтона.

1907 — «период нимфей».

1908, *осень* — чета Моне приезжает на два месяца в Венецию.

1909, *6 мая* — в Париже открывается персональная выставка Моне.

1911, *19 мая* — умерла Алиса Моне.

1914, *9 января* — скончался старший сын художника, Жан.

1917, *август* — умер старший брат художника, Леон Моне.

1920, *14 ноября* — Клоду Моне исполнилось 80 лет.

1922, *12 апреля* — Моне подписал акт дарения многих своих картин государству;

сентябрь — врачи констатировали у Моне большую потерю зрения.

1923, *январь* — Моне перенес две операции на глазах;

шюль — художнику сделали третью операцию на глазах.

1924–1925 — почти слепой Моне пишет большие панно.

1926, *5 декабря* — Клод Моне скончался.

БИБЛИОГРАФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Андреев Л. Г. Импрессионизм. М.,1980.

Богемская К. Г. Клод Моне. М., 1984.

Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь импрессионистов. М., 1999.

Клод Моне: Альбом. М., 1989.

Моне: Альбом. М., 2000.

Ревалд Д. История импрессионизма. Л.; М., 1959.

Рейтесверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974.

Рейтесверд О. Клод Моне. М., 1965.

Чегодаев А. Д. Импрессионисты. М., 1971.

notes

Примечания

1

Wildenstein D. Claude Monet. Catalogue raisonne. Bibliotheque des Arts.

2

Les Derniers Bohemes, aux Editions Sartorius, rue de Seine, 1874.

3

«Прокоп» — самый старый парижский ресторан, открытый в 1689 году. Расположенный в непосредственной близости от «Комеди Франсез», он вскоре после основания стал излюбленным местом встреч актеров театра. Здесь часто бывали Вольтер, Руссо, Дидро, в годы революции — Марат, Робеспьер и Дантон. *(Прим. пер.)*

4

Эжен Марен Лабиш — автор 173 водевилей и комедий, некоторые из которых, в том числе «Соломенная шляпка», до сих пор идут на сценах театров мира. *(Прим. пер.)*

5

Так значится в матрикульной книге полка.

6

Африканские стрелки как род войск относились к легкой кавалерии. *(Прим. пер.)*

7

Псевдоним французского писателя Жюльена Вио (1850–1923), основоположника литературного жанра, известного как «колониальный роман». *(Прим. пер.)*

8

Автор исследует период времени с 1895 по 1920 год. Его изложение грешит откровенной пристрастностью. Книга вышла из печати в 1925 году.

Gimpel. Journal d’un collectionneur.

10

Тьебо-Сиссон убежден, что только болезнь спасла Моне от военного трибунала.

11

Огюст Тульмуш (1829–1890) — «специалист по жанровой живописи, обладавший приятной манерой письма».

12

Интимист — художник, изображающий сцены домашней жизни. *(Прим. пер.)*

13

Вильденштейн Д. Указ. соч.

См.: *Castelot A.* L'Almanach de Clio. Perrin, 1985.

15

Жан Моне был крещен 2 апреля 1868 года в церкви Сент-Мари-де-Батиньоль. В роли крестного отца выступил Фредерик Базиль. См.: *Вильденштейн Д.* Указ. соч.

16

Voyage en France. La Seine de Paris a la mer. Berger-Levrault, 1907.

17

Вильденштейн Д. Указ. соч.

18

Древний город в Италии, в 30 километрах от Рима, известный своими памятниками. *(Прим. пер.)*

19

Золя Э. Сон.

20

Интервью Анны Превост, данное Антони в феврале 1973 года.

21

По-французски «впечатление» — impression. Отсюда — импрессионизм. (Прим. пер.)

22

Ашиль Этна Мишаллон (1796–1822) — французский художник, ученик Давида и учитель Коро, известный своими пейзажами. *(Прим. пер.)*

23

Жан Луи Эрнест Мессонье (1815–1891) — французский художник, мастер пейзажа. (Прим. пер.)

Вильденштейн Д. Указ. соч.

La vie quotidienne des impressionnistes. Hachette, 1981.

Histoire de l’impressionnisme. Albin Michel, 1955.

Имеется в виду психиатрическая лечебница. *(Прим. пер.)*

Papiers Zola. Bibliothèque nationale. Paris.

29

Основатели сети универсальных магазинов «Бон-Марше» (в переводе с французского — дешевый). Вопреки названию, магазины «Бон-Марше» отличаются чрезвычайно высокими ценами. *(Прим. пер.)*

30

Беллио был практикующим врачом. Письмо опубликовано в издании: Academie des Beaux-Arts (1959–1960).

Ревалд Дж. Указ. соч.

32

Курбе скончался 31 декабря 1877 года в возрасте 58 лет.

Ревалд Дж. Указ. соч.

34

Жюль Падлу (1819–1887) — французский дирижер, основатель общедоступных «Народных концертов классической музыки».

35

Документ хранится в собрании Поля Гаше. Впервые опубликован Даниелем Вильденштейном в его монументальном труде «Catalogue raisonne».

Креспель Ж. П. Указ. соч.

37

Лицо, назначаемое судом для ликвидации дел неплатежеспособного коммерсанта. *(Прим. пер.)*

Вильденштейн Д. Указ. соч.

39

Воспаление матки и поражение желудочно-кишечного тракта.

40

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

41

То есть Сена.

42

De Profundis *(лат.)* — «Из глубины (взываю)…» — начало заупокойной католической молитвы. *(Прим. пер.)*

Niculescu R. Georges de Bellio, l'ami des impressionnistes. Revue roumaine d'histoire de l'art, 1964.

Сегодня их насчитывается более 400!

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

47

Книга издана в 1992 году, то есть до перехода стран Европейского союза на евро. Шесть миллионов франков примерно соответствуют миллиону евро. *(Прим. пер.)*

Dieppe en poche. Marais Libraire-Editeur, Imprime chez A. Herissey.

49

Галета — одно из блюд французской национальной кухни, род пирога из слоеного теста, часто с начинкой. *(Прим. пер.)*

См.: *Gustave Geffroy.* Claude Monet, Ed. G. Cres, Paris, 1922.

51

Документ опубликован в Каталоге № 204 Аббатской библиотеки, Париж (автографы и исторические документы).

52

Аббатская библиотека. Каталог № 202. Письмо датировано 18 марта.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

54

Жорж Фейдо (1862–1921) — французский драматург, известный своей склонностью к богемному образу жизни и карточной игре. *(Прим. пер.)*

55

Что примерно соответствует 53 тысячам франков 1992 года (или около восьми тысячам сегодняшних евро). *(Прим. пер.)*

Claude Monet, ce mal connu. Ed. Pierre Cailler, 1960.

Dieppe en poche, 1874.

58

Чуть больше 65 тысяч франков 1992 года (или около 11 тысяч евро). *(Прим. пер.)*

59

Этот дом цел и поныне. Бульвар Сены теперь носит имя Аллеи 14 июля.

Сказки и новеллы.

61

В статье, опубликованной в газете «Жиль Блаз» (август 1869 года).

62

Уменьшительно-ласкательное от имени писателя — Ги. *(Прим. пер.)*

Вильдешштейн Д. Указ. соч.

См.: *Michel de Decker.* La Princesse de Lamballe, mourir pour la Reine. Perrin, 1985.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

521–587 годы.

Les Noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure. Ed. Picard, rue Bonaparte. Paris, 1981.

Jean de la Varende. En parcourant la Normandie, Perrin.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

70

Послужившая Марселю Прусту прообразом герцогини де Германт.

71

Во французском языке имя этого деятеля стало нарицательным: *poubelle* означает «помойка». *(Прим. пер.)*

72

Адмирал Курбе!

Вильденштейн Д. Указ. соч.

74

В интервью, записанном в Эвре в январе 1973 года.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

76

В интервью, записанном в Живерни в январе 1971 года.

77

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

78

Письмо хранится в архиве Дюран-Рюэля. Опубликовано Даниелем Вильденштейном.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Высшее общество *(англ.). (Прим. пер.)*

Это великолепно! *(англ.). (Прим. пер.)*

82

Les Impressionnistes en 1886, brochure de 46 pages. Paris, Publication de la Vogue.

83

Более 90 тысяч франков 1992 года (около 15 тысяч евро). *(Прим. пер.)*

По всей видимости, галерею Жоржа Пети.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

86

Легкая и практически непотопляемая лодка с круглым днищем.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

Geffroy. Claude Monet. Ed. G. Cres.

89

Книга вышла в 1893 году под заглавием «Затворник» *(L’Enferme)*.

Фель М. Указ. соч.

Она опубликована Даниелем Вильденштейном.

92

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

93

В интервью, записанном в феврале 1973 года. Анна Превост командовала на кухне дома в Живерни со 2 февраля 1920 года по 3 сентября 1922 года. Муж ее служил в доме дворецким. «Оба прекрасно знают свое дело и покидают меня по собственному желанию», — написал Моне в рекомендации, выданной чете Превост в связи с их увольнением.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

95

То есть залпом выпивал рюмку кальвадоса между двумя блюдами.

Фрагменты писем заимствованы из книги Даниеля Вильденштейна.

Цит. по: *Вильденштейн Д.* Указ. соч.

Жеффруа Г. Указ. соч.

99

В музее города Гере хранится очень хороший портрет Мориса Роллины — поэта, автора странных и мрачных стихов, родившегося в Шатору в 1846 году и скончавшегося в 1903 году. Его отец дружил с Жорж Санд. См.: Gilles Rossignol, Guide de la Creuse, La Manufacture.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

101

См. «Дневник Эдмона де Гонкура».

102

30 тысяч франков в ценах 1992 года (или около пяти тысяч нынешних евро). *(Прим. пер.)*

103

Речь идет о Национальной школе искусств и ремесел Парижа. *(Прим. пер.)*

Имеется в виду Лувр. *(Прим. пер.)*

105

Чуть больше 180 тысяч франков 1992 года (или около 30 тысяч евро). *(Прим. пер.)*

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

107

Лучший портрет «стареющего» Эрнеста Ошеде принадлежит его правнуку Жан Мари Тульгуа.

108

Сегодня переименованной в улицу Пьера Семара. Она расположена между сквером Монтолон и улицей Мобеж, в IX парижском округе.

109

Именно в гостинице, к слову, скончался Альфонс Алле. Это случилось в 1905 году, в номере «Британии» на Амстердамской улице. Кончина последовала в результате злокачественного флебита, вызванного, по всей вероятности, злоупотреблением абсента, который он глотал лошадиными дозами.

110

Химена — центральный женский персонаж трагедии Пьера Корнеля «Сид», олицетворение противоречия между чувством любви и чувством долга. *(Прим. пер.)*

Duc de Trevise. Le Pelerinage de Giverny. Paris, 1927.

Впрочем, это достойное всяческого уважения издание впервые увидело свет лишь в 1911 году.

113

Я вас люблю *(англ.)*.

114

Записано со слов Сюзанны Брюно, дочери г-жи Боди, в сентябре 1973 года в Верноне.

115

Записано со слов Сюзанны Брюно, дочери г-жи Боди, в сентябре 1973 года в Верноне.

116

Фрагмент письма, опубликованного Даниелем Вильденштейном.

117

См. главу 5 «Голод».

118

Это было зимой 1851/52 года. Подробнее см.: *Michel de Decker.* Les Grandes Heures de la Normandie. Perrin, 1988.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Они опубликованы Даниелем Вильденштейном.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

122

Архив департамента Эр, хранящийся в Эрве.

123

Неудобоваримый *(англ.)*.

124

50 франков по ценам 1992 года (или около восьми нынешних евро). *(Прим. пер.)*

125

Этот документ предоставила в наше распоряжение г-жа Брюно, дочь г-жи Боди.

126

Одна порция виски стоила 40 сантимов.

127

См.: *Adelyn D. Breeskin.* The Graphic Work of Mary Cassatt, 1948.

128

Записано со слов г-жи Брюно, урожденной Боди, в сентябре 1973 года.

129

После 1925 года — Осло.

130

Гора Колсаас расположена в 12 километрах от Осло. Ее высота составляет 380 метров.

131

Из переписки, опубликованной Даниелем Вильденштейном.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

По выражению Клемансо.

135

Интервью записано в Верноне в апреле 1973 года.

136

Переписка опубликована Даниелем Вильденштейном.

Считая те, что он начал годом раньше.

138

Двадцатью годами раньше проданный за 250 франков!

Вильденштейн Д. Указ. соч.

140

Из писем Клода к Алисе, проданных на аукционе Друо в январе 1972 года.

141

Там же.

142

Из протокола заседания.

143

Номер «Фигаро» от 1 декабря 1897 года.

144

Национальная библиотека, отдел рукописей.

Жеффруа Г. Указ. соч.

Национальная библиотека, Париж.

147

Каталог автографов, № 39, Марк Лолье, улица Сен-Пер.

148

В настоящее время опоры старого моста почти полностью разрушились. Если ничего не будет предпринято, уже через несколько лет их можно будет увидеть только на старых гравюрах!

149

Особенно для местных «земледельцев»!

150

Водяные лилии, одной из разновидностей которых является египетский священный лотос.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

152

Эжен Буден скончался 9 августа 1898 года.

Издательство «Fayard», 1988.

154

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

155

Из писем к Алисе, опубликованных Даниелем Вильденштейном.

156

Там же.

157

С 1800 по 1889 год, то есть до времени последней Всемирной выставки.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

159

Записные книжки, в которых Моне вел подсчет своих доходов и расходов, хранятся ныне в музее Мармотана.

По ценам 1992 года это составляет примерно три с половиной миллиона франков!

161

180 тысяч франков в масштабе цен 1992 года (или примерно 30 тысяч нынешних евро). (Прим. пер.)

162

Король — Эдуард VII, худой Вильгельм — Вильгельм II, германский император, с материнской стороны приходившийся Виктории внуком.

163

Инфлюэнцей тогда называли тяжелые формы гриппа.

164

Боже мой! Да у вас жуткое воспаление легочной мембраны! Это начинается плеврит! *(англ.)*.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Ныне отель «Нормандия».

167

Jean Martel. Clemanceau peint par lui-meme, 1929.
Неподалеку от Бенкура.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

169

Неподалеку от Бенкура.

170

В окрестностях города Амфревиль-су-ле-Мон.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

В масштабе цен 1992 года равную примерно 20 тысячам франков (или трем тысячам нынешних евро). *(Прим. пер.)*

173

Банк занимал большой дом на углу улиц Альбюфера и Самсона. Он и поныне там стоит.

174

Архивы департамента Эвре.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

177

В масштабе цен 1992 года — около 100 франков (чуть больше 15 нынешних евро). *(Прим. пер.)*

178

См. протокол заседания муниципального совета Живерни.

179

29 сентября 1902 года.

180

В интервью, записанном в 1973 году.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

Le perelinage de Givemy. Revue de l'an ancien et moderne, 1927.

183

Данные получены из записной книжки Моне, хранящейся в музее Мармоттана. В ценах 1992 года эта сумма составляет больше четырех с половиной миллиона франков (в наши дни — примерно 750 тысяч евро).

184

Из архивов Дюран-Рюэля. См.: *Вильденштейн Д.* Указ. соч.

185

Souvenirs d’un marchand de tableaux.

La Bataille de l'impressionisme, Ed. Bemheim-Jeune, 1967.

187

От др. — евр. наби — пророк. Группа «Наби» была создана в 1890 году молодыми художниками (Вюйяром, Боннаром, Русселем, Серюзье и др.), стремившимися к обновлению искусства живописи.

188

Из архивов Дюран-Рюэля. См.: *Вильденштейн Д.* Указ. соч.

189

Эта история рассказана в номере газеты «Эклер» от 5 сентября 1921 года.

Фель М. Указ. соч.

191

Из протокола заседания муниципального совета от 28 ноября 1907 года. В масштабе цен 1992 года сумма составляет примерно 600 франков (100 нынешних евро, соответственно). *(Прим. пер.)*

192

Роман Редьярда Киплинга «Свет погас» вышел в свет в 1890 году (русский перевод опубликован в 1903 году). *(Прим. пер.)*

193

Catalogue d’autographes n° 8653, Librairie Saffroy.

Опубликовано Даниелем Вильденштейном.

Например, см.: Monet a Venise, de Philippe Piguet.

Ехидный, но гениальный!

197

Это письмо было продано на аукционе Друо в декабре 1979 года.

198

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

199

Около двух с половиной миллиона франков в ценах 1992 года (или более 400 тысяч нынешних евро). *(Прим. пер.)*

200

В интервью, записанном в 1971 году.

201

Более четырех миллионов франков 1992 года (около 700 тысяч евро). *(Прим. пер.)*

202

Неужели?

203

В номере от 5 февраля 1921 года.

204

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

205

Из глубины (взываю)… *(лат.)* — начальные слова католической заупокойной молитвы. *(Прим. пер.)*

Le Tigre, Albin Michel, 1930.

Добервиль А. Указ. соч.

208

Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.

209

Из частного собрания.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

И большой друг автора этой книги!

Jean Martel. Clemenceau peint par lui-meme, 1928.

Le Petit Carnet rouge. Perrin, 1979.

См.: Le Petit Carnet rouge.

215

Неужели?

Sacha Guitry. A batons rompus. Perrin, 1981.

Орден Почетного легиона первой степени. *(Прим. пер.)*

218

Из письма к Жеффруа.

219

Из письма к Жеффруа.

См.: La Depeche de Rouen.

En parcourant la Normandie. Ed. Les Flots bleus, 1953.

222

Примерно 140 франков в масштабе цен 1992 года (20 с небольшим нынешних евро). *(Прим. пер.)*

223

Из письма Жан Пьеру Ошеде от 19 августа 1915 года. Архив Ж. М. Тульгуа. Документ публиковался в каталоге выставки «Клод Моне в Живерни», 1983 год.

В масштабе цен 1992 года — 420 тысяч франков (70 тысяч нынешних евро). *(Прим. пер.)*

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

Catalogue d’autographes Chavaray, № 781, 1984.

227

16 февраля 1917 года.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

См.: *Miche! de Decker.* Madame le Chevalier d'Eon. Perrin, 1987.

Jean-Baptiste Duroselle. Clemenceau.

Du Palais-Royal au Palais-Bourbon. Paris, 1947.

Марте Ж. Указ. соч.

233

A Giverny, chez Claude Monet.

Le Petit Carnet rouge.

235

Государственный архив.

236

Trois variations sur Claude Monet, sur la terrasse au bord de l’eau, 1927.

Марте Ж. Указ. соч.

В масштабе цен 1992 года это составляет 650 тысяч франков (примерно 100 тысяч нынешних евро). *(Прим. пер.)* Следовательно, «небольшой Моне» стоил тогда около 160 тысяч франков. Недешево, конечно, но все же еще более или менее доступно!

239

В журнале «Сандорама».

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Propos d’artistes. Paris, 1925.

243

Из переписки с Луи Пугоном. См.: Cahiers du Musee national d’art moderne, Hors-serie/Archives 1990.

Cahier II, Gallimard, «La Pleiade», 1974.

Вильденштейн Д. Указ. соч.

Там же.

247

Lettres a une amie, 1923–1929.

Ему посвящено серьезное исследование Родольфа Вальтера, директора фонда Вильденштейна.

249

Lettres a une amie, 1923–1929.

См.: *Ошеде Ж. П.* Указ. соч.

251

В масштабе цен 1992 года — около восьми тысяч франков (примерно 1300 нынешних евро). *(Прим. пер.)*

Le Petit Carnet rouge.

253

Номер от 8 декабря 1926 года.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

255

Мужа Жермены Ошеде.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

Rommel face au débarquement. Presses de la Cite, 1960.

Ошеде Ж. П. Указ. соч.

259

В номере от пятницы 11 февраля 1966 года. Материал предоставлен Катрин Монтурси.

260

См. главу 13.

261

Париж, улица Луи-Буали, 2.

262

Больше 350 миллионов франков по ценам 1992 года (или почти 60 миллионов нынешних евро). *(Прим. пер.)*